ЛЕОНИД
ЛЕОНОВ
2

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

СОТЬ

РОМАН

САРАНЧА

ПОВЕСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1953

СОТЬ

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Лось пил воду из ручья. Ручей звонко бежал сквозь тишину. Была насыщена она радостью, как оправдавшаяся надежда. Стоя на раскинутых ногах, лось растерянно слушал свое сердце. С его влажных пугливых губ падали капли в ручей, рождая призрачные круги по воде. Вдруг он метнулся и канул в лесные сумраки, как камень в омут.

Об этой тайной водопойной тропке ведало, должно быть, все лесное жительство: так читалось по следам у ручья. Из-за дерева выступил корявый старичок. Кроме неба и желтых прошлогодних осок, в воде отразилась собачья шапка да длинные, не по тулову, руки, повисшие из рукавов. Вздувая ноздри, сердито внимал старичок оглушительному гомону пробуждения... В тот крайний час угасающего дня лес начинал хрюкать, лаять, петь, всяк в свою любовную дуду. Первыми застонали зяблики, и где-то в соседнем болотце, укромном месте птичьей любви, проникновенно отозвались бекасы. В позлащенной закатом высоте проплакала скопа о своих жертвах, нарождающихся по земле, горлинка навзрыд звала своего хохлатого супруга, гукнула выпь... и первая звезда, нежнейшая, явилась над болотом. Уже и на старичка простирался колдовской зуд весны, уже и сам готов был скакать и кататься заедино с обезумевшей птищью, но тут северный ветерок

скользнул ему в ноздри. Он чихнул, заморщился и отступил в тень. Стоит ноне сохлый можжучный кусток у ручья, и самой неистовой весне не пробудить его.

Дебрь угрюмилась, замолкали любовные хоры, и только те беспечальные лесовые жители, которых успело пригреть апрелем, лениво копошились на своем пригорке. Перед лицом неслыханной беды они предавались суетливому волнению, и одни запирали бревнами входы, а другие прямо ложились навзничь, торопясь сразиться и погибнуть в борьбе. Багровая суставчатая туча вонзилась в их округлый мирок, — напрасно они тащили ее на расправу к своему нещадному судье. И, хотя лишь забава двигала рукою человека, они угомонились не прежде, чем перестало к ним струиться сверху недоброе тепло. — Увадьев вынул палец из муравейника и понюхал: он пахнул терпким муравьиным потом.

— Двигай, двигай... — крикнул он спутникам своим на дорогу.

— Да гуж лопнул, — превесело отвечал возница, шаря в передке запасные веревочки. Все веселило его равнодушную старость: и лихая распутица, обязывающая к приятному безделью, и эта нерубленая синь, надежная броня от мирских треволнений, и эти, наконец, беспутные седоки, которых он вез из одной неизвестности в другую. — Дорога!.. пропа̀сть в ней крещеному, как собаке в ярманке. — Но он ухмылялся всей своей волосатой харей и, судя по азарту речи, всемерно одобрял эту зыбучую родную грязь.

Телега плясала на ямах, спрятанных под водой, кнут задевал о ветви; Сузанне казалось, что лошаденка растягивается, передняя ее часть убегает куда-то в окончательное небытие, а нехитрое колесатое сооружение, именуемое подводой российского мужика, так и стоит на месте. Едучи в синюю мглу, Увадьев раздумчиво жевал почку, сорванную с придорожной крушинки; на языке долго держалась душистая, волнительная горечь. «Весна, — кисло думал он, — размазня чувств и душевная неразбериха...» — и мысленно грозил ей кулаком. Он не любил гульливой этой бабы, которая безобразит на дорогах и голос которой простуженно клокочет ручьями; он вообще не любил ничего, что крошилось под грубым рубанком его разума, и, если уцелел в его памяти какой-то весенний овражек, усеянный

одуванчиками по скату, он стыдился этой самой сбивчивой своей страницы... Зато и лес встречал без привета этих трех строителей людского блага. Густилась тьма, уже не оживала потревоженная тайна, дорога временами пропадала, и хоть дразнили изредка остожены на полянках, все не объявлялось теплое жилье. Понурый, как черный манатейный монах, выходил на дорогу вечер.

Щуркими от дремоты глазами Увадьев вглядывается в темноту, и воображением дурашливая овладевает сумятица. Продрогшие деревья обнимают друг друга, греясь в исполинских схватках. Темные глазки лесных хозяев перебегают в буреломе. Холод неуклюже копошится в рукавах, и Увадьев медленно догадывается, что девушка вправо от него совсем замерзла. Ее четкий и ненавистный профиль смутно мерцает под полями мужской шляпы; ее высокие сапоги до колен закиданы грязью. Он досадует, что с нею и десятками подобных ей суждено делить труды по великому начинанию. Его злит близость женщины, и он не верит, что это тоже власть весны.

— Водки хотите, товарищ?

Она оборачивается, почти испуганная его заботливостью:

— Спасибо, Увадьев, я не пью водки.

— Что же вы пьете, когда промокнете?

— Я пью только молоко.

Она смеется уже не в первый раз, и ему хочется жевать свой негибкий язык. Тогда за спиной шевелится Фаворов, инженер, третий в подводе; не без словесной красивости он распространяется о Петре, который почти так же, кнутом и бесчисленным количеством свай, осушал пространное российское болото. «Не то, не то, — хочется кричать Увадьеву. — Твой Петр был кустарь, он не имел марксистского подхода...» И опять он ощущает свой язык как суконную стельку, в насмешку засунутую ему в рот. Так идут минуты, и теперь только один возница, наобум тыча кнутом во мрак, дивуется на фаворовское словотечение.

Глуше хлюпают колеса в колеях, меркнет свет в подорожных водах; хрипит надсадно правая чека, в нос вторгаются древние запахи ледяной сыри и разопревшего коня. Дремучее дремлет, утомясь недавним любовным припадком. Таинственно течет лесная ночь, и, как речная в заводи

трава, ветви отклоняются по течению. Она въедается все глубже, зараза сна. Мир опрокидывается, и все летит из-под ног. Склонясь к себе на мокрые колени, Увадьев дремлет, но и ночная его греза все о том же.

По бесплодным пространствам Соти несутся смятение и гомон сплава, а невдалеке, подобные чудовищным кристаллам, мерцают заводские корпуса: там, в шести огромных черных ящиках, в тишине укрощенного неистовства происходит медленное рождение целлюлозы. Движутся зубчатые ленты из реки, влача на берег свою ежеминутную добычу; унывно поют стаккеры, ссыпая в темные монбланы мокрый баланс, и Увадьеву любы вдвойне эти стальные неоскудевающие руки. Сам он, Иван Абрамыч Увадьев, идет заводским полем сквозь знойную северную непогодицу; одиночество томит и радует его. Ему навстречу огромным, машинным шагом, невозможным наяву, движутся Бураго и Ренне, отец Сузанны; они почему-то смеются и длинными пальцами указывают в него с высот своего страшного роста. До боли в шее он задирает голову, и ледяная изморось брызжет ему в оголившееся горло. «Спешите, спешите, товарищи, вы строите социализм!» — кричит он вверх, стараясь прочесть в глазах их сокровеннейшие мысли. — «Тим-тим...» — басовито и бессмысленно отвечают те, оставляя Увадьева в томительном недоуменье. Опять они идут, и сапоги их пожирают дорогу, как те каменные бегуны на бумажной фабричке, где он родился. «Тим-тим!» — нараспев говорит Бураго, вращая белками глаз, выпуклых, как яичная скорлупа, а Ренне вторит ему отрывистым и важным мычанием. «Тим-тим...» — во внезапной ярости кричит и Увадьев, постигая по-своему смысл начавшейся игры — «тим-тим!» И вот волшебством сна он шагает впереди них, подмигивая ближнему стаккеру, легко и мощно приподнятому над землей; и машина понимает... Потом рвется непрочная оболочка сна, и ознобляющий толчок возвращает Увадьева к яви.

Подвода стоит среди тесной поляны, и черная копна сена на ней — как высокая иноческая скуфья. Звезды пропали, точно ссыпала их в мешок все та же беспутная бабища и сама села на мешке. Дороги нет, под ногами травянисто чвакает весна, и вот уже не разобрать спросонья, в котором веке происходит дело. Ель и ночь. Несколько поодаль Сузанна мужскими словами отчитывает

возницу, который тем временем щедрыми охапками натаскивает сена своей клячонке. Увадьев шатко идет к вознице; все еще заслоняют действительность громоздкие образы сна.

Уже не радует мужика вынужденная остановка:

— Эва, конек малость с дороги сошел.

— Сам-то где же был, тим-тим?

— Да там, где и ты: во снах рыбку удил!

Мгновенье злость борется в Увадьеве с дремотой.

— Не чуди, Пантелей. Это ты меня, а не я тебя нанимался везти в Макариху. Ищи теперь дорогу, чортова погонялка!

Мужик странно молчит и вдруг стремительно, не щадя добра, ударяет шапкой оземь:

— Тута, товаришш, ночевать станем. Нельзя ехать: заведут! Тут нечистой силы под каждым корнем напихано! У нас поехал один эдак-то, глянул, а колес-то под ним и нету...

Увадьев упруго вскакивает на передок:

— ...кланяйся деткам, Пантелей! — и уже шарит упавшие вожжи.

Держа лошаденку под уздцы и чуть не плача, мужик ведет подводу в крайний мрак ночного бора. Снопы ледяных брызг, хрустких на зубах, извергаются из-под колес. Лошаденка фыркает и шарахается чего то, недоступного немощному глазу человека. Фаворова, который ушел искать дорогу, все нет; ему кричат, но он не откликается. Спичек нет, ибо курит только Фаворов, а Увадьев пятые сутки жует антикурительные леденцы. Ни ветра, ни неба, ни путеводных звезд на нем, и лишь где-то по верховьям елей гудит и плещется апрель. Телега снова упирается во мрак; расставя руки, Увадьев пытливо шарит тьму и не узнает сперва мокрой, волосатой щеки Пантелея.

— ...передеваюсь. Вера у нас такая: заплутался — надо кожух наизнанку вздеть. Ходят... ишь, ишь, выступает как! Эй, кто...? — жалобно кричит мужик и, как ослепленный, вертит головой.

— Не ори, кому в эту пору в лес охота!

— Они везде, они — где подумал, там и ходят. У нас Пярков эдак-то зашел да двои сутки бездорожно и маялся. Напослед скитаний выдался он эдак на плешинку лесо-

вую, видит: сидит воин на пенышке, лапоток обуват. Тут он сразу и смекнул, что Невский Александр...

— Беглый, поди... — угрюмо косится Увадьев, и уже самому ему мнится, будто выступила из-за дерева голая чья-то толстая нога.

— Не, скиток тут его... вот и бродит. Ну, а Пярков-то сам из солдат, подходит, кланяется — дескать, насчет путинки бы! А воин привстал да как маханет его ручкой промеж бровов. Так у него руки-ноги дыбом и встали, у Пяркова-то. Из Епы он, копeратив по-вашему, вот святителю дух епиный и не понравился...

Приспустив козырек мехового картуза, Увадьев задумчиво жует карамельку:

— Деток-то много наковырял, дудкин сын?

— Четвертого ожидаем к Покрову.

— Быть, значит, и деткам дураками: вся порода в тебя, осиновая. Езжай, букалище!..

Сам он, однако, идет вперед и осторожно, без предупрежденья, хватает смутительную ногу. Та хитра, она не вырывается, не убегает, она ждала нападения, и Увадьев держит лишь осклизлый свежеобструганный брус. Тьму торопливо разгребают руки. Бревенчатый, на насыпи, не на нонешнюю совесть ставленный частокол охраняет сердце леса. В щелке меж кольев мерцает невзрачный огонек, поминутно заслоняемый веткой. Весна спустила своих псов: ветры, тихо скуля, лижут снег. Заблудившаяся телега гремит на выпученных корневищах и цепляется осями за стволы. Просека уводит вниз, и здесь является Фаворов; он напрасно пытается закурить: отсырелый табак не принимает огня. В недолгом свете спичек, негаданный, как наважденье, рождается косой деревянный крест. На карте, которая в кармане у Фаворова, нигде не помечен этот тайный скиток.

Двое недружно бьют сапогами в ворота. Идут какие-то куски времени; ни окрика, ни псиного лая, да и елозящих шорохов за воротами не отличить сперва от разнозвучных журчаний апреля. Потом в проеме квадратного оконца, прорубленного на высоте плеча, возникает рука с фонарем, а за нею тянется кудлатая рыжая голова в скуфейке. Глаза смотрят в глаза. Пантелей шумно крестится и кланяется огню.

— Пошто в ворота бубните?.. грабители аль грабленые? — дерзко кричит монашек: видение женщины ошеломляет его и понукает на эту стремительную дерзость. — Нам и собственных блох прокормить нечем!

— Отпирай, инженеры мы, — глухо говорит Фаворов и тычет пальцем в форменную свою фуражку.

Фонарь качается, и вся вселенная раскачивается вокруг него.

— Дозвольте, у игумена благословлюсь сперва...

Со стуком падает окошко, снова уныние и гулкая весенняя капель. Карамелька во рту Увадьева пахнет скверными духами и прилипает к зубам; украдкой от Сузанны он отдирает ее ногтем. Ворота раскрываются настежь: сутулый и в рваном полушубке поверх манатьи низко кланяется новоприбывшим. И уже не дерзко, а плачевно суетится в фонаре заморенный великопостный огонек.

— За молитв святых отец наших... помилуй нас! — Монах напрасно ждет ответного аминя, а рыжий спутник его гневно потрясает фонарем, но тот отводит его в сторону повелительной рукой и новым поклоном извиняется за неразумие младшего. — Дорогу ищете?

— В Макариху плыли, гражданин игумен, — объясняет Увадьев.

— На полунощнице игумен... а в Макариху, эва, через реку. Только лед опаслив ноне: весь во швах да в промоинах. Сидеть вам тут до воды... — Исподлобья он смотрит на Сузанну, и, видимо, желанье укрыть живых от непогоды превозмогает в нем запреты святителей вводить женщину в обитель. — Пожалуйте, в дом божий все вхожи... — Придерживая визгливую половинку ворот, он дает знак Пантелею ввести подводу.

Отсырелые постройки пахнут мокрым деревом и пронзительным весенним навозом. В крохотной звоннице медноголосо кричит ветер. Через грязь ведут высокие мостки. Непогода усиливается, и тем слаще терпкое тепло келий.

— Могильная у вас тишина, отец, — для почину говорит Увадьев.

— Приличествует монаху могила, — эхом вторит старик, смущая гостя новым поклоном.

— Вы не кланяйтесь, не становой... не люблю.

— Не тебе, а высокому облику, что тебе на подержание дан, поклоняюсь!

Увадьеву хочется возражать много и увесисто, но распахивается дверь в тепло и сон... ослабевшая рука покорно тянется к скобке. Рыжий монашек пропускает гостей вперед. Дверь закрывается, как прочитанная страница, и опять овладевает округой хлопотливая суетня весны.

2

Стоят леса темные от земли и до неба, а на небе ночь. Незримо глазу положен на небе ковш; ползет ковш ко краю; выливаются на жадную землю сон, покой и тишь. Мир спит, и никому не ведомо в нем про укрывшихся в длинных приземистых избах черных мужиков... Было время, соловьиным щекотом встречал лес буйные весенние набеги, но состарилась лиственная молодь, одолела ее могучая хвоя, и сны иные стали ночевать в их омраченных мудростью верхушках. В ту́ пору зеленой младости сошлись на этом месте блаженный Мелетий, который умер впоследствии, наколовшись о змею, да еще Спиридон, что значит круглая плетеная корзина. Бегунов из мира, приманила их девическая нетронутость места, они и стали зачинателями этой северной Фиваиды.

К ним, как ручейки к самородному озерку, притекали разные люди, которые тоже не нашли, чем обольститься на этой удивительной земле. Сбежались ручейки воедино, и вышла тихая, угрюмая река; ее истоки затерялись в людских низинках, а устьем приникла она к той обширной голубой чаше, откуда извечно утолял жажду ветхий человек. Жили бедно, жили впроголодь; гнали смолу, продавали меды на спасов, ибо монаху стыдно пчеловодом не быть, и долгие годы ни урядники, ни богомольцы не нарушали обительского уединения. Ночными призраками, бездорожьем, ядовитыми воспареньями болот бог охранял свое гнездовье.

А потом проведали о спасенниках купцы, наезжали пожить наедине с нечистою душою и за недолгий постой дарили скиту мешок ядрицы, либо прибор столярный, либо конька пошелудивее, потому что не храбровать же на нем монаху, либо ситцевых чернот, завалявшихся на складе, а один, именем Барулин, которого здесь и погребли, на медное било расщедрился, плиту в семнадцать пуд; в нее и били, благовествуя праздники или часы

отдохновенья. Не крупный шел сюда купец, не удавалась обители мирская слава. Тогда хозяйственный Авенир завел старцев в скиту, и первые воистину обладали даром развязывать незамысловатые мужицкие узлы, а потом измельчало званье, попадали в него не по благодати, а по назначению, и ко времени великого скитского разорения состоял в старцах один лишь безногий Евсевейко.

В давние дни Мелетия обильно бродил здесь лось и путлял медведь, но в начале века, в голодный год, двинулись сюда переселенцы, и многие селились на угодьях, которые от века скитские водители почитали за свои. Так родилась Макариха на Соти, привольная Шоноха на Шуше, Ильюшенско на Голомянке да на Быче Лопский Погост. Сперва терпели вторженье, рассчитывая на их-то спинах и воздвигнуть обительскую славу, но мужик пёр во множестве, голодный и плодущий, как небитая саранча. Последующие наставники, птенцы авенировой выучки, уже воевали с настырными мужиками, и авва Сергий, к примеру, пойму через Сенат оттягал, собираясь строить на ней конный завод, но помер в губернаторской канцелярии, где хлопотал о воспрещении рыбной ловли в Соти; падая, уже не живой, он схватил писаря за хохол да так и повалился вместе с писарем на пол. Не с того ли и началась гибель империи, которая для скита, без преувеличения, была крушением самой планеты. В тот же год, слегка побунтовав, мужики безобидно пахали скитские земли, рыбу же возили на продажу в городок; зимами, впрочем, они попрежнему хаживали через лед послушать протяжное иноческое пение. Скит возвратился в прежнюю скудость.

...Стоят леса темные от земли и до неба, а на земле сон. Спит все, чему дано это сладкое беспамятство, и даже тягучие вешние воды ленивей текут подо льдом, омывая скитское возгорье. Полунощницу отпев, спят боговы мужики, а среди них престарелый Ювеналий, который безвыходно сидит в келье, как коряга; Феофилакт, всегда обсаленный, точно все обтирали руки об него; Ксенофонт, бегун с Афона; Агапит, всему миру безвредный и бесполезный приятель; Аза, что значит чернота, ибо слеп; рябой Филофей, осадная башня вопреки имени своему; Устин, всегда носящий пыль и ссадины на лбу, следы моленья; еще Филутий, Кукий, Пупсий и некоторые другие, помянутые в ином и лучшем месте.

В угловой покосившейся келье спит на голых досках задушевный казначей Вассиан. Под навесом из трав, на которых проставлены заветные травяные имена, спит он сам, хранитель тридцати обительских рублей, спит, и горькие мечтания баюкают его старый сон; спит, и кошка ему лысину лижет.

Мнятся ему обширные пространства вырубленного леса, а на них цветут благолепные монастырские палаты. Возглавляет их шатровая колоколенка, видная из четырех волостей, строенная по собственной его, вассиановой, причуде. Кружевные яруса легко взбегают вверх, а вверху развешены колокола, басовитые деды со звонкими внучатами. И будто бы в знойное утро духова дня, напоенное колокольным плеском и птичьим щебетом, ждет обитель губернаторского приезда... Богомольцами да всякой калечной паствой затоплена соборная площадь; по ней похаживают шустрые монастырские служки, сортируют народ, ибо равно взору и вышнего и земного начальства приятны умильные лица, утверждающие мудрость правителя. Сам он, Вассиан, стоит у ограды, прямо против паперти, слаженной из кованого рисунчатого чугуна, и зорко блюдет порядок и благочиние... И будто всех он знает по имени-отчеству, и его тоже знают все. Потом ветроподобно проскакивают взмыленные кони, и вот сам губернатор, сверкая сановной чешуей, сходит из коляски на хрусткий, незатоптанный песок. Он улыбается, и все улыбаются ему, и даже могучий архангел, который в огненных сапогах изображен на стене собора, смягчает свой немилосердный, темный лик. Губернатора сопровождают чиновники с алчными лицами, чиновников сопровождают жены с желтыми складчатыми шеями, а жен их — вертлявые молодые люди, которые тоже не без удовольствия улыбаются.

«Тим-тим, — приветственно говорит губернатор, кивая по сторонам, — тим-тим!» А Вассиану понятно, что это означает — «дать сему казнохранителю персицких изразцов на лежанку, с конями, цветами и воинами!» Он бежит чуть поодаль, Вассиан, и все смотрит, все смотрит с умилением и тревогой на блистающие губернаторские калоши. И вдруг сквозь радостную жуть восхищения своего он догадывается, что сейчас произойдут похороны, а покойник — это он и есть, шествующий впереди, нарядный

и добротный сановник. «Тим-тим,— зябко шепчет Вассиан, кланяясь и забегая сбоку, — тим-тим!» И показывает, придерживая рукав, на ветвистые, полные птиц и прохлады монастырские деревья, под которыми столь приятно и без особой скуки станет гнить тучная губернаторская плоть. «Тим-тим!» — в захлебку звенят колокола, и даже нищий слепец, высунувший из толпы кружку под милостыню, воодушевленно лопочет свое гнусавое «тим-тим».

Уставясь во тьму, Вассиан лежит с открытыми глазами, и нет во тьме ответа смятенным вассиановым запросам. Сообщница вассианова уединенья, кошка мягко спрыгивает на пол; она напрасно ищет еды, зевает и возвращается на хозяйскую овчину. Вассиан зажигает свечу и уныло, как кляча — вытертый свой хомут, обводит взором келью. Все в ней, от стоптанных ошметок у порога до подпалинки на иконе от упавшей свечи вопит о нищете скита. Не склеивается разбитый сон, напрасно Вассиану даются ночи. Он берет с подоконника узкий ящик с землей; бледные ростки овощной рассады тянутся к нему, и он улыбается им безресничными глазами. Именно овощам он подарил остатки своей жизни, и они произрастали у него в изобилии, достигая порой ошеломительных размеров.

— Неслыханно, — дивился не раз Ипат Лукинич, председатель из Макарихи, любитель чинной беседы. — Это уже не редька, а целый продукт!

— Нет, — себе на уме, улыбался Вассиан, поглаживая хвостатого своего младенца. — А есть в этой земле нетронутая сила, и никто еще ее не раскопал. Везде я искал, по степу бродил, у башкеров бывал, в горы солдатиком вторгался, а краше Соти не обрел места на земле.

— Хлебушки-то у нас унылые, — возражал председатель, косясь на редьку, ибо пахли у Вассиана овощи.

— Не умеете силу раскопать, а живете, как цыган в палатке, без любви к месту, а все жадничаете, а за боговым тянетесь... — И принимался за повествование, как он сжигал накорчеванные пни, как рыл водоотводные каналы, а тощие, мытые пески ежегодно унаваживал нечистотами, которые растаскивал на собственной спине. В те сроки и пахло же от Вассиана; в трапезной врыт был для него особый стол, который все обходили. «Он злак любит, — говаривал про него хулительный брат Филофей. — Нюхнуть однова̀, во́век не отплюешься!»

...А пересмотрев рассаду, оделся в кожан и вышел на добровольное послушание. Туман наползал на берег, в природе торжественная начиналась ворожба. Он зашел за черпаком и корзиной, уже не пропускавшей жижи, и, помолясь на мысленный восток, двинулся в обход по ямам. Шла средина ночи. Посдвинув крышку, он черпал жидкую черноту, в которой иногда отражались звезды, и относил на грядки. Состарившись наедине с природой, он привык населять свою глушь существами, вычитанными из рукописных цветников; он привык угадывать их всюду, куда не умел добраться разумом, и скорбел сильно, что никогда не доводилось ему встретить беса и сразиться с ним. Близился закат дня его, а все медлил тот, и не удавалась встреча.

Об этом и раздумывал он у ямы, что близ самой кельи тимолаевой, когда раздался крякот в дощатом нужничке, и оттуда вышел, застегиваясь, черный коренастый мужик в меховом картузе, незнаемый дотоле казначею. Распялив глаза, трепетно ждал Вассиан продолжения видению своему, а туман сгущался, пожирая лес, и на размытом том пространстве один предстоял Вассиан сбывшемуся своему мечтанию.

— Трудишься, отец? — полюбопытствовал бес, причмокивая как бы конфетку. — Видно, и у вас даром-то не кормят!

— Ямы вот чищу, — охрипло отвечал казначей.

— Чего ж присматриваешься, аль признал?

— Ты бес... — путаясь в мыслях, сказал Вассиан.

— А бес, — чего ж не вопишь? — засмеялся тот, и туман поколебался вокруг, как взбаламученные воды.

— Гласу нет...

Брезгливая горечь отразилась в лике беса:

— Ну, старайся, отец! — и, стуча по мосткам, сокрылся в тумане.

Внезапная немочь разлилась по телу казначея; спотыкаясь, он бежал по цельным грязям и вдруг негаданным образом оказался на берегу. В этот именно час тронулась Соть, а Балунь еще тужилась и синела, как нерожалая баба. Плотными хлопьями туман оседал на ветвях, расстилаясь от реки к реке. Мир покорно и леностно растворялся в нем, и, казалось, наступала та первозданная муть, в которой была разболтана когда-то

вся последующая история людей, строительств и городов. Глухой треск наполнял ночь; огонек из Макарихи потерянно сиял в тумане, как заблудившаяся звезденка. Со страхом слушал Вассиан ворчливое пробуждение реки... Книголюбу, ведомы ему были обличье и повадки всех именитых бесов, но этот не походил ни на одного из них; он тогда не знал, что на деле еще большая их разделяет пропасть, чем та, которая лежит между чортом и монахом. Уже ссорясь с разумом, все домогался он имени новоявленного беса, а беса звали *Бумага.*

3

Утром, заново вылупливаясь из небытия, вещи выглядели с наивной и несмелой новизною; вот так же и человек тотчас по сотвореньи умел только петь и пел не краше петуха. Дул гулкий, мокрый ветер; слышалось в нем и сдержанное рычанье вод и тягучие жалобы лесов, напоенных предвестьем гибели; мягкий, как теплая вода, он ознроблял. С обеда Увадьева потянуло на тот песчаный мысок, под которым с Сотью сливалась нешустрая Балунь. Обе они, малые сродницы великой реки, долгие лесные версты текли извилисто, как бы отыскивая друг друга, и самое слияние их походило на робкое объятье двух разлученных однажды сестер. Сюда, на ветхую скамью, часто приходили, наверно, скитские старики любоваться на закаты, величавые, как вечность.

Воистину краше Соти не обрести было Вассиану места на земле. Огромными пространствами владел здесь глаз; они порождали пугающее желание подняться над ними и лететь. Было холодно наедине с этой пустыней и с первобытным небом, повисшим над ней. Увадьев сидел тут долго, изредка потирая охолодевшие руки и созерцая могучую синюю шерсть лесов, в которой только что начали простригать дороги; он сидел неподвижно, точно пришитый гвоздями, и только приход Фаворова всколыхнул его оцепенение.

— Простор-то... прямо хоть апокалипсис новый пиши! — крикнул он с узкой ступенчатой тропки, внизу которой еще чернел на снегу костяк прошлогоднего парома. — Глаза ломит простором...

— Еще пиво хорошо тут пить, — минуту спустя откликнулся Увадьев.

Фаворов с кроткой неприязнью покосился на этого обмозолившегося человека, которым новорожденная идея замахивалась на обветшалый мир. Самого его восхищала всяческая пустыня своею отреченной красотой и еще той обманчивой свободой развития, которая существует только в природе; он верил, что Увадьев одобрит ее лишь тогда, когда через нее, заасфальтированную, проедут на велосипедах загорелые смеющиеся комсомольцы, и со скукой отвернулся в сторону деревушки. Раскинутая на скатах небольшого холма, она цветом отсырелых кровель, державших кое-где клочья снега, удивительно напоминала разломленный ржаной ломоть, густо посыпанный солью.

— Съедим ломоток-то, — кивнул он потом на обреченную Макариху. — Смотрите, там разместится лесная биржа... вот, где баба идет с ведрами. Варочный корпус будет там, где собака. Стихия... не боязно?

— Ничего, глаза стращают, а руки делают, — все так же без выражения, не своими даже словами, ответил Увадьев, и Фаворов с любопытством обернулся.

Вкруг скамьи, по песку, еще рябому от апрельской капели, лежали узкие, немужские следы; Увадьев изучал их с тяжким и недоверчивым вниманьем. Для обоих имя этой женщины, побывавшей тут часом раньше, звучало одинаково необыкновенно, но в одном оно поселяло волнение почти такое же, как вот эти коряненькие, набухшие прутики бересклета, сбегавшего к реке, а другой был готов глумиться над ним, потому что в этом заключалась его единственная оборона. Вдруг Увадьев встал и мгновенье прислушался к самому себе.

— Пойдем... пучит меня от ихнего гороху.

Горох в эту великопостную неделю был единственной едой в скиту, где порой и вода именовалась пищей.

Здесь-то, на опрятной дороге, засыпанной крупным речным песком, и нагнал их посланец от игумена, тот неласковый рыжак, с которым познакомились ночью. Засунув руки за широкий кожаный пояс, деливший его злое и быстрое тело пополам, он остановился в нескольких шагах и выжидательно молчал.

— Подходи, парень, не бойся. Мы тоже живые... — бросил для начала Увадьев

— Игумен велел на задушевную беседу привесть.

— Душу мы тут спасать не собираемся! — подзадорил Фаворов.

— Значит, губить ее собираетесь здесь?

Он кидал слова с небрежной силой и, раскидав скудный запас, сбирался бежать, но Увадьев задержал его мимолетным вопросом, и они пошли вместе.

— Парень молодой, тебе бы в миру куролесить!

— Ношу бремя мое, пока ног хватит, — недружелюбно усмехнулся монах.

— Что ж, в ногах ума нет. Как зовут-то тебя?

— Геласий я.

— Вот и имя-то тебе какое приклепали, чудно́е. Даже как-то на алюминий похоже!

— Геласий — значит смеющийся, — резко и вызывающе сказал дикарь.

Увадьев многозначительно переглянулся с Фаворовым.

— Над чем же ты смеешься в жизни своей, Геласий?

Тот понял насмешку, и рыжая грива его стала еще краснее. Теперь он шел прямо по грязям и наступал с маху, точно хотел забрызгать спутников своих.

— Над всем, что в мире! Жулики да дураки... за волосья друг дружку теребят, а правда так и лежит в сторонке... и красы нет. В тебе, что ль, правда? — очень тихо спросил он, и Увадьев, дрогнув, заинтересованно покосился в его сторону. — Врешь, она не любит мордастых, она их за версту бежит, правда-то.

— Ага, вот какой оборот, — посмеивался Увадьев. — Ликом я, действительно, не удался! — Длинные бороды ползучего мха свисали с деревьев; сорвав одну из них, все старался он приспособить из нее хоть веревочку, но не удавалась веревочка никак. — А ты красы да правды не в дырке этой ищи, а в живых. Живые-то в мире живут... — Ему все хотелось вывести разговор из закоулка на более просторную дорогу, и опять рвалась непрочная веревочка.

— Ноне и мертвые ходят,— жестко бросил Геласий, и худая рука его схватила воздух.— Там, где живому боязно, мертвому нипочем...— И, точно избегая увадьевских возражений, он прыгнул в лес через канавку и пропал;

только мелькнула черная скуфья, которой не под силу было сдерживать его вьющихся бунтовского цвета волос, да хрустнула по пути обломленная ветка.

— Люблю злых, — минуту спустя сказал Увадьев. — Тугая, настоящая пружина в них, годная ко всякому механизму. Злых люблю, обиженных, поднимающих руку люблю.

— Вы умеете выпить яйцо, не разбивая скорлупы, — непонятно пошутил Фаворов. — Люди этого не прощают!

— Мое от меня не уйдет.

Просека кончилась. Дежурный вратарь, по-бабьи задрав рясу, подбежал к ним из сторожки подтвердить повеление игумена. Имея достаточно времени, они решили принять приглашенье, а тогда к ним присоединилась и Сузанна. В последнюю минуту, однако, Фаворов чуть не отказался; нянька пугала его в детстве монахами, и он навсегда сохранил брезгливую неприязнь к людям, одетым в эти нелепые долгополые одежды. Кроме того, его делом было строить, а дробить и мять людскую глину он по справедливости предоставлял Увадьеву. Превозмогло то же самое любопытство, которое влекло и его спутников.

Четыре изгнивших ступеньки сводили к толстой двери в игуменскую землянку; было ясно, чем властней стучалась в эту дверь весна, тем исправней, разбухая от влаги, выполняла она свое назначение. Сузанна гадливо толкнула ее ногой, но дверь открывалась наружу, и ей пришлось взяться рукой за осклизлое железо скобки. Не ладан, которого беспричинно боялся Увадьев, а тот кислый, как бы из капустной кади, запах, когда мужика много, и бездельно сидят в тесноте, пахнул ему в лицо. Кир, игумен, ждал не один, и Увадьев привычно, как на митинге, поискавший хоть одно молодое лицо, испытал легкое затруднение. Вдоль бревенчатой стены, низкой и без единого окна, сидели старики числом до двенадцати, водители и камни этой человеческой пустыни. Все они были носителями каких-нибудь душевных искривлений, пригнавших их сюда, и оттого Сузанна с изумлением видела ноздратые носы, вислые уши, пылающие глаза, или, напротив, способные утушить пламя других глаз, огромные цынготные рты, разодранные немым криком, раздутые руки или руки, такие выразительные в худобе своей, точно их подчеркнуто лепил иронический художник. Сам

игумен толстыми закопченными пальцами оправлял пламя светца; огонь облеплял его пальцы, от волненья не замечавшие ожога.

— Здорово, отцы, — кивнул Увадьев, сгибаясь и пролезая в нору. Одновременно со спутниками он подумал, что игумен нарочно зазвал их в эту яму, где почти вопила скитская скудость. — Как попрыгиваете? — повторил он на всякий случай.

— Дрожим! — отвечали ему из глубины кельи.

— Немудрено, в эку щель залезли, — безобидно улыбнулся Увадьев. — Тут и мокруша, поди, чихает...

Все помолчали, пока гости усаживались на заранее поставленную для них скамью.

— Ты шапочку-то сыми, тута не простудишься. Эка надышали! — поскрипел ближний старик и, хотя не слышалось пока ни вражды, ни порицания, Увадьев решил не итти ни на какую уступку.

— Не серчайте, граждане монахи. Голова у меня в войне контужена, и от воздуха как бы дрожание на нее находит. Я иной раз и сплю в шапке, такое обстоятельство! — Он мельком взглянул на Сузанну, но та не одобрила, кажется, его выдумки.

Тут, шаркая стоптанными сапогами, сухонький монашек внес большой медный чайник; белый пар бился из носка. На растопыренных пальцах он держал стаканы по числу гостей; наспех обмахнув стол полой своей засаленной рясы, он налил в стаканы густого березового чая и поспешно удалился.

— Вот, грейтесь чайком. Хоть и ночные, а все гости, — поклонился Кир, придвигая три серых от времени куска сахару, сохранявшихся, видимо, вместе с рублями в обительской сокровищнице. — Самим-то нам правило не велит, да и отвыкли...

— Чаёк обожаю, — просто сказал Увадьев; соскоблив с куска грязцу и налипший на него русый волос, он неторопливо отправил его в рот. — Волос сладости не убавляет! — взмахнул он бровью, почитая и грязцу за нарочную выходку Кира.

— Вот и славно, — приветливо продолжал игумен, — давайте ознакомимся сперва. От века признавали мы берлогу по желтой проплешине в снегу под вывороченным корнем; советских людей по обличью признаем, —

он поклонился, как бы извиняясь за свое ненамеренное оскорбление. — А мы мужики. А до пострига зверя тут промышляли, лис били, лосей загоняли. Михейко, эва, у медведицы дитенка крал, она ему малость ляжку поела: так и хромат доселе на одно колесо. — Видимо, он волновался; пальцы его бегло обжимали пламя, как бы пытаясь вылепить из него знак, достаточный для устрашения Увадьева. — А сам-то я живописец был. И я исправный, сказывают, был живописец. Успенье, дорогой мой, в ноготь мог написать. Иконка, и молиться можно, а вся в ноготь. Шешнадцать человек, и кажный с личиком, и у кажного в глазике соседик отразился.

— Очень интересно, — молвил Увадьев, приступая к чаю. Он пил его с видимым удовольствием, невзирая на явный березовый привкус, пил не спеша, и даже легкая испаринка проступила у него на лбу. Игумену он не возражал до поры, справедливо угадывая, что карьере игумена предшествовала многолетняя деятельность скитского духовника.

— ...а сам я сюда пришел от неправды людской, — тянул Кир, озираясь на братию. — Братца у меня повесили, обожаемого братца. Удавили на Костроме...

— Кто ж его так нехорошо, братца вашего?.. — вступил в беседу Фаворов.

— Кто!.. у кого власть, у того и петля. Царишко удавил, ему пределу нет.

— Правды, что ли, добивался? — надоумясь недавним разговором с Геласием, любопытствовал Фаворов.

Игумен засуетился; в движениях его скользнуло кратковременное раскаяние, что не воздержался от упоминания о братце.

— Как тебе сказать, дорогой мой?.. людишек он побивал. Ведь поискать, так и праведника в петлю вставишь. Без греховинки-то вон огнь един, да и тот жжется... — И опять он продолжал говорить, цветистой многословностью своей вызывая негодование братии, а Увадьев все пил и, бережно отставив в сторону допитый стакан, принялся за другой, от которого отказался Фаворов.

Монахи терпеливо глядели ему в рот, напрасно выжидая, что вот он сам обнаружит, много ли власти возложено на него, много ли беды привез с собою. Волновались они не зря: уже творились в округе вещи, не

сообразные с древним обликом Соти. Еще с зимы в Макариху стали собираться многолюдные артели рабочих, которые тут же и расселялись по мужицким избам. Толком никто не знал, а десятники и техники лишь перемигивались на скороспелые тревоги чернеризцев. Не меньше двухсот подвод, нанятых из окрестных деревень, ежедневно везли со станции бутовый камень, алебастр, железо всех сортов, паклю, стекло, гвозди; они везли и вязли в добротных российских грязях: распутица вконец разъела зимники. Одновременно с этим свыше четырехсот мужицких топоров да лопат прокладывали грунтовую дорогу на Шоноху, прочерченную каким-то сумасшедшим чертежником прямо через болотистые леса. Чуть не по колено в воде, тотчас за метчиками, шли рубщики, открывая мостовщикам и дерновщикам широкую, шестиметровую тропу; они безжалостно врубались в дебрь, от топоров переняв свою повадку, и там, где раньше щебетала птищь да путлял сонливый зверь, встали ныне хлипкая брань да железный клекот. На виду у всех по слепительному весеннему насту ежедневно бродили кучки людей с треногами и все искали в трубках нивелиров тот безвестный лысый бугор с часовенкой, при которой от века существовал монах, собиравший даяния со всяких мимоезжих людей. Вечерами они возвращались злые и молчаливые; ели так, точно в утробе у каждого сидело по батальону солдат; спали так, что и пушками не пробудишь. Округа терялась в темных догадках, и даже сам Лука Сорокаветов, родитель макарихинского председателя, присяжный отгадчик мировых тайн, только руками разводил на запросы однодеревенцев. Явствовало лишь, что по проложенной дороге прикатит вскорости лютая машина, которая неминуемо пожрет и несуесловную прелесть места, и тишину — наследие дедов, а вместе с ней и мелетиево детище.

Еле переводя дыхание, Кир смотрел украдкой на эту невозмутимую глыбу, свалившуюся ему на голову, на его большие в темном пушке руки, такие же широкие в запястьях, как и в ладони, на его костистые, вроде наковален, колени и, хотя не делил с ним чайного удовольствия, такая же испарина проступала у него по лицу. А тот все пил, наевшись селедки в обед, и цвет его причудливо менялся, как у стали в закалке. «Эка, чай-то хлещет, ровно на каменку в бане льет!»

— Какие вас сюды ветры завеяли? — не вытерпел он наконец.

— А нас не ветры, мы сами, — очень строго произнесла Сузанна, и все посмотрели на нее с осуждением, точно совершила явную непристойность.

— То-то, сами... Ты, бабочка, сиди; баба после всех тварей сотворена была, не с тобой речь! — твердо обрезал игумен, а Увадьев даже от стакана оторвался, чтоб удостовериться, не начался ли уже скандал: все пока обстояло благополучно. — И Геласия-то сутемень напугала. Да и сами в страхе живем! Соглядатаи с трубами по полям ходят, в трубы ищут, а чего искать? Мест много, на все места людей нехватит!

— Мы не таких мест ищем, — вставил Увадьев, неуверенно берясь за третий стакан, и тотчас Кир оживился.

— Каких же местов вы ищете?.. для поправки, так на Соленгу езжайте; там и калеки ходят, и бесплодны рожают, как поживут. Домой-те приедешь, а начальство и не узнает: рожа-то чисто вымя коровье станет. А коли охотных местов надо, так это на осьмидесятой отсель версте, местность Креуша. Все идите, все идите, сперва сухопутьем, а там болотце встренется, вы и его прейдите! Добычники сказывают, лоси-то прямо на опушках табунятся...

— Рыжички там хороши, — нечаянно проговорился один, с маленьким лицом, совсем увязшим в бороде, и вдруг зашелся в оглушительном простудном кашле.

— Рыжички тоже очень хорошо, — поддержал Увадьев, когда все пришло в прежнюю стройность.

Кир опустил глаза, а пальцы его стремительней побежали по лестовке.

— А то поживите бельцами у нас, моленьем да ладаном не поневолим. У кажного своя вера, как ему гибнуть написано. Гуляйте, скоро уж и черемухи запоют... — Он так и не заметил своей оговорки. Вдруг он поднял слезящийся взор, тоскливо и тускло светилась в нем беда. — Мятежно в скиту стало, и не вы, гости ночные, мятеж к нам привезли. Уж дороги ведут, железо везут, а мы не ропщем, а мы поем богу нашему, дондеже есмы. Назад тому ста годов более воздвиглась тут, у мочажков, черная максимова изба, мать киновии нашей. А был Максим

не барин, не штабской сын, не купцовой жены племянник, был он солдат беглой. Двадцать лет воевал врагов царских, не одну бадью крови отдал, а в отмету службы велено было забить Максимку палками, он и убег сюда, чтоб тут Мелетием зваться. Вот мы и живем как вареники в масле, корье жуем, да всяку лобуду лесную, еще воздухом дышим, за сирых бога молим, за помин рупь в год берем... за ту единую вину нашу простите нас, гости ночные...

— Чего ты юлишь, пускай они юлят да право свое покажут! — шепнул гневно ближний старик, несравнимо косматый. — Наше право вот оно... — и совал Фаворову в руки скрипучую грамоту с восковой печатью; в красном воске виднелась благословляющая рука.

Фаворов, посмотрев бумагу, сказал *мерси* и отдал назад.

— Бога-те отсель взашей, а на его место свояка посадишь? — бурчал все тот же старик. — Что ж, коли непьющий, может, и сойдет.

И тотчас, как по оговору, монахи засмеялись, задвигались, заговорили. Они всяко хаяли свое место и один разумно указывал на дикость людей и лесов здешних, а другие упирали на то, что допрежь ни царь, ни его верные псы не трогали священного убежища. Кто-то крикнул со стороны, что царь-де ременной плеткой стегал, а этот, поди, железную привез, и тогда сразу наступила тишина, точно перед строем в барабан ударили. Увадьев сосредоточенно жевал карамельку; подозревая, что скиток мог иметь крепкие корни в окрестных мужиках, он до времени избегал ссоры, но по лицу его достаточно было видно, что царишко ему не резон. Уже грозила нахлынуть буря на этот непроглядный человеческий лес, но тут неожиданно в действие вступил Фаворов, и развязка этой опасной встречи затянулась.

— А, кстати, что это такое, ваш бог? — заинтересовался инженер и полез было за папиросой, но вспомнил исключительность места и вынул лишь носовой платок.

— Бог — это все, что есть, а чего нет — тоже бог, — спокойно сказал молчавший дотоле молодой монах, и Увадьев удивился, как это он проглядел его раньше. — Начало вещам — он, он же и конец, ему же и поклонись.

— Скажи, скажи им, Виссарьон, — обрадованно сунулся Кир. — Порадуй батюшку!

— О несуществующем не может быть и мысли, — улыбчато метнулся Фаворов, соображая — про какого батюшку помянул игумен. — Но хорошо... ваш бог... имеет ли он вес, объем, величину?

— Нет.

— Что же он такое?

— Бог!

— Это Парменид, но только в русских смазных сапогах! — громко сказал Сузанне Фаворов, а Увадьев, не подозревавший в нем таких знаний, легонько подтолкнул его ногой, чтоб уж не сдавался. — Где же *он* живет?

— Везде.

— Значит, *он* постоянно движется?

— Нет, неподвижно божество, и не подобает ему перебегать с места на место. Тот, кто сам конечен, всему домогается конца найти...

— Ксенофан! — блеснул глазами Фаворов. Ему нравилась эта безрезультатная, годная хотя бы и для древней Александрии словесная пря. До начала большой работы оставалось еще несколько дней ледохода, и он непрочь был размять в этом споре затекшие от скитской скуки мозги.— Что же он делает, или чего жаждет *он*?

— Жажда смертности нашей основа. Он не имеет жажды.

— Значит, он — мертвый?

— Нет, но вечный... — скрипел фаворовский противник, заслонясь испытанными элейскими щитами. Может быть, он нарочно обращал на себя внимание этим спором, слишком неподходящим к такой именно мужицкой Фиваиде; все видели, что он слишком много знает о боге, чтоб верить в него. Одежда его была неряшливей, чем у других, но руки его, тонкие и чистые, достойные зависти любого архимандрита, на странные наводили подозренья; их он прятал тщательней, чем глаза, рассаженные глубоко в подбровных ямках. Из впалых щек его отвесно, как у китайского архата, текла борода, и ему, видимо, еще не наскучило изредка гладить ее ладонью. Кроме явных и просторных этажей, имелся в этом человеке какой-то душевный подвальчик и Фаворов решил когда-нибудь еще поговорить с ним на досуге.

— Вы — образованный человек, вам стыдно быть здесь, — заметил он вскользь.

— На протяжении веков господь побивал нашу землю не только дураками, он карал ее и умниками... — обиженно бросил Виссарион, смутясь пристального сузаннина взгляда, и вдруг поспешно вышел из землянки.

Его проводили неуклюжим испуганным молчанием: никому другому не было под силу продолжать незавершенный поединок. Снова грозила начаться рукопашная, и Кир, не дожидаясь, пока улягутся нахлынувшие страсти, осторожно приступал к своим хозяйским обязанностям.

— Вот и живите у нас... погуляете, поспорите. Спор, он проясняет. А надоедят серячки наши, в Макариху поедете. Деревушка веселящая, все и старухи-то, прости господи, танцухи... — Вместе с тем, страшась утерять до срока увадьевское расположение, он постарался свести беседу на более безопасные вещи. — Молодая-т — женка, что ль, твоя? — уже ласковей кивнул он на Сузанну.

Увадьев, который зевал втихомолку, так и не дозевнул до конца.

— Не, женка у меня там, далеко... — неопределенно махнул он, и все поняли, что разлуку с ней он переносит без особого вреда для здоровья. — А это техническая помошница наша, химичка и вообще... — И *этот* второй его жест был еще непонятней первого.

— Ишь ты... и жалованьишко, поди, получаешь! — мямлил Кир, глядя на ноги Сузанны. — Не обижает хозяин-то?

Но прежде чем Сузанна успела ответить, случился тот беспримерный в истории скита скандал, который и обнаружил истинные настроения мелетиева стада. Не обронивший ни слова с самого начала, грузно поднялся с места рябой Филофей, и Увадьеву не трудно было понять, что этого не переменишь, что с этим придется драться до конца. Он был кузнецом когда-то, но променял на моленье славное свое ремесло, и теперь только большие черные руки его можно еще было уважать в нем. Наверно, он умышленно шел на открытую распрю, потрясая огромной головой и даже в этом, малом, подражая тому неистовому Аввакуму, которого положил как печать в сердце своем.

— В каких трудах помощница-т... во днях аль в нощи? — с хрипотцой спросил он. И все вокруг опять засмеялись резким звуком распиливаемого дерева, а он стоял посреди, как гора среди малых холмов, обдуваемая ветерками. Старики задвигались, пламя закачалось в плошке, как маятник, по бревенчатой стене заскакали угловатые тени,— целые вереницы гримасничающих теней.

— Уймись, Филофеюшко, не срами... — только и умел крикнуть Кир хулительному брату.

— Кол, кол сунь в гортань мою, не перестану, — и вытянутый палец, как ружье, наставлял в старинного врага своего, Кира. — Полно блекотать-то! Свету како общенье с тьмой?.. Ты его чаишком поишь, а он, эвон, ржет, аки жребя! — махнул он на Фаворова, который откровенно улыбался на эту внезапную волну страстей. — Ты мне, Кирушко, перстом не грози! Ежедень бей меня святым кулаком да по окаянной шее... и побьешь, и во чрево мне песок насыпешь, и умру... да восстану, да оживу в сотне уст да опять вопить стану. А опять побьешь, мертвый смердеть стану, псиной тебя задушу...

— Псы-то по естеству смердят, а в тебе дух воняет! — Усталость мешала игумену удерживать долее достоинство власти.

— Пес есмь солнца моего, лаю поколе жив... хвостом обижен, ино и хвостом бы вилял. В Соловецки-те времена, бывало, наедут, башку отмахнут, да и отпустят, а ноне душу самую в тиски смятения смертного закрутят. А в конечный день, как тряхнется земля и колыхнется небо, утерявшее цвет свой, разумы-т людские ровно тыквы лопаться почнут... заревет труба, на гору положена... тоды я тебя вопрошу, Кирушко, старого балдака: хде был?.. Летучие самокаты бегли, пену да пал из железных морд пущали, драконы со змейчихами в обнимку шли пить сок людского сердца, потребный вышнему, а ты им сединкой своей путь разметал? Эх, метла-метелка: балы, машкарады, смрад их тебя прельстил? Танцуй, танцуй под ихнюю свирель!..

Так, брызгаясь и грохоча, он громил тот, уже отошедший век, останком которого был сам. Подземным чутьем мужика он угадывал, что великий бунт людской несет ему еще неслыханное посрамленье. Легче было воображать мир попрежнему каменной залой, где при догорающих

солнцах кружатся обезумевшие пары и сидит розовый овеществленный блуд. Этот мир сжигал и Увадьев и вместе с Филофеем плясал бы на развалинах его, если б только при разрушенье уцелел сам Филофей. Предчувствуя это, оттого-то и грозил Филофей, что всех их отставят от насиженного места, оттого и избивал словесным бичом кроткое обреченное стадо.

— Рассеемся тогда, — сказал слепой Аза в тишине всеобщего испуга. — Кость в поле лежит, много ли ей надо? И ветерком обдует, и дождик вымоет, и солнышко погреет... А может, хороших людей обижаешь?

Как будто только этого возраженья и ждал Филофей.

— Молчи, мертвяк! — сызнова воспалился он. — Ты годок у братца погостюешь, а там почнешь по серебряным облакам с тросточкой гулять... А моя смерть у твоей еще титьку сосет. Ноне все хорошие, все с ружьями... Эй, горемыки миленькие, кланяйтесь ему, хорошему!.. — Вскочив, он громоздко поклонился Увадьеву и опять повалился на место, а братия раздалась в стороны, как от камня вода.

Последнее и злейшее, чем крик, наступило молчанье, но все еще металось в перекрестных дыханьях нестойкое пламя светца. Увадьев обстоятельно изучал свою ладонь, что случалось с ним лишь в приступы крайнего гнева.

— ...за чаёк я и заплатить могу,— сказал он потом, приподнимаясь с места. — Нехорошо у вас вышло, отцы. Теперь будем говорить так. С богом нам пока на Соти не тесно, рано вздымаетесь. Я смирных не люблю, но и занапрасну их не трогаю. Больше говорить не о чем, смекайте сами ваш привет...

И уж готов был покинуть негостеприимную эту яму, но всего за мгновение до его ухода что-то заворочалось на койке в углу, и старики озабоченно переглянулись. Неожиданный смрадик объявился в келье, но, как Фаворов ни приглядывался, нигде не виднелось ни падали, ни мертвеца. Он слабо щекотал ноздри, одурял, позывал на рвоту, ежесекундно усиливаясь, и вдруг из тряпья, как попало сваленного на койке, высунулась тощая голая рука. Недолго покачавшись и не найдя, за что уцепиться, она бессильно свесилась, почти упала к полу. Тогда, понукаемый кивками и шопотом стариков, Кир попытался как бы сломать ее и водворить обратно, но рука усердно

отбивалась детским кулачком, потому что не хотела назад, в свое смрадное уединение. Кир отступил, и только тут гости поняли, почему именно сюда, а не в просторную трапезную, например, призвал их на собеседование игумен.

4

То и был Евсевий — старец, врачеватель душевных недугов и сокровище скита. Разбитый какой-то давней и вонючей болезнью, он безвыходно лежал здесь многие годы, и никго из живых не помнил его самостоятельно ходящим по земле. По установившемуся обычаю, правящий игумен служил ему добровольным келейником; он его и кашкой кормил и обмывал по временам теплой водицей, хотя больше всего в жизни не терпел Евсевий воды. Еще не переносил он никакого моленья, и ему потрафляли, потому что жил он единственно затем, чтоб привлекать в скит скудные денежные средства. Сюда, в темень и смрад, приходили к нему мужики за поученьем, в простоте душевной полагая, что чем страшней она, внешняя мерзость, тем выше внутренняя благодать.

Про него говорили, что и он вдоволь побродил по гиблому донышку жизни и радости не обрел по плечу себе. Ему приписывали и мудрость и высокое происхожденье, а он сам был простой наемный косец и, кроме искусства безустанной косьбы, не имел ничего. Он ходил от села к селу, нанимаясь в богатые дворы, и его не особенно обижали, пока не произошло несчастье. Потный, он купался раз в коряжистой Енге, и что-то шершавое скользнуло ему по ногам; с этого началось, и Гордий, шестой по счету преемник Мелетия, подобрал его, уже обезноженного, с дороги. Его положили в землянке, и первое время он лежал в забвении, пока не надоумился вышереченный авва Авенир извлекать из него пользу. Из поколения в поколение он стал переходить, как достояние и бремя, а со временем и сам привык ко всеобщим заботам и к подневольной роли прозорливца. Один век сменился другим, за иное страдали люди, а он все лежал и, кажется, только теперь начинал постигать торжественную радость бытия.

Лишь малая часть разговора с гостями доходила в евсевиевы потемки, многого он не уразумел по ветхости

разума, но, видимо, учуял необычность происходившей распри. Жизнь шла мимо него, и он не вынес, наконец, могильного своего одиночества... Столпясь в дверях, гости наблюдали стариковскую суету и не уходили.

— Кирюха, Кирюха!.. — капризно и тоненько закричал из норы своей Евсевий. — Чего ж Виссарьонушко-те смолк? Когти́, когти́ ихнюю мать...

— Убежал он, батюшко, може живот с капусты заныл! — в тон ему прокричал игумен, складывая руки дудкой и наклоняясь над незримым существом.

— Кирюха... куда ты прячешься от меня, Кирюха?

— Тут я, тут, батюшка! — Он хлопотливо поискал глазами и, схватив кусок сахару, сбирался сунуть его в руку старца, но сахар выпал из дрожащих пальцев, а поднимать его с полу стало уже некогда.

— Что, что в миру-то? — с томлением, как бы издалека вопрошал Евсевий.

— А дым, дым в миру идет, ничего не видать за дымом! — забывая о присутствии чужих людей, отвечал Кир.

Некоторое время ушло на то, чтоб дошли до евсевиева уха сказанные рядом слова.

— Дым-то, откеда он?

— Из людей дым, батюшка!

— Сколько веков полыхаит... — плаксиво рассудил Евсевий, и сердитый кулачок разжался. — Благодетели живы ли?

— Благодетели-то ноне сами копеечке ради... — горько признался Кир.

Так прошло несколько минут; старики шептались, рука бездействовала, шел копотный воздух от светца, и в нем слоисто колыхался мрак. Вдруг койка заскрипела, точно лез наружу святой, соскучась о жизни и людях.

— Что... что они строить-то будут?.. больницу, что ли?.. Да откройте меня, жулики... кобели, откройте меня!

— Баба тут, батюшка, — совсем потерянно сообщил Кир. — Баба, живая...

Окончательно смущенные бунтом Евсевия, старики просительно взирали теперь на Увадьева, которому одному дано было удовлетворить скандальное любопытство старца, но тот безмолвствовал, лишь покачивая головой, и ничем не выражал намерения вмешаться вновь. Тогда Сузанна двинулась с места, и всем показалось, что лицо ее

не предвещает доброго. Старики опять зашумели, ибо в прорыв, который свершала Сузанна, неминуемо должны были хлынуть новые полчища людей, любопытствующих о тайне. Закрыв руками незрячие глаза, хныкал Аза в уголке, и не понять было, плакал он или смеялся; Вассиан пучил скошенные глаза в сторону, точно ждал оттуда сабельного удара; вдруг вскочил Ювеналий и опрометью, подобный летучей мыши, бросился в дверь, а задетый чайник с грохотом покатился за ним.

Старики кричали:

— Зададут теперь сырынаду!

— Псыня на падаль бежит...

— Храните Евсевейку!..

Никто, однако, не посмел остановить ее на полпути к ложу Евсевия.

— Откройте его!

Голос ее надломился, и повелительность не удалась, но рябой Филофей тотчас же сдвинулся с места и, поднеся огонь, разворошил тряпки на Евсевейке. Сверкали филофеевы глаза:

— Зри... эва, какой молодчик лежит!

Лишь немного привыкнув к теплоте тленья, исходившей из дыры и колебавшей пламя, она заглянула. Там, в колодце из грязной ветоши, ворочалось маленькое, сплошь заросшее как бы шерстью лицо человека, а ей показалось — мохом. Должно быть, уже сама земля просвечивала сквозь истончавшую кожу лба. Нижняя губа его капризно выдавалась вперед, а глаза были закрыты; святого слепил свет, и густейшие брови его дрожали от напряженья. Вдруг волосы, росшие как попало и во всех направлениях, распахнулись: Евсевий открыл глаза. Было ей так, будто заглянула в самое чрево земли сквозь ту непостоянную, бегучую протоплазму, в которую цветисто разряжен мир. Теперь Сузанна не удивилась бы, если б этот первобытный дикарь рассказал вдруг про ту доисторическую метель, которая когда-то в отсутствие людей вилась над Сотью. Она защурилась и отступила.

— ...и блохи едят, и вонь томит, — жалобно просвистел святой, всячески приноравливаясь к свету. — Баба! — прошелестел он потом, хотя вряд ли различал лицо Сузанны, и сразу весь затормошился, как бы намереваясь бежать от приступившего зла; не бежал он вовсе не оттого, что

утерял свою власть над ногами. — Бабочка... мази принеси мне... какой ни есть мази. Кожа у меня на ногах расседается. Лежать-то надоело, ой, кои веки невосклонно лежу...

Он так и не успел израсходовать до конца филофееву милость; башнеподобный накинул на него дерюжку, вроде домотканного половичка, и голос с другого берега прекратился.

— На ножки он ослабел, попортились у него ножки... — торопливо зашептал Вассиан, пытаясь коснуться сузанниной руки. — А уж такой, сказывают, бегун был...

Та в раздумье кусала свои отвердевшие губы:

— Бегун-то бегун... На воздух бы его, отцы. Больного человека в этакой вони содержите!

— Так ведь на воздухе-то ноне самая простуда и ходит, а вонь... своя-то вонь каждому мила! — все домогался ее улыбки казначей. — И ты не гляди, что малодушье обуяло святого. И гора плачет, как ее кирками бьют...

— Я не гляжу, не гляжу,— улыбнулась, наконец, она, но совсем не так, как хотелось Вассиану. Минуту спустя она спросила тихо: — Этот... брат Виссарион давно у вас поселился?

— Четвертый год, маточка... Евсевию больно полюбился, души не чает в нем! — заюлил Вассиан, а она уже взялась за скобку.

Фаворов тотчас же, как гайдук, последовал за ней, и один Увадьев в непостижимом оцепенении все еще наблюдал чуждое ему происшествие. Созерцание этих людей в горящем доме поселяло в нем не враждебность, пожалуй, а какое-то брезгливое сочувствие; было что-то очень понятное ему в этом наивном куске шестнадцатого века. Глаза его раскосились, он не ожидал встретить здесь такую человеческую пустыню, но тут кашлянул Аза невзначай, и Увадьев медленно пошел в сенцы; здесь и догнал его Кир, игумен.

— ...слушай-ка, постой, обожаемый товарищ! — В потемках цынготный рот его произносил не те слова, которые он заготовил впопыхах, за короткую минуту передышки. — Возьми-ка вот, спрячь... Там, в миру, и табачишку надо купить и колечко женке... женки-то ноне, ух, форсливы, а какое у вас жалованьишко. Бери, бери, от чужого добра не обеднеешь! А мы вам завтра и лошадку

срядим, вы и поедете... будто искали, да не нашли, а? — Он совал что-то в бок Увадьеву, не нож, но и не пустую руку, а тот все хмурился и не понимал. — Мы бы и больше дали, да нету! Тут двадцать два, ты посчитай-ка, двадцать два рубля тут...

Грозово наливаясь бешенством, Увадьев неуклюже полез за карамелькой.

— Сам я, отец, не курю, и тебе не советую, а я жую вот конфетки. На, попробуй, сладкие! — Открыв жестянку, он положил один леденец, как копейку, в протянутую руку Кира и снова сунул ее себе в карман. — Пососи вот... А на деньги эти купи себе облигацию крестьянского займа. Процент большой, да и выигрыш попадается. Ну... будь умник!

Поскрипел кирпичик на блоке, и дверь захлопнулась, а Кир все стоял с увадьевским угощением в ладони. Кто-то тряс его за рукав, кто-то заглянул в глаза, но торчали там лишь бессмысленные белки. Леденец, вырезанный сердечком, розово играл в корявой ямке ладони. Потом как бы трещина раздвоила лицо Кира, и обе половинки жестоко затерлись одна о другую: он плакал. Тут же, невдалеке, стоял Филофей и усмешливо почесывал тяжкую свою, увесистую, как деревянный ковш, челюсть.

Беда приблизилась вплотную, и уже не отвратить ее стало от скита... Бывало, забредали повальные моры в округу; деревни лежали в бреду, и ни одно колесо не шумело по дороге: можно было отсидеться за частоколом. Бывали пожары; шли огненные потоки, клокотал дым едкий, а над несжатыми полями топотал в поганом плясе рыжий дед, соломенный огонь; можно было рыть канавы и тем одним ограничить место непотребного его веселия. Напала раз преждевременная весна; деревья распустились до срока, ручьи гремели вчетверо против обычного, бесилась птица в высоте, а монахи в дырявых лодках пускались к бабам в Макариху: двое и погибли в водополье. Тогдашний Иов выписал музыкальный ящик; в час, когда потемки бором идут, вставлял в него Иов хрусткое подобие железного блина, и блин побулькивал разные безгреховные напевы. Впоследствии сменял эту музыку Авенир на холст Ипату Лукиничу из Макарихи: служа в швейцарах у одной питерской баронессы, раз в год наезжал тот домой, выпивал, заводил музыку и благоговейно созер-

цал мелодическое вертенье блина. Набегала туча, и прояснялось небо, и снова моталась жизнь, как нитка на веретено.

— Не быть нам боле,— плача сказал Кир, и братия поняла, что не ему, немощному и уже низверженному, а башнеподобному Филофею правительствовать впредь на Соти.

5

Вырытого в эту встречу глубокого оврага так до самого отъезда гостей и не переходил никто; еду носил им из трапезной за особую приплату скромный и запуганный чем-то инок Тимолай. У него при случае спросил раз Увадьев о Геласии, но тот смутился, покраснел и нехотя сообщил, что на него наложена Филофеем эпитимья — мыть полы по всей обители; дознаться сущности геласиева проступка Увадьеву не удалось. В ожиданье дня, когда начнет действовать перевоз, гости шатались по еще не обсохшему лесу, и Увадьев попрежнему уходил один, а Фаворов не роптал на доставшееся ему одному бремя — сопровождать Сузанну. Увадьев ходил много и не без пользы; в одно из своих странствий он набрел на замечательный песок, великолепный для бетона, а в другой раз, в лесной сторожке, отыскал газету на стене, напомнившую ему с огромной силой тот год, когда он впервые, еще учеником, пришел в революцию. Это оказался тот самый тридцать пятый номер «Русского государства», в котором впервые был напечатан обвинительный акт против лейтенанта Шмидта. Осторожно содрав пожелтевшую бумагу, он потащился с нею на полюбившийся ему обрыв и там застал Геласия; стиснув виски руками, инок щурко глядулся в пространство перед собой; ветерок шевелил путаную, медного цвета гриву. Скуфейка его жалким комочком валялась рядом, на лавке. Внизу, скрежеща и мерцая, шел лед. Уже стемнело, и сквозь суматошные волны облаков, подобно камню, выпущенному из пращи, стремглавая летела луна.

Посдвинув палочкой геласиеву скуфью, Увадьев присел рядом, и оттого, что глаза уже не справлялись с выцветшей газетной печатью, попытался продолжить старый разговор о красоте и правде; но тот отвечал скупо,

хотя и без особой брани. Все же из мелких геласиевых оговорок ему удалось вызнать кое-что, и прежде всего то заманчивое обстоятельство, что за восьмилетнее пребывание в скиту Геласий так и не свыкся с необходимостью душевного самооскопленья. Посреди разговора он поднялся и ушел, а Увадьев, хотя по старинной слабости и считал себя ловцом человеков, не остановил его ни звуком; в дикарской борьбе, которую в эту пору вел сам с собой Геласий, он все равно не смог бы помочь ему ничем.

Он был рад, в сущности, и тому немногому, что разгадал в Геласии. Сюда привела его еще мать, забитая солдатка, привела мальчика на годичный срок, то ли желая снять с себя непосильную обузу, то ли надеясь, что хоть отсюда сын достучится в немилосердную дверь правды. Ее задавило поездом в соседнем уезде, а мальчик так и остался в скиту. Первые годы Ганька батрачил подпаском в окрестных селах, принося в обитель свою скудную долю, и сначала ему нравились и ряска, которую ему тут же сшили по росту, и суровый уклад скита, по которому с него, как со взрослого, требовали труда и молитвы. Подросши, он держал перевоз на реке и, долгими часами выжидая какого-нибудь шального путешественника, вдоволь имел времени поразмыслить над книгой или над судьбой. Книги в большинстве попадались церковные, и во всех с такой страстной ненавистью живописалось о женщине, что ко времени событий на Соти у него только и мыслей было, что об этом сладком и неминуемом ужасе. Воображение мучило его; он видел ее всяко: в бреду сновидений и в беспамятстве голодного тифа, драконом и огненной ямой, пушистым красным облаком и длинной, пронзающей иглой; в ее истинном виде он не знал ее ни разу. Осенью он иногда убегал, неделю бродил где-то в неизвестности, и только холода пригоняли его на теплое место, назад; весной, когда самый воздух бывал заражен протяжным шумом и желанием, он верил, что это грех и воет на бору, встав голой мордой на восток...

Появление Сузанны не походило на то, как описывалось это в темных, источенных жуками патериках: не в огне, не в облаке, не в обольстительной наготе... а скрипучую телегу Пантелея трудно было бы принять и пьяному за апокалиптическую колесницу!.. но она явилась ночью, в таинственный час весны, когда каждый сучок в лесу

коробило смутительным ветром пробуждения. Рыбу бьют острогой, когда она спит; ад засылал за ним своих гонцов в виде, который не будил подозрений. Ночи Геласия стали тревожны; оранжевый пар выходил из стены и обволакивал ему руки; он пил воду, и она вызывала в нем ядовитую отрыжку; он схватил снега в горсть, и самый снег был ему оранжев. Стало так, точно река неслась вдесятеро быстрее, дразня своими хмелекипящими водоворотами, и один, самый близкий, был стремительнее остальных...

Геласий пытался говорить с Тимолаем, с которым связывала не столько дружба, сколько одинаковая судьба; они вместе когда-то пастушили на Лопском погосте.

— ...видел, а? — и Тимолай сразу понял, что речь о приезжей. — Руки-то видел ее? Легкие, поди, пуха легше...

— Персты тонкостны, действенны... — оторопело согласился Тимолай, застигнутый врасплох.

— А губы-то черные... как хлеб черные, видал ты?

Тимолай недоверчиво глядел на помраченного в разуме.

— Что ты... они не бывают черные! — И бежал, страшась последнего, что имел сказать ему Геласий.

Через сутки Геласий пошел к Филофею, который был его духовником. Тот чинил замок и давал распоряжения Вассиану; глаза его уже нуждались в помощи стекол, но очков в уездном городке не нашлось, оттуда выслали пенсне со шнурочком; было забавно Геласию видеть стеклянные крылышки на его квадратном носу.

— ...с Красильникова за сапоги получено? — допрашивал Филофей.

— Вот Геласий завтра комиссара повезет, кстати и получит.

— А с Шибалкина за колоду?

— Половину уплатил, а на другую мясца сулил прислать на праздниках.

— Впредь деньгами бери, без баловства. — Он внушительно посмотрел на Геласия, с темным лицом стоявшего на пороге. — Нажрутся мяса — цепями их потом не удержишь. Нам чиниться надо, изветшал корабль, а ноне и на гроб даром леса не дадут. Стыдно живем: крыши текут, в иконостасе птицы гнездятся: стою надысь, — на нос капнуло. С часовни ничего не присылали?

— Вот, всё тут... — И казначей высыпал перед ним

детскую горстку меди. — Гривенничек царской чеканки попался. Ноне и бога-то норовят надуть!

— Глядеть надо! — зыкнул Филофей и с грозным лицом вклепывал в замок новый стерженек для ключа. Пересчитав даяния верных, он прогнал казначея, тогда на вассианово место неробко уселся Геласий. — Навестить зашел? — поднял он голос и, мельком взглянув на высокий, весь в прыщах лоб Геласия, должно быть уловил сущность геласиева смущенья.— Где это тебе дьявол рожу-то заплевал? Ишь, в небе звезд мене, чем на тебе этой дряни...

— Жажда палит, — сипло ответствовал тот.

— Жажда... — И крылышки отпали от его вздувшегося носа. — Человек, он земляного составу. Потому никаких морей нехватит напоить землю, когда жаждет она. — И опустил глаза, радуясь аскетической красоте образа.

— Каб не жаждала, не рожала бы столько! — тряхнул головой инок.

Филофей омраченно усмехнулся и, как бы приготовляясь к врачеванию души, вытер о передник руки, рыжие от керосина и ржавчины.

— Небось, думаешь, — осторожно начал он, упираясь локтем куда-то в пах себе, — что стар я, волосами зарос? А и доселе, быват, распалюсь — хоть в землю себя зарывай для остуженья. — Он глубоко захлебнул воздух, и в груди его скрипнуло что-то. — А потом прочту в книге, как все это уже бывало и как прошло... и отойдет!

И впрямь, еще не истаял в его ушах рассыпчатый смех трактирщицы Аграфены Петровны, муж которой заказал однажды кузнецу рессоры к таратайке, а получил вдобавок и пискуна. В свое время он вдосталь нахлебался жизни и теперь с неуклюжим жаром топтал радость именно за то, что она не обманула, да и не насытила его. Голос его крепчал, взвивался в нем бич, и слова громыхали, как звенья якорной цепи; целые полчища одичалых Антониев Великих толпились в обширной его груди: добровольным истреблением воли призывал он бороть смерть, а Геласий видел распластанного на траве жеребеночка и его с тоской откинутую морду. Сцена эта навсегда отпечатлелась в сердце Геласия. Пастушонком он проходил мимо кузничного двора и случайно видел, как жеребенка приспособляли на службу человеку. Связанный по ногам, с губой,

до крови вкрученной в лещетку, конек лежал смирно, кося глазами и сосредоточась на ожидании казни, а Федот уже заносил над ним равнодушную руку коновала. Игристого этого конька больше всех любил в своем стаде Ганька, — с того и возненавидел кузнеца.

Вдруг с утроенной силой пробудилась детская ненависть, и в самом грозном месте поученья, когда сверкало филофеево слово, как топор, вскинутый над шеей нечестивца, принялся Геласий отстукивать сапогом песенку о ножку стола.

— ...не стучи, не скалься!

— Штучка одна меня смешит, — совсем неробко признался тот и подмигнул, останавливая в разбеге гремучий филофеев поток. — Вспомнилося вот, как Грушка в кузню к тебе бегала... там ребята в стене паклю повыдергали и засматривали в дырочку. Мы ее, Грушку, кулебячкой прозвали... так и смеялись: во, опять кузнец кулебячку ест!

Духовник сидел красный, и можно было ждать, что вот сейчас что-то расплавится в нем и, прожигая дерево, чадно потечет в подполье. Точно стремясь оторваться от ладони, шевелились на столе хваткие пальцы коновала; вдруг они окрутились вкруг тяжелого рашпиля, и тут должен был произойти еще не слыханный в летописи скита эпизод, но Геласий во-время поднялся и пошел к двери, беззащитной своей спиной смиряя филофееву ярость. Еще не пели в нем птицы, и густей, чем весенний туман, облекал его страх. Ничто не рассеивало в нем уверенности, что приезжая гостья и есть то орудие, которым ад положил продырявить его целомудрие; как ни доброжелательно относился Увадьев к монашку, он расхохотался бы тогда, у обрыва, на его признанье... Уйдя, Геласий до сумерек бродил в лесу, следя из засады за дверью сузанниной кельи. К вечеру напала на него лихорадка.

В стенах этой кельи прятались целые поколенья клопов, простоватые предки которых питались, наверно, еще блаженным Спиридоном; предвидя прелести деревенского житья, Сузанна захватила с собой гамак. Полулежа в нем с книжкой, она рассеянно глядела на угольный тлен в печурке, распространявший сухое, жесткое тепло. Приятная немота вливалась в ноги, вещи распахнулись в каких-то неожиданных и неуловимых смыслах, зримый мир

переставал существовать, а взамен явилось другое. Застылая река, из-за сугробов летят пронзительные стрелы мороза, и будто Савка поит коней у дымящейся проруби, приплясывая от стужи, а за спиной его побрякивает обрезанная винтовка... Упавшая книга не разбудила ее; она проснулась, когда иной холод, не условный холод сна, засочился к ней из двери. В потемках она не узнала воспаленных и просительных глаз Геласия; страшно было не то, что чудовище вошло к ней, а те минуты, в течение которых оно обнюхивало ее, спящую.

— Лежи, лежи!.. — и шопот странным образом сочетался с въедливым запахом лука и кожи. — Это я, Геласий... вот я пришел. — Стыд душил его. — Давай, давай... как это делается?.. давай!..

Келья сразу стала вдесятеро теснее; напирали самые стены. Оранжевое тепло печки, только теперь оправданное в воображении Геласия, выделяло из темноты одну ее обнаженную коленку. Он не шатался, но мог упасть в любую минуту. Взгляду его представало то неспелое, вяжущего вкуса яблоко, к которому потянулась однажды и неумелая рука Адама. Оно дразнило его сны, внушая право именно на такое ночное вторженье, оно гонялось за ним по пятам, и даже в грудах вассиановой репы, которую он накануне перебирал от прели, лукаво и множественно мнилось ему то же самое естество.

— Вымойся сперва...— гадливо произнесла она и, вскочив, быстро подтянула спустившийся чулок.

Он не уходил, потому что она не гнала его смехом; еще он не уходил потому, что трехминутное пребывание здесь не утолило его трехдневного жара. Ошеломительней всего было, почему грех отказывается от его безоговорочной сдачи?.. Он стоял с опущенными руками, и пятна стыда на его лице были намалеваны как бы красной сажей. Померкшие его глаза остановились на ивняковой ветке в крынке; глянцевитая зелень несмело тянулась к свету.

— Что это?

— Верба.

Он повторил:

— ...верба. Зачем?

— Так, для красоты.

Он подозрительно коснулся ветки, не разумея в ней чуда, ради которого стоило бы нести ее сюда.

— Какая ж в ней... краса?

— Весна... начинает жить.

— ...жить, — повторил он. Тут за толстой стеной глухо, точно в шапку, закашлял Аза, и Геласий, как бы пробуждаясь, провел ладонью по лицу.

Внешне ничем не отразилось на нем случившееся преображенье. Утром он вместе с Тимолаем смолил лодку, на которой завтра должен был отвезти Увадьева, был скромней обычного, но зато сон и прожорливость напали на него. Остаток дня он провалялся у себя, а филофеева эпитимья так и осталась неисполненной... На мутной, вихрящейся воде качалась лодка. Геласий прыгнул в нее первым и ждал, прилаживая руки к веслам. Старую, неустойчивую скорлупу относило от берега, Увадьеву пришлось сделать несколько шагов по воде. Тотчас что-то хрустнуло в борту, булькнуло под днищем, Геласий оттолкнулся веслом от берега, покидаемого навсегда, и вот течением рвануло лодку.

— Заплеснет аль подтекать станет — вычерпывай. Вон и баночка тебе для упражненья! — кивнул Геласий на деревянную бадейку, всячески сторонясь упорного увадьевского взгляда.

Едва вышли из заводи, сразу все переменилось вокруг; несмотря на геласиевы усилья, лодка стояла ровно и смирно, точно повисшая на якорях, а по сторонам закружилась бешеная вода, увлекая в глубину грязные, источенные льдинки. Зато стремглав неслись берега, и Увадьев еще не успел рассмотреть толком серую цаплю близ куста, в столбняке застывшую на полувзлете, как уже увидел ястреба. Сидя на кочке, весь на ветру, он надменно и лениво чистил крыло, раскинутое во весь его вольный мах. Тогда, бросив весло, Геласий замахал на него шапкой, но тот не улетал, словно верил, что в этот день его нельзя истребить целиком.

— Греби, греби, опрокинешь еще! — недовольно пробурчал Увадьев.

— А ты вычерпывай, вычерпывай...

Увадьеву показалось, что Геласий улыбается, а вместе с ним и ястреб; он подумал и взялся за неминучую бадейку. Лодка выходила на середину реки, и хотя Геласий хитрил, переправляясь наискосок, все же проигрывал в единоборстве. Мало-помалу пот начал проступать на его

рыжих висках, и тогда Увадьев решился продолжить незаконченный разговор.

— Ну, так как же, парень, а?

— Да все так же... ура, советская власть, — небрежно кинул тот. — Вычерпывай, твое дело невелико!

День был встрепанный, резвый; в облачных проемах густилась синь, и чем гуще она становилась, тем величественней спокойная мощь реки.

— Вот ты в прошлый раз выразил, что на свете, дескать, только жулики да дураки... А известно ли тебе, что есть еще другие люди, которые справедливости ищут и кровь за нее отдают?

— Это которы хлеб у мужиков отбирали? — почти равнодушно переспросил Геласий, но сбился с весла, и брызги густо хлестнули в Увадьева. — Один из ваших и досель в болотце гниет, куда его Березятов засунул. Не слыхал про Березятова? Очень *такой* человек был, солдат. Справедливость-те от красоты идет, а красота из тишины рождается, а вы ее ломом, тишину-те, карежите...

Покачивая головой, Увадьев зачерпнул воды в ладонь и пытался сжать в руке эту частицу стихии, которую предстояло покорять.

— Не твои слова, Геласий. Твои проще...

— Красота — моё слово! — вскинулся тот.

— Чудаковое слово, красота!.. Вот мы встанем на этом месте, на берегу, где старики сидят... видишь? Будем строить большой завод, каких праведники твои и в видениях не имели. На том заводе станем мы делать целлюлозу из простой ели, которая вот она, пропасть, без дела стоит. Из неё станут люди бумагу делать — для науки, пороха — чтоб отбиваться от врагов, и многое другое на потребу живым, а между прочим и шелк. К тому времени ты сбежишь из своей червоточины, потому что еще успеешь сгнить, не торопись!.. и станешь ты вольный, трудовой гражданин, на работу поступишь, зазнобину себе заведешь первый сорт... и будет она, Шура, скажем, или Аня, мой шелк на себе носить. И отсюда поведется красота!

В машинных движениях Геласия появилась какая-то презрительность; все чаще соскальзывало весло, и если бы не кожанка, до берега Увадьев добрался бы совсем мокрым.

— Это все так, это для прикрытия сраму, а душа...

душу куда определишь? Она — что гвоздь, полежит без дела — заржавеет!

Увадьев перестал отчерпывать воду; в этот миг он отвечал не одному только Геласию:

— Душа, еще одно чудно́е слово. Видишь ли, я знаю ситец, хлеб, бумагу, мыло... я делал их, или ел, или держал в руках... я знаю их на цвет и на ощупь. Видишь ли, я не знаю, что такое душа. Из чего это делают?.. где это продают?

— Как же я рыбине объясню, зачем мне ноги дадены! Она и без ног свою малявку сыщет...

До берега оставалось все еще далеко, а спор близился к концу: обоих начинала сердить эта обоюдная несговорчивость.

— ...а ты и с ногами не отыщешь. Восемь лет в дырке сидишь, а что ты отыскал, покажи! Молодости твоей мне жалко.

— Обречен я на младость вечную...

— Вот именно, обречен... А какая-то бабеночка ждет тебя в свете; может, и плачет, что запаздываешь.

Весло стало злей зарываться в воду, Геласий терял власть над собой:

— ...с чего ты мне все про бабеночку твердишь? Сестренку, что ль, заблудящую имеешь, приладить ко мне хочешь? — закричал он сквозь сжатые зубы и вдруг, прежде чем Увадьев успел остановить его, вскочил с места. Скинув шапку, еле удерживая равновесие, он низко и порывисто кланялся своему пассажиру: — Прости... за брань и за шумность мою прости. Злой я, злой... злой...

Не насытясь одним поклоном, он кланялся все размашистей, пружинно сгибаясь в пояснице и нарочно раскачивая лодку. Вода захлеснула через борт, лодка неслась по самой средине реки, а Увадьев лишь щурился на одержимого и, может быть, любовался на него украдкой. Проскочив сажен полтораста, лодка стала поперек теченья; и в эту крайнюю минуту Геласий ловко подхватил весла.

— Плаваешь, видно, хорошо, парень, — через силу усмехнулся Увадьев, когда уже подходили к берегу. — Выйдет из тебя прок, но долго тебе гореть, пока твой прок выплавится. И когда невтерпеж тебе станет от огня и воя твоего, приходи .. днем и ночью, всегда приходи. Ну, гуляй, пока не встренемся! — сказал он на прощанье.

— В пекле, может, и встренемся! — откликнулся Геласий, вытягивая лодку на берег.

...Там на бревнах сидели макарихинские старики, подсушивая ветерком слежавшиеся за зиму бороды.

— Эх, так и не черпнула! — с сожалением зевнул один, и зевок его затянулся настолько, что сосед успел свернуть цыгарку.— Нет, что ни говори, а жисть наша всетаки ску-ушная...

6

С того момента, как Увадьев вступил на берег, и был кинут вызов Соти, а вместе с ней и всему старинному обычаю, в русле которого она текла. Он шел, и, кажется, самая земля под ним была ему враждебна. Прежде всего он встретил косого мальчишку; примостясь на завалинке, мазал тот неопределенной мазью огромные отцовские сапоги.

— Здорово, гражданин, — пошутил Увадьев. — Как дела?

— Вот, нефта плохая стала, — куда-то в воздух произнес мальчишка. — Ране не в пример маслянистей была...

— А ты откуда помнишь, шкет, какая ране была? Тебя, поди, и в проекте еще не было!

— Ходи, ходи мимо! — проворчал мальчишка, гоня взглядом, как нищего.

Рабочие ютились в дырявых сараях в дальнем горелом углу деревни, и убогим очагам не под силу было бороться с весенними холодами. Такие же лапотники, они жаловались на здешних мужиков, которые, вопреки устоявшейся славе сотинского гостеприимства, драли и за молоко и за угол, а вначале приняли чуть не в колья. Пока не обсохла топкая апрельская хлябь, работы велись замедленно; ветку успели провести всего на три километра из одиннадцати, назначенных по плану; грунтовая дорога двигалась не быстрей. Не обходилось и без российских приключений; в благовещенье ходили молодые рабочие в Шоноху и угощались в складчину у прославленных тамошних шинкарей, угощались до ночи, а утром уронили с насыпи подсобный паровичок, подвозивший материалы. Когда добрался туда Увадьев, человек тридцать, стоя по щиколотку в ростепельной жиже, вытягивали на канатах злосчастную машину, но той уже

полюбилась покойная сотинская грязь. Тогда люди усердно материли ее, как бы стараясь пристыдить, а потом долго, зябкими на ветру голосами пели вековечную «Дубинушку»; пели уже полтора суток, — достаточный срок, чтоб убаюкать и не такое.

Наскочив вихрем, Увадьев сбирался разругать производителя работ, но тот лежал в Шонохе с воспалением легких, а десятник увиливал и всех святых призывал в свидетели, что пьян не был; и действительно, до той степени, когда человек лежит и ворон ему глаза клюет, а тот не слышит, десятник в благовещенье не доходил; паровичок же скинулся якобы сам, чему содействовали весенние воды. Раскостерив десятника до изнеможения, Увадьев помчался на другие работы и везде встречал непорядки: цемент складывали под открытым небом, моторы везли неприкрытыми от непогоды; поверх стекла грузили ящики с гвоздями. Агитнув где следует, а порою и пригрозив, Увадьев воротился к вечеру в Макариху усталый и мрачный и, засев в чайной, ждал Лукинича, председателя, который все еще не возвращался.

По заслеженному, щербатому полу ходил петух в чаянье какого-нибудь объедка. Косясь на него, трое строительных рабочих раскупоривали консервную коробку, а на них поглядывал мужик с сухой ногой, сидя просто так; вытянув сухую ногу, как шлагбаум, он играл прутиком с котенком. Пушистый этот зверек принадлежал, по заключению Увадьева, девочке, которая тут же деловито протирала большой белый чайник с цветами, а отец ее, совершенный жулик по лицу, щелкал на счетах за покривившейся конторкой; внизу были видны его опорки, вскинутые на босу ногу. Когда петух приближался, нога пыталась шибануть его, но тот был изворотливей. Люди, проходя через трактир, месили два разнородных запаха — махорки и кислых щей, но те не смешивались никак. Соблазнясь ароматом, Увадьев съел тарелку капустного варева и сбирался предаться чаю, — тут-то и появился Лукинич...

Наступили сумерки; трактирную посуду выпукло и багрово раскрасил закат. Уклоняясь от света, Лукинич сел в тень, но Увадьев рассмотрел его и здесь: был то не крупный, неопределенного возраста мужик, с грустным и плоским, как у полевого сверчка, лицом; одетый

в старую военную шинель с отстегнутым хлястиком, снабженный доброкачественными усами; мужик показался Увадьеву моложавым. Молодила его как раз шинель.

— Задержался, рабеночка перекладал, — виновато сообщил Лукинич. — Мать-то у него закопали два месяца тому, так вот и живем — я да дите да еще дед, родитель мой, обитает. Может, видали его на лавочке, на берегу?.. который на евангелиста-т смахивает? Он и есть Лука, такая оказия! — Лицо его при этом стало еще грустнее, но Увадьеву почему-то все это нравилось.— Чего ж вы так, без чаю и сидите? Эй, Серпион Петрович, подкинь нам малость для подкрепления... выпиваете? — деловито осведомился он.— А то... для первого знакомства.

— Нет, уж я лучше чайку, — решил воздержаться Увадьев, хоть и чувствовал нехорошую влажность в сапогах.

— А то пейте: где власть, там и сласть, надо пользоваться! — Не боясь занозить ладони, председатель прилежно смахивал крошки со стола, и петух, уже отправлявшийся на насест, вернулся с полдороги. — А то, если конфузу боитесь, домой поедем. У меня пьян-мелодико есть, музыка такая, от монахов откупил, приятно гремит... Скукотно живем, знаете! — Болтая безумолку, он вместе с тем прощупывал гостя и раз даже, как бы ненароком, положил свою ладонь поверх увадьевской; прикосновенье председателя было холодное и влажное, точно земляной глыбы. — А то и тут, запрем как бы на переучет товаров и гульнем, а? Эй, Серпиоша, ты нам цейлонского, да погуще завари!

— Цейлонский карасином залили, — заметил Серпион, изображая оживленье.

— Что ж, чаек после щец хорошо, — подделываясь под равнодушие, начал Увадьев и даже зевнул для вящей конспирации.— Как у вас тут, к свету знания-то тянутся?

Председатель разливал чай и сделал вид, что не заметил маневра.

— Тянулись бы, да некуда. Прошлу осень погорельцы пришли с Енги. С малыми детьми, а дело осеннее... ну, и разместили в школе. А они, знаете, с горя-то самогон почали варить... а школа-то древяная, а огонь древо любит. Ну, знаете, и полыхнуло! — Ему неприятен был, видимо, этот разговор. — Ты, Серпион, хоть бы в баретки какие

обулся... товарищ-то не за налогом приехал. Азият ты, Серпиоша! — Когда он снова поднял глаза, они были ясны, прозрачны и ласковы. — Вы как любите, погуще, в накладку?

— Мне... погуще, — хмурясь, промычал Увадьев. Лукинич же, напротив, веселился:

— Школа подгадила... да ведь и у вас не слаще: паровичок-то все лежит! Ничего не поделаешь, весна, ее не оштрафуешь.

— Работу какую-нибудь ведете... или как? — мрачнел Увадьев.

— Какая же работа, вон наша вся работа! — Он кивнул за окно, где рядком, в тесноте и под сенью двух столетних ветел ютились Центроспирт, исполком и сберкасса. Увадьев тяжело и строго поглядел на председателя, но тот бесстрашно выдержал его взгляд и даже нашел силы усы покрутить. — В скиту, извиняюсь, устроились? А мы вас с той стороны ждали!

— Да, мы на Нерчемскую фабрику заезжали... дело было. Давно в председателях?

— На Парижскую Коммуну два года было. Я и ране во властях ходил, знаете: швейцаром у барыни служил. Между прочим, ничего, но трудная работа. Стоишь, как кочан в одежках, да все крюка ищешь... куда новую шубу повесить. По двести человек бывало! А потом, как барыню покончили, так я и поехал сюда, строить новую жисть. Вы пейте чаек-то! С лимончиком бы, да не растут у мужиков лимончики, а то с лимончиком бы хорошо...

Уже минуты три барабанил Увадьев по столу, еле сдерживаясь, но вдруг качнуло его вперед и гневом застлало сознанье.

— Хороший бы из тебя черносотенец вышел, товарищ!

— ...а вы не доводите нас до этого, — так же, залпом, выпалил тот, но тотчас спохватился; видно было, что такие оговорки случались у него не часто.

И тогда, как бы желая загладить неудобную для первой встречи шероховатость, кинуло его на нескончаемую болтовню, временами походившую и на доносную сплетню. Тут выяснилось, что к Савину Гаврилу, лучшему в волости бедняку, ходит в праздники брат, сторож из лесничества; они пьют сообща, после чего надевают старые картузы и идут драться на улицу и дерутся до клочьев, после

чего, испив водицы, расходятся миролюбиво. С истории о загубленных рубахах перескочил он на Лышева Петьку, секретаря местной взаимопомощи, который набрал из кооперации товаров на трешницу, а денег не платит, ссылаясь на бедность; на увещания должностного лица, чтоб занял хоть у приятеля, отвечал злодей превесело, что ежели и даст ему под пьяную руку знакомец, то и сам не доплатит столько же. И еще рассказал он про молодого Жеребякина, который, чтоб в Красную Армию не итти, все искал заболеть дурной болезнью, для чего ездил в город и возвратился с удовольствием. Лукинич не щадил языка, и от прежнего казенного благополучия не осталось и тени, а Увадьев, когда наскучила ему эта словесная кутерьма, обнаружившая лишь великое душевное беспокойство макарихинского председателя, просто раскрыл окно и стал глядеть на улицу.

День огненно плавился на горизонте; слепительный металл его стекал вниз, чтоб завтра же вскинуться в новые, еще не бывалые на Соти формы. «Эва, крови-то, ровно из свиньи текет...» — от глупости или тоски сказал про закат сухоногий мужик, шумно покидая чайную; пугало его преждевременное заклание сотинского дня. Окраска неба менялась; насколько хватало глаза, везде по глубокой предночной синеве разбросались крутые облачные хлопья; теперь небо походило расцветкой на казанское мыло. Вдруг Увадьев посвистал себе под нос и высунулся в окно.

По улице шли трое таких, что никак нельзя было оставить их без внимания. Огромный, молодцеватый детина, в пиджаке, в сплавных сапогах, шагал справа; изредка он трогал все один и тот же клапан гармони и чутко прислушивался к звуку; ремень многорядки великолепно облегал его надменную и сильную шею. Слева мелко и часто ковылял на деревянных обрубках тоже молодой еще парень в кожаной куртке, с черным не без удали лицом; он не поспевал за своим долгоногим приятелем, злился, пыхтел, усердно преодолевая деревенскую грязь, уже тронутую заморозком.

— Мокроносов Егор да невалид Василий женихаться пошли... — сказал в самое ухо Увадьева председатель и немедленно разъяснил, что когда-то, тотчас по возвращении из армии, дыбил Егор всю округу на новый лад,

был с отцом — одним из столпов сотинской знати — на ножах, мутил молодежь и крошил древний обычай, пока не завязли в липучем людском равнодушии его неутомимые лемеха. — У нас стареют скоро: еще вчерась дитем было, а назавтра, глядь, бородкой обросло...— шептал Лукинич Увадьеву, но тот совсем не слушал, привлеченный другим, не менее знаменательным обстоятельством.

Посреди веселого ряда шел Геласий, хозяин гульбы, угощавший скороспелых приятелей на скитской, видимо, счет. Скуфейки на нем не было, и медные космы его приобрели, наконец, себе желанную свободу. Наклоняясь вперед, весь сосредоточась на внутреннем своем огне, он шел вразвалку, как ходили когда-то кандальники, и, подобно каторжному ядру, влеклась за ним его короткая тень; через каждые три шага он останавливался и строго глядел на нее, но та не отставала. Перейдя мостик, Мокроносов широко размахнул гармонь и разбрызгал звуки по тишине. Тотчас, задыхаясь и стеня, инвалид закричал беспутную песню, и Вассиан, напрасно дожидаясь Геласия в тот вечер, наверно, слышал ее со своего мыска... В небе легкий, как лодочка в разливе, покачивался молодой месяц, изливая ледяной, всепроникающий свет.

Потирая руки от холода, Увадьев захлопнул окно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Ветры дуют с моря, ветров много, дуют сообща. Рожденные на океане, баюканные в ледяных колыбелях, они в поисках иного, теплого раздолья нестройными толпами вторгаются на материк. Лгали птицы, гостьи юга: в лесах мрак да тишь, в тундрах ровень да болото вересом поросли, на вересине комар сидит да лапой пузо гладит... Закутанные в метели, они поют тогда унывные песни о покинутой и милой родине, и вот на всей великой низменности, слегка холмистой и покатой к морю, останавливаются реки, наваливаются снежные небеса, а земля лежит бездыханна, одета в белые лохмотья зимы. К маю

снова налетают обманщицы, дружно верещат ручьи, бегут крикливые ветры юга, а снег, разделенный поровну между Двиной да Волгой, шумливо расползается по своим отечествам-морям. Тут его заодно, на радостях, грузят рубленым лесом, грузят шпальником, коротьем, пиловником... поверх плотов садятся веселые, горластые ребята, и освобожденные воды тащат, не чуя тяжести, не умещаясь в берегах.

Они едут и смотрят: по склонам холмов ельники, а по холмам сосна; пески да глина, да супеси. Дует моряна с севера, зеленя лезут туго, а жители все охотники да рыбаки. Лесные еще смолу курят, приречные скотинкой живут, а остатняя треть разбредается с осени по отхожим промыслам. Города здесь по пальцам перечесть, оттого вой в городах и безработица. Оттого повелось от века: чуть снег — артелями расходятся по лесам, курятся черные избушки в глуши, с гулким скрежетом валится промерзлый лес, а бойкие крестьянские клячонки стаскивают его на берег первобытным волоком, без подсанков, за ноздрю. А в самых дебрях, куда никто не ходит и ничего не ищет, бродит тленье, гибнет лес на корню, болотится, засорен перестоем да валежником, откуда всякая цветная гниль, в жару — отлупа, в холод — морозобоина и другая стихийная порча добра. Летом, едва теплынь, на тех же местах, где гуляли ледовитые ветры, зачинается великая гарь. Костерка не притушит охотник, сунет любознательности ради спичку в мох мимохожий озорник, и тогда на сотни верст страшно полыхает дебрь; ветер чешет ее огненные колтуны, а солнце меркнет, как яйцо, забытое в костре. В те месяцы все там, хлеб и вода, пахнет дымом; в отускневшем зное расслабленно звенит комар, и самый дым для горожан не более чем признак пришествия весны. В лесничьих сторожках одичалые, приставленные к лесу в дядьки, сидят бородачи; они спят и видят неописуемые сны, они страдают чудовищными флюсами и пьют втихомолку, зарастая волосом и равнодушные ко всему.

Именно пропадающее изобилье лесов и людей здешних, не вовлеченных никак в хозяйственный кругооборот страны, и надоумило Сергея Потемкина заказать знающим людям эскизный проект небольшого бумажного предприятия. Ни существовавшая в соседней губернии на

речушке Нерчьме бумажная фабрика Фаворовых, ни четыре изветшалых лесопилки, ни воры лесные не могли истратить полностью годичный отпуск лесов. Строенная в незапамятные времена Павла и с его царского благословения, оборудованная изношенными машинами фабричка с натугой обслуживала лишь местные потребности; из лесопилок всегда работала какая-нибудь одна, остальные чудесно бездействовали, а воры крали по бревнышку, имея целью скопить за зиму сруб на отделенного сына. Вывозился к тому же крупный лес, а мелочь — дурняк да вершинник, все, что тоньше законных четырех вершков, — оставалась на месте. Падаль заражала здоровый лес, плодился жучок, и одним лишь дятлам не под силу было справиться с сокрытым недугом: дятлы жирели, но и жучок не убывал. Потемкин волновался. Потемкин торопил с предварительным обследованием, ночей не спал Потемкин, смущаемый гибнущими богатствами края; сам уроженец Соленги, юность до солдатчины проработавший на сплаве, а потом бумажником, он по опыту знал о возможностях своей родины. Оттого в беседе с приятелем он всегда заводил разговор все о том же.

— Гляди, миляга... — И тащил к карте, которая, как нарядный ковер, украшала в молодости своей стены губернаторского кабинета. — Гляди и вникай. Это все лес, прорва лесу... стоит, гниет, сохнет. В нем водятся грибы, медведи, пустынники, черти, все — кроме разума и воли. У меня ежегодно тысяч двадцать десятин сгорает, а в засухи... — Он именно хвастался размерами своей беды, определявшей размах его богатства. — Смекай: избыток рабсилы, хозяйства нетрудоемкие... кто в лесорубы не уйдет, тот штаны жгет на печи да с голоду пухнет. Тьма, ведь они до сих пор керосин от кашля пьют... керосин внутрь, понимаешь? А тут можно жизнь вдохнуть, кабы деньги. Жизнь продается за деньги...

— Ну и действуй... вывози своих чертей, продавай! — смеялся приятель.

— Купи, я тебе целые эшелоны наловлю... лесных, водяных, запечных! Процентов двадцать за наличный расчет, а остальное шестимесячными векселями, а? — и горячее человеческое тепло исходило от него.

— Ты энтузиаст, ты известный энтузиаст, — закуривая, усмехался приятель и знал наперед, что денег

Потемкину взять неоткуда.— Кстати, у тебя детишек, никак, прибавилось?.. девочка?..

— Следи, говорю! — И он с новым ожесточением тыкал в то место карты, где Соть встречает, наконец, свою небуйную сестрицу. Он тыкал сюда ежедневно, мутное пятно образовалось на Балуни, но покуда, наклеенная на добротном холсте, карта выдерживала напор хозяина. — Сюда, гляди, направляется вся древесина с Тыньмы, с Соленги, с Шимолы с притоками, с Уртыкая... много леса, мильон кубов в год... э, куда больше! В этом месте мы ее задержим, обработаем... здесь его обсосут сорок тысяч мужиков, а там...

— Суетлив ты, Сергей, и карту вконец испакостил. Из пятна-то хоть суп вари! Ты его нашатырным спиртом попробуй, — всемерно сопротивлялся приятель. Тощий живот Потемкина перепоясан был ремешком, а пряжкой служила никелированная бабочка; от безустанного порханья этой бабочки пестрило у приятеля в глазах. — Рублей, поди, пятнадцать карта стоит...

— Ты... всерьез слушать можешь? — не в шутку сердился Потемкин.

— Чертила, дороги-то ведь нету!

— Тут только ветку... одиннадцать верст. На ветку-то и у меня хватит.

— А деньги?

— Ты дашь, ты богатый.

— Но я же не работаю больше в банке. Меня в резину перекинули.

— А в банке кто?

— В банке Жеглов пока.

Потемкин хмурился и глядел в окно, где по обледенелым мосткам скользил на одном коньке мальчишка; в посинелых от стужи пальцах он держал кнутик, которым воодушевленно подстегивал самого себя.

— Жеглов?.. он в ревсовете семнадцатой не был? Я знал одного Жеглова... хотя тот, кажется, не Жеглов, а Жигалов... такая жалость. — Вдруг он махнул рукой и виновато улыбнулся. — Э, все равно, следи... С Тентелевки мы везем глинозем, а соду из Перми; вода же — фрахт дармовой! Серный колчедан, ты следи за моим пальцем, с Кыштыма... там как раз новый способ пробуют. Медь от серы отделяют, а получаются... как его...—

Торопливо приподняв за лицо гипсового Маркса, он вытащил из-под него толстую папку и бешено залистал страницы. — Вот, нашел: флотационные хвосты получаются...

— Хвосты, — понуро повторил приятель.

— Я, может, и путаю, но, по-моему, именно так: флотационные. Извести у меня полны карманы, хлорировать будем сами. Купи, я тебя засыплю известью!.. А еще тут осенью геолог один наехал; целое лето копался у меня на Пысле, а потом я его вот здесь час целый чаем отпаивал...

— Озяб, что ли?

— ...каолины отыскал, почище габаркульских! — Он вспомнил, что к каолиновому кладу нет ни дороги пока, ни тропки и в изнеможении присел на край стола.

Приятель с чувством вдавил окурок в переполненную пепельницу.

— Слушай, друг, я в резине, в резине сижу, понимаешь? Я калоши делаю, шины, кишки резиновые... Могу изрядную соску, не хуже довоенной, дивчине твоей подарить: в десять лет не изгрызет, а?

...Так, бесплодно мытаря друзей, просиживая ночи с знакомым инженером над проспектами заграничных фирм, мечтая о пролетарском островке среди великого крестьянского океана, он первоначально имел в виду нечто вроде Нерчемской фабрички для высоких писчих и печатных бумаг, способных выдержать любые фрахты. Постепенно мечтание его пухло, множилось и уже громоздкие принимало очертания. Лесные массивы простирались бесконечно и столь разумно были изветвлены реками, точно природа провидела их будущее назначенье. Железнодорожная ветка Вологда — Мычуг позволяла бесперебойно снабжать бумагой потребляющие центры, а в случае прокладки намеченной по пятилетке магистрали Соленга — Кемь значение потемкинского предприятия возрастало благодаря возможности использовать и внешний рынок. В месте слияния упомянутых рек громоздился крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат, окруженный достойными его лесозаводами; напуганный собственной мечтою, Потемкин стал вдруг сдержан и молчалив... Строительство идет полным ходом. Пять тысяч строителей в три смены заканчивают возведение корпусов. На океанских пароходах везут варочные котлы,

каждый вместительнее его исполкомского кабинета, шлют оборудование лесных бирж, еще не виданное в Европе; турбогенераторы и дефибреры едут из Германии. Медлительно и лениво стальные чудища расползаются по узорному плиточному полу и тотчас же их впрягают в широкие ременные вожжи. Они еще спят, но однажды с ревом и грохотом пробуждаются к работе, и в этот ответственный день Потемкин ведет неведомого Жеглова хотя бы на водонасосную станцию! Все волнуются, но не показывают виду. Выгнув толстые чугунные шеи, в которых бешено мчится теперь обезумевшая Соть, пыхтят и взвизгивают центробежные насосы, и Потемкина не раздражают нарисованные кем-то на шее чудовища плутоватые глаза. Корпусов уже не семь, как мечталось вначале, а вдвое, и в каждом бьет в лицо масляный зной, дуют зловещие электрические ветерки. В разлинованных улицах заводского городка цветут акации...

— Смотри, смотри, — дрожким шопотом говорит Потемкин, — познать класс можно из книг, но почувствовать — только тут, у машин, когда они в работе...

Край благоденствует, рабочий вопрос улажен, лозунги о социализме сходят в жизнь со своих уличных полотнищ. При электрическом свете мужики коллективно едят многокалорийный обед и, благодарно любуясь на портрет комбината, слушают радиомузыку. Жизнь им легка и приятна, как новорожденному мир, но Потемкин и тогда не предается заслуженному покою. Потемкин не спит; он выпрямляет и углубляет древние русла рек, вчетверо увеличивает их грузоподъемность, заводит образцовое лесное хозяйство. Потемкин объединяет три губернии вокруг своего индустриального детища. Потемкин открывает бумажный техникум и произносит знаменитую впоследствии речь о пользе бумаги. Целлюлозные реки текут за границу, процент целлюлозы в газетной массе утраивается, все чрезвычайно удивлены, и сам он тоже втихомолку чему-то удивляется. В его снах, как в ночной реке, преувеличенно и зыбко отражаются дневные планы. Сны подгоняют явь, а явь торопит сны... — Оно истощало его, это непосильное мечтанье, как голодного мысль о хлебе.

Тотчас после предварительного обследования он заказал экономический эскиз комбината. Лучшие статистики

губернии, химики, техники, инженеры полгода любовно вышивали этот замечательный ковер. Написанный самым деловым стилем, отпечатанный на полутряпичной бумаге самыми грамотными машинистками губернии, снабженный картами и диаграммами почти перламутровой раскраски, — проект по стройности своей походил на стихотворение. Сперва шли экономические предпосылки целесообразности, возвышенные почти до лиричности; затем, вслед за перспективами потребления, поминалось кое-что и вкратце о возможных или обещанных железных дорогах; потом дружные хоры цифр пели о сырьевой базе, и, наконец, проект заключался описаньями рек и их бассейнов, с высотами половодного и меженного уровней, с указанием мощности, а в некоторых случаях даже и химического анализа воды. «Нужда в бумаге, — говорилось в заключении проекта, — обострившаяся благодаря отпадению производящих окраин, повышается с каждым годом и грозит перейти в бумажный голод. Политическая обстановка дня и переход на культурную революцию, имеющую завершить материальные завоевания, внушительно требуют развития отечественной бумажной промышленности...»

Отпраздновав окончание проекта небольшой пирушкой, Потемкин разослал его по всем хозяйственным властям, от которых зависело разрешение и кредитование комбината. Это произошло в начале апреля, но вот и береза распустилась в исполкомском палисаднике, и пьяные слобожане стали выползать на молодую травку, а все не поступало ответа в исполкомскую регистратуру. В конце июля, однако, пришла бумага из центра, где, принципиально соглашаясь с предложением губернского совнархоза, высокая власть сомневалась в возможности его скорого осуществления: кредиты были уже распределены... Прочитав письмо, Потемкин раскрыл окно и целых полчаса пребывал в безразличном отупении. В воздухе, слабо попахивающем гарью, отдаленно гремела военная музыка. По площади прошли молодые люди из слободы, напевая под гитару:

Не влюбляйся в карий глаз:
Карий глаз опасный...
А влюбляйся в синий глаз...

Потемкину стало не то чтоб скучно, а как-то не по себе, и еще хотелось пристрелить гитару, как собаку. Колола вдобавок досада, что на всех хватает денег хоть и по нищему куску, а вот его безропотную Соленгу обрекают на прежнее прозябание. Вдруг он отвернулся и закусил губу, как делал прежде, когда сгоняемый плот затирало на пороге. Тут же позвонил в губком, секретарь которого тоже собирался в центр по делам особой важности; одновременно дано было распоряжение на вокзал оставить билеты на сквозной архангельский поезд. В ту же ночь, на полчаса заехав домой, он покинул свою обделенную родину. В настроениях он ехал крайне нетерпеливых; в вагоне, кстати, познакомился он с одним волосатым инженером, патриотом Крайнего Севера, который, как и он сам, направлялся в Москву клянчить денег на постройку того самого медеплавильного завода, с которого Потемкин собирался возить свои флотационные хвосты. Не дослушав инженера, в котором, как в зеркале, увидел уродливое изображение самого себя, Потемкин с остервенением вышел на площадку покурить.

— Все бродишь? — окликнул его секретарь, папироска которого тлела в грохочущих потемках тамбура.

— Слушай, у меня мысль... Если Соленгу с Унжей соединить, — там всего сорок восемь верст, — лесная база увеличится втрое. Тогда не шесть котлов по восемнадцать тонн, а и все девять ставь! Я из того веду расчет...

— Иди спать, будорага! — тихо укорил секретарь.— Ночь, спать надо.

Тотчас по приезде они отправились в то высокое учреждение, где прежде всего следовало искать поддержки; один из секретарей его, сам литератор и потому в особенности озабоченный судьбами советской бумаги, долго расспрашивал Потемкина о мужиках, к великому его неудовольствию.

— ...ворчат! — молвил Потемкин, угрюмо сворачивая на привычную тропу. — Лесу много, работы нет. На экспорт не берут, а в центр возить далеко. Доска не выдержит, а бумаге все в пору. Мы вот решили: надо на месте лес работать!

Приготовляясь к описанию сотинских преимуществ, он подошел к карте и пальцем искал на ней свою знамени-

тую реку, которую предполагал отныне прославить комбинатом. Он искал долго, и краска прилила к щекам, но то была не прежняя карта одной лишь губернии, а карта всей страны, с Сибирью, Кавказом и Туркестаном. По ней извивались чужие ему, мощные реки, распростирались зеленые расплывы низменностей, коричневые хребты знакомых понаслышке гор, серо-желтые лысины пустынь. Его палец заблудился в необъятном этом пространстве и растерялся, найдя, наконец, свою область. Ее всю можно было прикрыть двумя ладонями, и великая Соть ползла по ней усмиренным червячком. Заодно поискал он глазами и Соленгу, замечательную милую реку, с белыми кувшинками в заводях, вольную и открытую, как улыбка, с голубой водой и луговыми берегами; он вовсе не нашел ее на карте, словно стране не было дела до Соленги и ее поэтических красот. Секретари шептались, и Потемкин успел оправиться, но уже не умел вернуть себе прежнего воодушевления.

— ...сырья на тыщу лет, мужик хороший, крепостным правом не испорченный. Бумага на корню гниет, а нам газеты выпускать не на чем! — Он устал даже после того немногого, что ему удалось произнести.

Наконец ему пообещали, что делу будет уделено возможное внимание, и в *Бумагу,* к Жеглову, Потемкин ехал уже в состоянии крайнего недоуменья. В сущности, для начала все шло неплохо, но чему, расставаясь, так странно улыбался секретарь?.. Ах, да, он пошумел некстати, неугомонный Потемкин. «Может, комбината и в самом деле не нужно, а газету можно печатать на фанере, на березовой коре или просто на облаках, как делают где-то в этой чудацкой Америке?..» Оттого-то в кабинет к Жеглову он входил не без враждебной настороженности; ему казалось, что вокруг тяготятся его посещениями. Жеглов сидел не один, а с ним рядом молчаливая человеческая глыба с плотным, с почти заносчивым лицом, не располагавшим к задушевной беседе. «Тем лучше», — воинственно решил Потемкин и двинулся прямо на глыбу, но та прикрылась газетой и не допустила до себя; человек этот казался бы высоким, если б не был так коренаст.

— Товарищ, в очередь... — бросил Жеглов, второпях перебирая бумаги.

— Мне не к спеху, — откликнулся Потемкин, печально удостоверяясь, что действительно в ревсовете семнадцатой они не встречались ни разу. — Пропускайте вашу очередь.

Он не принял приглашения садиться, ходил по комнате, укоризненно потыкал пальцем в бронзовую девушку на пепельнице, попробовал на ощупь бумагу, на которой напечатан был портрет вождя, и определил на-глаз процентное содержание целлюлозы. В этой серенькой, с окнами на один из древних московских соборов, комнатушке все его раздражало. Тем временем шел уже третий посетитель: огромный мужчина, татарин по лицу и речи, сдержанно бубнил о бумажных нехватках на местах.

— ...баба в каператив приходит, сахар просит, сахар даем. Куда сыпать? В юбку сахар сыпать.

Жеглов заглянул поверх пенсне куда-то в календарь.

— За третий квартал вам обещано отгрузить пятьдесят тонн. Всё?

Тот не унимался и в раздумье поглаживал необыкновенные свои габардиновые галифе:

— Погоди, мужик сахар просит, куда сыпать?.. в штаны сахар сыпать?

Жеглов забарабанил пальцами в стол.

— В ту же бумагу и сыпьте, товарищ... в ту же бумагу! — и звонил секретарю.

Проситель уходил в испарине, потрясенный убедительностью жегловского аргумента. В дверях он нерешительно оглянулся, загораживая проход, но раздались еще какие-то звонки, и в щель пропихнулся мясистый человечек, обмахиваясь обрывком белого картона. Доведенный накануне до исступления, он заготовил Жеглову целую чашу желчи, но, видимо, смутился посторонних людей и с отчаянья, точно козыряя, бросил Жеглову картонный листок, которым обмахивался. Затем, упершись изогнувшимися досиня пальцами в стол, он шумно дышал, и вся бумага перед Жегловым шевелилась.

— Папиросный картон, пятидесятых номеров, — безоблачно определил Жеглов, потирая образчик между пальцами. — Неплохой для вашего дела картон!

Лицо табачного директора исказилось:

— ...труха, с вашего разрешенья, а не картон! — Лицо его вдруг заблестело, и толстый побагровевший нос готов был скапнуть на стол, как большая масляная капля. — Мне из него, товарищ, не лошадок вырезать, а коробки папиросные клеить. Ну-ка, сломайте его, будьте добреньки!

Жеглов послушно сломил образчик и передал гостю; тот тоже надломил и почесал угол рта, под усами: в сломе обнаруживалась сквозная трещина. С минуту все грустно созерцали неотразимую улику.

— А вы попробуйте замочить его перед клейкой, — неуверенно посоветовал жегловский гость.

— ...они же плесневеть будут! — взвизгнул тоненьким голоском директор, но сам смутился, ибо все кругом заулыбались, не исключая и Потемкина, и вот тут-то удалось спровадить его к члену правления.

С сердитым достоинством Потемкин положил на стол запасной экземпляр проекта и молчал, пока шумели страницы, листаемые Жегловым. Перегнувшись через его плечо, гость пристально заглядывал в сочинение о богатствах потемкинской губернии.

— Мы уже читали, — пожался Жеглов. — Вверх стучитесь.

— Стучался, возвратили с благодарностью, — откровенно ответствовал Потемкин. — Бумаги нет, подписку на духовную пищу сокращаем... придется строить.

Должно быть, сердил Жеглова воинственный напор гостя.

— Ну и стройте. Благородное дело.

— Я бы и рад, денег нету.

— У нас по этой части тоже гайка слаба. А подписку зачем же сокращать! На газету найдется...

И опять он бегло просматривал проект, хотя знал его до последней точки. Потемкину показалось даже, что мнение Жеглова склоняется в его сторону; собравшись с силами, он метнулся к карте, и сперва все замутилось в его глазах, а потом голос приобрел тот чрезвычайный оттенок, достаточный, чтобы убедить и дерево, что если отказаться от потемкинской затеи, то не стоило и революции устраивать на Соти. Жеглов тускло взглянул на гостя, и ораторское вдохновение Потемкина мгновенно иссякло.

— Ты меня не агитируй, а вот: у тебя там на Нерчьме фабричка... мы с ним и сами оттуда, — кивнул он на глыбообразного своего соседа. — Что, ежели бы расширить ее, машин подкупить, а? — Он знал и сам, что нерчемская руина движется единственно по разбегу времени; он вспомнил старомодный тамошний дефибрер, который, хрипя и кашляя, оплевал его однажды перемолотой древесиной, и со вздохом закрыл папку. — Может, цепи там переменить, камень выписать новый... — ему никто не ответил. — В Цека был?

— Часа два назад.

— С кем говорил?

Потемкин назвал фамилию секретаря, и тогда в действие вступил третий, молчавший с самого начала.

— Садись сюда. Меня зовут Увадьев, я из Бумдрева. Бисерного твоего шитья я так и не успел прочесть: ругаться меня в одно место посылали. Вот ты на какую производительность рассчитывал?

Тот замялся: было страшно пугать раньше времени этого непредвиденного друга.

— ...тысяч сорок тонн в год.

— А через год новые корпуса пристраивать?

— Так можно и круче взять, — взыграл Потемкин, томясь неопределенностью минуты. — Там разъезд придется перенести да еще ветку... я бы и на себя взял! — Лавина сдвинулась с места, и нужно было лишь подтолкнуть ее в начале пути.

В продолжение двух месяцев они не раз еще встречались у Жеглова в Бумаге, и бронзовая бесстыдница на пепельнице перестала сердить потёмкинское целомудрие. Непостижимым образом дробя свой день, он ухитрялся ежедневно ходить на штурм и не всегда возвращался с поражением, но всегда израненный в лучших своих чувствах; твердя о социализме, все называли этим словом что-то расплывчатое и как будто удаленное на века.

Всюду — в редакциях крупнейших газет, в правлениях банков, в кооперативных конторах — его знали в лицо, и кое-где он стал уже надоедать. Он осунулся, оброс волосами и напоминал того чудака, который обходит весь свет в поисках волшебного напитка, необходимого для оживления любимой...

Здесь, на полпути, к нему примкнул Увадьев, действовавший как таран. Это случилось во-время: Потемкин изнемогал. Папка первоначального проекта разбухла и затрепалась. Ученые эксперты трех высоких учреждений качали это невозросшее детище в глубоком уединении кабинетов; сановитые бюрократы закутывали его в бумагу обширной переписки; дитя хирело, и тогда Увадьев кинулся за помощью к газетам; но там напутали, и еще прежде чем дело приблизилось к экономическому совещанию, пошли слухи, что именно Увадьев встанет во главе Сотьстроя. Более того, распространились сбивчивые известия, что комбинат уже разрешен и остановка только за выбором технического оборудования. Какой-то ретивый журналист начал свою статью барабанной дробью: «Еще один раз Соть, и мы станем вывозить целлюлозу!» Некоторые полагали, что Соть уже построена, и газетная трескотня носит полуюбилейный характер... А там, на Соти, пока еще качалась и зрела тощая мужицкая ржица, да кричали лягвы в приречных низинках.

Все же потемкинское войско умножалось, и в жегловском кабинете, под редкий благовест соседней церквухи, обсуждалась уже финансовая часть предприятия; имели в виду взять процентов восемьдесят годовой прибыли треста плюс тридцатилетний кредит из банка, возглавленного Жегловым... Кстати сказать, людской материал стал скапливаться задолго до того, как явилась нужда в материале строительном. И первая встреча произошла в одном из тех доходных и безвкусных домов где-то на косогоре возле Сретенки, каких уйму настроила Москва в пору своего торгово-промышленного роста. Причины, которые привели туда Жеглова, относятся к тем отдаленным дням, когда мальчик Жеглов и не помышлял еще о роли, какую ему навяжет жизнь.

2

Не разукрашенная ничем — разве только красные флаги вспыхнули однажды и погасли надолго, да еще покойному дядьке руку оторвало в каландрах машины — протекла его юность. Нерчьма в этом месте падала в Соленгу, а при слиянье, обок богатому селу, ютилось

бумажное заведеньице купца Рыбина с сыновьями; они тут же и бегали по двору, норовя подстрелить зазевавшуюся ворону из рогатки, эти помянутые на вывеске сыновья. Содержа семью в азиатской строгости, оный бородатый хозяин все землю скупал и, по фабрике сказывали, до тридцати тысяч десятин накопил, но помер в холерный год, и в ту же дверь, в которую вынесли запаянный гроб старика, хлынуло, как в прорву, накопленное добро. У забитой его супруги тотчас объявились незаменимые молодые люди, а у них пожилые родственницы, а у этих духовные пастыри, и все кормились, а перезаложенная фабричка хирела, портились машины, падал кредит. Кстати, и сыновья, матушкина беспутства наглядевшись, мотали даровую деньгу: все хотелось дворянским пером украсить вчерашнее холуйство. Через год уже не давало молока истощенное вымя, и тогда продали наследники и всю корову на зарез. Новый хозяин Фаворов бороденку уже стриг, над дворянством посмеивался и европейскую свою науку с российским навыком сочетал. Прибрав фабричку к рукам, он управителей разогнал, машины починил и сам сел за управленье, а через два месяца случилась первая забастовка, сопровождавшаяся бунтом, поджогом и убиением урядника. Однако этот первый свой экзамен он успешно выдержал, иных рассчитал, иных под суд упрятал, и вот снова из продырявленного вымени заструился живительный сок.

В партию бумажников, ушедших на поселенье, попал и молодой Жеглов; безрукий дядька пропал где-то в поисках своего безрукого счастья, и так как в домике никого не оставалось, то и домик их скоро сгорел; так и потерялся жегловский след. Преступников судили в окружном суде, и сперва присяжные пожалели этого тихого и сияющего парня, но прокурор заартачился, перенес дело в палату, где сразу и обнаружилась сугубая жегловская вредность. Год был мятежный, суд происходил при закрытых дверях, и Наташа, единственный друг жегловского детства, до поздней ночи простаивала у ворот. Когда осужденного Жеглова уводили под конвоем, — и Наташе запомнилась навсегда молодцеватая бескозырка одного из конвойных, — они встретились глазами. «Зубы болят!» — только и крикнул Жеглов, комично держась за подвязанную щеку, и они расстались надолго.

Письма и в первый-то год приходили редко. Потом Наташа вышла за Увадьева, молодого и сытого мастера с той же фабрички, где сортировщицей работала и сама. Детство и память о дружбе затмевались мелочами новой жизни, и вдруг она забыла, как звали того смешного сторожа в поповском саду, куда они детьми пробирались за падалками. Птицы клевали яблоки, старичок привязывал веревочки к вершинкам и, дремля у бани, подергивал то за одну, то за другую; птицы не унимались, а яблоки все падали, пока не прогнал поп домодельного сего изобретателя. Потом ей стало это нелюбопытно. Через год она забеременела, но поскользнулась однажды в гололедицу, возвращаясь из церкви, и это несчастье наложило свой отпечаток на Наталью: она сжалась и точно озябла навеки. Попрежнему она ни в чем не упрекнула бы мужа, которого хоть и мало кто любил, но уважали все, не исключая хозяина; ей бывало холодно в его присутствии, точно дули из глаз его пронзительные сквозняки.

К тому времени уже собиралась у него по праздникам фабричная молодежь почитать запретные книжки. Из карманов у всех откровенно торчали головки винных бутылок; снабженные гербом империи, они не хуже паспорта удостоверяли благонадежность потребителя. Бесскандально пошумев песню на крыльце, приятели уединялись в материну каморку, и всякий раз, когда Наталья вносила им чай, делали вид, будто спьяну забавляются анекдотцем неосторожного содержания. Изредка приходил дьяконов сын, земский статистик, и сразу в увадьевском домике становилось беззаботно, точно в снега декабрьские ворвался гремучий ручей. С Варварой, матерью, он вел разговоры о лечении застарелых недугов обыкновенным луком, а с Натальей — о пользе детей в домашнем обиходе; никто рассуждений его всерьез не принимал, но и не обижался. Он всегда пил сырую воду, и Варвара шутливо грозила, что он издохнет когда-нибудь от сырой воды. Однажды его арестовали, но сбираться продолжали и без него.

Тоскуя о дьяконовом Ваське, Варвара насоветовала как-то Наталье одернуть мужа:

— В Сибирской-то губернии, сказывают, все дороги умниками вымощены. Напиши-ка Щеглу своему, спроси,

ладная ли дорожка выходит, не тряска ли .. — Под Щеглом она разумела сосланного в каторгу Жеглова.

Ввечеру той же субботы Наталья собралась переговорить с Иваном; не упрекать его собиралась, а лишь расспросить и, если потребуется, помочь в его потайном и опасном деле. Муж вернулся поздно и, как сразу поняла жена, пьяный; это случилось впервые за всё время их совместного существования. Держась рукой за притолоку, он стоял на пороге с закрытыми глазами.

— Лампадки зажги, пустельга! — раздельно и сипло сказал он потом. — Дай ему огня и масла, волосатому...

Шатко пройдя к нарядной кровати, он с сапогами завалился на тканьевое одеяло и так лежал распластанный, дико глядя в потолок. В его распоротой, может быть, о раздавленный стакан ладони запеклась кровь. Тикали часы, и доносилось тестяное чваканье из-за перегородки: мать месила пироги к празднику. Полыхали лампады, и одна струила тоненькую горелую вонь. Вдруг он поднялся на локте, голос его звучал почти трезво:

— Ваську повесили, кувык... — и показал рукою место, где сомкнулась веревка.

...не помогли конспиративные лампадки: утром взяли и Увадьева. Судили его не за ту большую вину, в которой был повинен не меньше Васьки, а за шальное слово об империи, — так объяснил он сам Варваре. Он вернулся через год и еще три дня, потребных на то, чтоб добраться до фабрички в распутицу. Вместе с товарками по фабрике Наталья дивилась, что он даже не осунулся, не постарел, точно его там зацементировали впрок; тюрьма другое оказала влиянье: он стал выпивать. Делал он это и в компании с матерью, которая вином лечилась от какой-то запущенной простуды. Каменной породы, как и сын, рано овдовевшая Варвара сохраняла почти тридцатилетнюю свежесть. «Я вдова стойкая, первый сорт. Мне бы с медведем жить!» — шутила она, и правда, только полнота да тугой крупичатый румянец выдавали ее крайнюю спелость. Выпивали они в согласном молчании, и сперва бутылки им хватало почти на неделю, но к началу войны ее хватало на срок уже гораздо меньший. Молодежь забрили, сборища прекратились, и теперь сам Увадьев изредка уходил куда-то, а куда — Наталья не смела спросить. В пору его отсутствия, летом однажды, заходил мужчина

в панамке, сказавшийся не то мужем покойной тетки, не то братом дядиной жены; проныра и мигун, он просидел с полчаса, и Наталья не остереглась бы от вредной доверчивости, не вернись во-время Варвара; тогда он заметался и, не допив квасу, заспешил на поезд.

— ...вот шпарну тебя кипятком, кота драного! — загрохотала вслед ему Варвара, но тот не обиделся, а лишь поскалил мелкие серенькие зубки.

Следовало ждать неприятности, но тут объявили мобилизацию дополнительного года, и Увадьева смыло общей волной. Всюду сопровождала его великолепная удача: его не убили, даже не подранили, а разрушительная работа, которую продолжал вести в армии, благополучно сходила ему с рук. Письма содержали краткие сведения о здоровье и опасностях, от которых охранял его господь. «Благодаря богу, я в атаку не ходил», — писал он, и Варвара хмурилась на эту ненапрасную осторожность сына. На третий год войны нагрянули с обыском как-то ночью, ископали дом и огород, переворошили вдрызг варварины укладки. Сидя в одной рубашке на кухонном столе, Варвара яростно созерцала распоротую перину, память о недолгом супружеском счастье. «Не волнуйтесь, душечка, — ластился жандарм, созерцая ее гранитные формы. — Я сам семейный и родителям сочувствую». Тогда же стало известно и об аресте самого Увадьева, и тут один из фабричных старожилов признался Наталье, что уже три года муж ее состоит членом подпольной организации. Было горько узнать, что столько лет муж скрывал от нее свое кровное дело, но она простила ему и теперь, потому что неспособна была на большее. Поистине везло этому упорному спокойному человеку, битюгу революции, как его называл покойный Васька. Гибель империи освободила его от военного суда и кары; с этого момента он пошел в гору, не отказываясь ни от каких постов, где требовалась работа почти парового копра. Лишь через полтора года он выписал к себе жену и мать, в тот сретенский дом, о котором упоминалось вначале.

В годы гражданской войны Наталья встретилась с Жегловым. Она поехала к нему в редакцию одной профсоюзной газеты, и тот не узнал сперва в маленькой усмиренной женщине прежнюю Наташу; он успел забыть, что

она никогда не выделялась бойкостью, и второпях решил, что ее просто старит нескладная кожаная куртка. Десяти минут хватило, чтобы вспомнить знакомых, мертвых и живых:

— Где Ваня Пташин?

— Его убил Колчак.

— ...а этот, Бусанов?

— Он в Чека, где-то на Кубани.

— А Увадьев, ты помнишь его?

— Да, он тут. Это мой муж.

Потом Жеглов поделился с ней грязноватой плюшкой, которую почему-то в кармане принес ему курьер; потом стали мешать телефонные звонки; потом Наташа уехала, и в следующий раз они встретились только через месяц. Теперь они ближе разглядели друг друга и нашли, что все обстоит попрежнему. «Да, и Щегол все тот же, только прежнюю незлобивость посмыло с него там, в приполярных тундрах...»

— Ты работаешь где-нибудь?

— Я... видишь ли, у меня... — В ее лице разбежался пятнистый румянец, она замялась, и Жеглов с новым чувством заметил, что Наталья беременна; именно это обстоятельство вернуло в их отношения простую человеческую естественность, которой недоставало вначале.

— Да, я вижу. Скоро?

— Месяца через четыре.

— И ты счастлива? то есть... ну, ты понимаешь меня?

В ответ она улыбнулась так обиженно, что губы ее встали почти вертикально. Ощутив неловкость, он перевел беседу на каторгу, всесибирскую скуку, прочитанные книги и встречи с людьми; избавленная от необходимости говорить, Наталья отдыхала. В сумерках вернулся с заседания муж, и Жеглова сперва неприятно поразила его заносчивая угрюмость. Узнав Жеглова, которого знал, впрочем, больше по нашумевшему в свое время неудачному побегу, он проявил неуклюжую любезность, и вдруг зачем-то понадобилось ему вспомнить деда своего, искусного черпальщика, которого фабрикант Филатов, строитель фабрички, променял на кобылу в яблоках, мыловара и пожарную трубу; про трубу он помянул дважды и даже помнил числа, когда бежал его предок на вольный Дон, когда был пойман и бит плетьми, и, уже одноглазый, снова поставлен

к машине. Выходило, будто в родовой неприязни ко всем тем, чей дед не щеголял в помещичьих рогатках, он и Жеглова вызывал на соревнование, а тот сочувственно кивал головой, прячась в дым папироски.

— ...удачник! — только и сказала Наталья, когда муж уехал.

— Не врал про деда-то?

— Нет... он только округлил. Это моего прадеда променяли на трубу. Ты не суди его строго...

— Я и не обвиняю.

...именно обвинял, подозревая в нем тот сорт людей, которые непереносимы с низшими, равнодушны к равным и сами крайне болезненно переносят нерасположение свыше. Впоследствии он изменил мнение об этом суковатом человеческом кряже, достойном лежать в фундаменте большого дома, но Увадьеву так и не удалось завоевать его дружбы, целиком принадлежавшей Наталье. Он понял многое в отношениях мужа и жены, а прежде всего — что было великой неделикатностью дразнить ее расспросами о счастье. Она любила его и уже привыкла к печальной роли луны, отражающей блеск отдаленного светила. Развод не доставил бы ей облегченья; втайне она жила его порывами, и не ее вина была в том, что не подходило случая, когда она могла бы проявить преданность и верность. Таким случаем была бы лишь крупная какая-нибудь неудача, и однажды она не без горечи высказала ему это.

— Калечку хочешь при себе иметь? — Должно быть, вспышка его объяснялась боязнью, что кто-то спугнет его знаменитую удачу.

Впрочем, он великодушно переносил ее присутствие, и происходило это не из насильственной благодарности к женщине, заслужившей его привязанность черной работой прачки и жены: попросту дни Увадьева были завалены более важными делами. Возможно, он был приспособлен для иной, сокрушительной любви, за которую надо бороться и тратить силы; он ждал другой, равной по возможности ему и не похожей на Наталью, которая девять лет уныло проторчала под рукой, как походная чернильница. Переворот этот мог произойти каждую минуту, она знала это и жила неспокойно, как на бивуаке, всегда готовая уступить место еще не существующей сопернице. Целых два года длилось это противоестественное равновесие, а та,

уже победившая, все не шла. В ожидании катастрофы ее не тревожили временные увлеченья мужа; не тронутый в чувствах и потому падкий на необычное, он позволял себе изредка эту любовную роскошь. Не страшась причинить горе, он угощал иногда жену шоколадом, который случайно оставался у него в кармане от другой; сам он не любил сладостей и не терпел, чтобы вещь бесцельно пропадала в мире. Жуя это горшее отравы угощенье, она зорко наблюдала его в те часы; он сидел очумелый, уставясь куда-то в беспредметную тишину. В большинстве то бывали женщины опрокинутого класса; в короткие часы свиданий они успевали напоить его жгучей тоской собственного опустошения.

К этому времени Варвара разъехалась с сыном. Привыкшую к нужде, ее бесило даже и самое крохотное благополучие. Случались ссоры и раньше, но Увадьев терпел, узнавая в ней самого себя; однажды нитка перетерлась. На прощанье выругав сына окаянным солдатом, она выговорила ему все, что отстоялось, как в масляной бутыли, в ее просторном сердце.

— Жги да пали, да сяки, да руби единородных-то! Когда штаны-то с лампасами наденете? На всех нехватит, так хоть из ситчика пошейте, черти неправедные.

Связав полотенцем неразлучную перину, спутницу скитаний, она сунула в середку икону, села на извозчика и укатила куда-то в подвал: сосед обещал ей место трамвайной стрелочницы. В тесной квартирке Наталья осталась одна; в ожиданье родового часа она беззвучно бродила по комнатам, избегая взглянуть в нарядное с бронзой зеркало, выданное по ордеру. Дымила печка; черная, клейкая, как лак, гуща капала из трубы. Напротив в окне висела облупленная вывеска закрытого ящичного заведения. Мужа услали в командировку. Жеглов приезжал по пятницам. Кто-то внизу играл на трубе.

Именно Жеглова и вызвали по телефону, когда начались преждевременные роды. Нижняя жилица привела акушерку. Та кипятила воду на примусе и курила толстую дымучую папиросу, когда приехал Жеглов; затягиваясь, она равнодушно глядела в просвет на заиндевелом окне: там, на улице, подыхала близ сугроба кляча. Акушеркина брата, юнкера, застрелили в октябрьских боях, и с тех пор она почитала нравственным долгом ненавидеть боль-

шевиков; ненавидела она, впрочем, не особенно пламенно, так как недолюбливала и братца. У нее на лбу, в землистой борозде, прятался прыщ, и Наталье все казалось, что такая непременно ткнет ее папиросой в голый живот. Тем сильней она обрадовалась Жеглову, который еще с порога начал доставать из кармана яблоко. Затем, присев возле, он рассказывал невероятные истории, как, например, и ему однажды довелось действовать за повивальную бабку. Наталья не смеялась и, кутаясь в шубку, все косилась на акушерку, вынимавшую из кипятка сверкающие инструменты, атрибуты ремесла. Вдруг лицо Натальи стремительно пророзовело, и яблоко покатилось из откинутой руки.

— Ну, родитель, ступайте покурить... — оживилась акушерка и вытолкнула Жеглова, который от растерянности кинулся прежде всего поднимать яблоко.

Обжигали его затуманившиеся наташины глаза; кроме того, видевший расстрел рабочей демонстрации, он не выносил женского вопля. Как был, без шапки, Жеглов выскочил на площадку лестницы. Дверь, снабженная автоматическим замком, захлопнулась. Жеглов остался один.

3

Снизу дул в разбитую дверь почти полярный холод; окна тоже не имели стекол, и снежинки привольно резвились в сумерках лестничного провала. Обвиваемый сквознячками, Жеглов усердно топтался на месте и все вскидывал на нос спадающее пенсне. Рубашка из синей бумазейки, какой раньше обклеивали футляры, вовсе не согревала. Когда стали коченеть ноги, он принялся поплясывать энергичней, даже соблюдая подсознательный ритм. Дверь соседней квартиры открылась, и человек внушительных размеров, да и возрастом не менее пятидесяти вынес за дверь помойное ведро. Неторопливо отжав мокрую тряпку, он искоса взглянул на Жеглова и прислушался к крикам, которые сочились и сквозь войлочную обивку. Тогда, застенчиво улыбнувшись, Жеглов стал сморкаться.

— Ничего, валяйте, — сказал человек с тряпкой.

— Дует очень, — пожаловался сквозь зубы Жеглов.

— Зима, — рассудительно определил тот. — Брат?

— Не совсем.

— Э, дядя! — догадался тот, не допуская никакого родства, кроме физического, которое толкнуло бы на такую жертву.

— Знаете что... И не дядя!

Человек с тряпкой меланхолически почесал переносье:

— Да, можно простудиться — январь, — и неторопливо захлопнул дверь.

Так прошло минуть пять; шнурочек пенсне покрывался легким инеем от дыхания, когда дверь снова распахнулась. Тряпка все еще висела у человека на руке.

— Да — я забыл — войдите — у меня печка — потом чай. Я тут пол — тряпкой. — Отрывистую, точно сердился на вопиющую неточность слов, речь свою он сопровождал нетерпеливыми жестами. Пропустив гостя вперед, он старательно запер дверь на цепь. — Не пенсне — не пустил бы!

— Пенсне не паспорт, — засмеялся Жеглов, все еще не доверяя тишине за дверью.

— Пенсне — надо смелость — за пенсне могут расстрелять — беглые хлюсты с каторги.

— Знаете что?.. — осторожно приподнялся Жеглов. — Я уж, пожалуй, пойду туда, на площадку. Я как раз с каторги.

Хозяин раздумчиво взглянул на гостя.

— Ничего — сидите — там зима. Моя — Ренне, ваша — Жеглов? Я не был на каторге — брат был — горный инженер — помер.

— И давно? — неопределенно поддержал Жеглов.

— Да — помер, — не понял хозяин и поглядел на стену, где рядом с мешочком крупы, помещенным туда от мышей, висела фотография инженера с мешковатой выправкой; будучи молод и глуп, зная каторгу лишь из окна казенной квартиры, инженер презирал и крупу, и предстоящего Жеглова. — Помер — смерть растворяет — как сахар, но мысль нельзя — кристалл. Бессмертие — я потом докажу. Если да — в этом стакане будет безумие! — Он нарисовал широким жестом этот стакан, годный для определения вселенной; потом перешел к окну. — Там лошадь мрет — хвост притоптали — он примерз. Хотите глядеть? У меня бинокль...

— Я уж лучше чайку предпочту, — открыто намекнул Жеглов, жадно впитывая в себя тепло из печки.

— Ладно — у вас яблоко — будем с яблоком — давайте половину — снесу жене.

Разорвав яблоко пополам, он вышел в дверь и плотно притворил ее за собою. Жеглов осмотрелся. От сырых еще полов пахло какой-то знакомой дрянью. На прогорелое колено трубы, как пластырь на горло, привязали проволокой кусок жести. На столе валялись листы толстой бумаги с рисунками, выполненными от руки и до кропотливости тонко; изображали они не то листву как бы архейского папоротника, не то беспредметное видение сна. Хозяин застал гостя за разглядыванием рисунков.

— Это жена, — пояснил он, внося чайник и ставя его на печку. — Это мороз с окна — трудно — у нее глаза болят. Маньяк — ему нужно гармоничность распределения молекул — кристаллограф — скоро расстреляют. Нет, тот от гипосульфита — на стекле. Он в *муке́* служит — носит в карманах — ворует.

— От рисования заболели глаза?

— Да — тряпочки с холодной водой — и лежать. Теперь сам — полы — стираю белье — человек должен все. Бегать не умею — украл доску из забора, упал — пять пудов без тары!

Жеглов так и понял: перед ним стоял помраченный интеллигент, для которого с начала революции потух свет в мире. Путем наводящих уловок он дознался, что был прежде Ренне крупным знатоком лесного дела и Октябрьская застала его в глухом городишке, где он проживал с женой и дочерью в домике у старшей, одинокой своей сестры. Жена разводила коз и кормила весь дом, но, несмотря на козье молоко, сестра вскоре умерла; привыкшую к плавному течению прошлого века, ее слишком утомлял шумный круговорот новых дней. Провинциальные условия не способствовали тихому житию; местную власть, на-глазок определявшую степень вредности граждан, могли когда-нибудь ущемить белые воротнички инженера. Тогда Ренне бросили сестрино пепелище и перебрались в Москву, на Сретенку. Здесь можно было укрыться с головой одеялом и ждать чего-то, выбираясь лишь для добывания еды. Под одеялом одолевала смертельная тоска и червился разум, но, даже и чистя снег на мостовых в порядке общей повинности, он все еще скрывал свое инженерское звание, полагая, что за это-то и *кокнут*. Постепенно он входил в

общую линию и, когда однажды ему удалось проволокой пришить к износившимся ботинкам огрызки автомобильной шины, он целый день смеялся от радости, как не смеялся, наверно, и первобытный человек, додумавшись до каменного топора; к таким ботинкам следовало лишь притерпеться первую неделю, а там шагай в них хоть пешком в Америку. Предельно опростясь, он тихо копил жиры, изредка проветривая их созерцательным бездельем. Ему даже нравилось это добровольное самоуничижение, а средства к жизни... кажется, их добывала жена, которая фанатически верила, что муж ее рожден для великих свершений. Сперва она шила чувяки, а когда ковер покончился, в пещеру их вторгнулся добродушный маньяк, за морозные узоры плативший ворованной мукою. Торопясь накопить побольше муки, прежде чем посадят маньяка, жена целые дни проводила в своем слепящем труде, а муж валялся на диване, зарастал седоватым волосом и твердил дикую штуку, налипшую ему на разум, как окурок к каблуку — «ерой-ерой, а у ероя еморрой!»

— Слушай, Филипп, — подошла однажды она. — Я ничего не вижу. Круги летят... Я разбила сейчас последнюю нашу кашу, посмотри!

— А у ероя... Дай водички, дружок, — басовито попросил муж.

— Я не вижу... — сквозь зубы повторила жена и, боязливо вытягивая руку, пошла прочь.

Инженер поднялся и, как в похмелье, вгляделся в мир, который содрогался от потрясений. Во всем происходил необыкновенный кавардак, как всегда бывает при переезде на новую квартиру. Подобно опрокинутому грузовику тарахтела российская машина, а людишки бегали вокруг, сбираясь снова поставить ее на колеса. Тогда весь в поту и с сопеньем Ренне сам стал зарисовывать замысловатую игру ночного мороза, изредка вскакивая переменить холодные тряпочки на глазах жены; все еще резвился маньяк в мутных водах эпохи. Так дело длилось до Жеглова, который не задумался приобрести эту примечательную машину, слегка подпорченную невзгодами голодных лет. Был вечер, когда снова в крахмальном воротничке, не отделимом от его человеческого достоинства, Ренне вышел из своей пещеры... По бульвару стлался острый осенний холодок. На скамье сидела парочка с нездешними глазами.

Туда, вниз к площади, цыган-поводырь вел на цепи медведя, а сзади шел горбун с бубном. Он шел важно, и угловатую свою голову нес на плоских плечах, как плод на широком блюде. Они шли в жизнь, и никто не останавливал их. На углу Ренне едва ускользнул от трамвая: его ошеломляло бытие. Он зашел в парикмахерскую и приказал постричь себя помоложе; в зеркале он увидел одного знакомого чудака и раскланялся с ним, словно расстались только вчера. Ему очень хотелось верить, что ничего не произошло за эти годы, этому Ренне!.. К слову, фамилия его обманывала; был он по наружности явный русак, и если ночевал где-то немец в роду, то нестойкий. В одной лишь Сузанне сквозила странная нерусскость.

Она была единственным ребенком, но ее счастливо миновала слащавая участь детей, единственных в семье. Самого Филиппа Александровича мало что интересовало, кроме дела, а мать, не без черствоватинки, стояла за сугубо суровое воспитание дочери. Ее не баловали ни чрезмерной лаской, ни сладостями, и, когда пришлось однажды наказать за какую-то провинность, мать не придумала ничего лучше, кроме как проколоть и разорвать на глазах у дочери любимый ее цветистый мяч, который девочка почти обожествляла в детском своем воображении. Сузанна со смущенной улыбкой созерцала гибель резинового божества, не заплакала, не закричала, хотя целый месяц после того спала с этими цветными половинками, из которых изошла звонкая, веселая душа. Это случилось в пору, когда Ренне управлял одним из крупнейших лесозаводов; резвая девочка бегала всюду, ее безотлучным спутником был тот самый мяч, весельчак и скакун, а после казни его пустующее место божества заняла помянутая сестра инженера. Ежегодно наезжая весной, она привозила в дом горы пряников, запах каких-то провинциальных духов и суетливый, праздничный беспорядок. В первый же день они становились подругами, вместе уходили смотреть на ледоход, а когда обсыхала одна заветная полянка, они тайно убегали туда и, сцепившись руками, кружились до изнеможенья, молодая и старая, и все кружилось вместе с ними; самая весна состояла для Сузанны именно в этом необъяснимом круженье, когда старость ликует вместе с молодостью, которая гонит ее из жизни. Но и это божество караулила печальная участь; как-то на страстной

Сузанна нашла под лестницей исписанные клочки, кинутые за ненадобностью. Она сложила их на подоконнике и, недоуменно морща ротик, вчитывалась в разорванные, разобщенные слова; свежий ветер из форточки шевелил ее локоны. «Дуняшу обозвала стервой, — прочла Сузанна нараспев. — Вспомнила милого и развратного Nicolas». В этой хартии, составленной, видимо, перед исповедью, имелись грехи и посущественнее, перечисленные, к счастью, по-французски. Сузанна не поняла и половины, но одно слово вдавилось в нее своей таинственной краткостью.

— Мама, что такое бог? — заикнулась она вечером за общим столом.

Родители переглянулись.

— Кто обучил тебя этому слову? — строго спросила мать.

Она показала матери записку, и тогда получился крикливый, смехотворный скандал... В этой семье, поставленной на естественно-научных основах, всякий вел себя так, как ему потребно было для физического здоровья. Было, значит, вредное в том, что так тщательно скрывали от Сузанны; нужно, значит, было произносить некоторые слова шепотком, когда говорилось о рабочих. Девочка пристальнее вглядывалась в заводскую жизнь со своего благополучного берега, на котором не обо что было измарать ее беленькое платьице. Она не успела подвести итоги своим наблюденьям; вскоре Ренне перекочевали в город, на старую квартиру. Потекла гимназическая юность; в скрипучем и скользком паркете восемь лет бесстрастно отражались классические истуканы, но вдруг пришли солдаты и стали сушить на них мокрые, порою кровавые портянки. Подуло необычным ветром, и Сузанне однажды опротивело нарядное благочиние отцовской квартиры, горничные в крахмальных наколках и мебель, запустившая корни в пыльные углы. Там, на изразцовом камине, стояли в фарфоровой посуде кактусы, любимцы матери; желчный, прокуренный свет падал на них из северного окна, но они свыклись и, хотя не давали ростков, не портили тяжеловесного величия кабинета. Сузанна жалела лишь один из них, — это был свечевидный цереус; подняв бородавчатый палец, он сердито вопрошал свою соседку, индийскую опунцию, стоит ли ему, такому уроду, жить. А та, походившая на небритую щеку тюремщика, и сама

давно заблудилась в смыслах бытия. Назаром звала Сузанна этого растительного Гамлета. Не раз ей снилось, как у хмурого сего великана отрастают хилые ножки и ручки; он помахивает ими и все не смеет спрыгнуть, чтоб бежать без оглядки в свой знойный Гондурас. Помощник Ренне, которого Октябрь вырядил в какой-то защитный френчик, имел привычку дергать шипы из Назара, которыми рассеянно чистил желтые свои ногти; она не любила его и за его неправдоподобное имя Порфирий и за его томные, резиновые вздохи.

— Какое у твоего Порфирия лицо темное... точно трупное пятно, — бросила Сузанна отцу в одном совсем излишнем разговоре. — Это потому, что он и сам часть трупа...— Она не объяснила, что имела в виду уже обезглавленную империю, а Ренне понял, что дочери просто надоели тесные рамки семьи.

— Не держу — уходя, захлопни дверь—шубы!—резко дернулся он.

Тогда она решилась, и даже не булькнул под ней половодный кипяток эпохи. Утром за чаем ни слова не было сказано о пропавшей Сузанне; созревшему семени всякий ветер попутный. Поезд, набитый искателями хлеба и соли, донес и ее, искательницу воли своей, до мизерного, безыменного полустанка. Здесь как раз проходила зона того очистительного сквозняка, который, вопреки законам, во все стороны света дул из России. Покинув теплушку, она бесцельно пошла по дороге. В тишине чудился как бы подраненный крик, и тот, кто раз услышал его, навсегда сохранял мучительное и радостное беспокойство. Свирепой раскраски закат громоздился впереди, точно где-то, тотчас за горизонтом, неслыханный происходил пожар. В застылом отсвете его, на невспаханных полях, качались бурые стебли пижмы. За бугром циклопической величины родилась деревня. Черная тряпка болталась на высоком шесте; грозным этим знаком анархии или чумы мужики защищались от постоя солдат. Она зашла, ее напоили молоком, вкус которого она почти забыла, но отказали в ночлеге: тогда не верили никакому человеческому слову. Улыбаясь, она вышла на дорогу, когда желтая звезда уже возвещала пришествие ночи. Дорога прямолинейно уводила куда-то в гибель и мечту; до мечты стало ближе, чем до покинутого дома. Здесь догнал ее парень в матроске,

смуглый, острый и с тугой моряцкой завитушкой на лбу. Он заговорил, она отвечала, он попытался овладеть ею, она пригрозила ему горстью дымного степного праха в глаза. Он не обиделся, а засмеялся; в такой напряженной дружбе они продолжали путь. Во мраке явились тополя, похожие на закутанных, спешащих в неизвестность женщин. На хуторе светилось окно. Рослый мужик, лицо которого походило на сплошное приспущенное веко, отворил им на стук.

— Тебя искали, Савка, — шепнул он.

— Это моя... — откликнулся тот, пропуская Сузанну.

На хуторе им дали коней, и утром они примчались в одну из банд, которою, как ложкой, эпоха помешивала в кипучем украинском котле. Банда действовала в тылу у белых, но когда красное командование попыталось прибрать ее к рукам, банда круто извернулась и перешла на сторону желтолицего Махно. Все это была пыль, взметнувшаяся из-под сапог героев. В этом многолюдном таборе, не признававшем никаких истин, кроме отрицающих истину же, Сузанну приняли довольно охотно, и Савка ревниво оберегал ее от всяких скоропалительных друзей. Она еще не имела цели, кроме настойчивого желания отряхнуть с себя вонючую пыль прошлого; пленяло самое время, в котором несбыточные лозунги цвели, как песни, с кровью и дымом вырвавшиеся из сердца. Иногда, сидя за пулеметом в своей тачанке, двигаясь в смертельную беспредельность, она воистину веселилась о гибели проклятого и чем-то дорогого мира... Именно по его руинам, сквозь гам и пыль, грохоча и взвизгивая, летели эти полугуннские колесницы, и призрак иного, желтого пращура незримо шествовал над людским потоком. Бывали связаны по две в ряд тачанки; на дощатом дребезжащем настиле плясал под песню какой-нибудь осатанелый казак, готовый и умереть вот тут же, в пляске. От его лихих сапог, памяти об одном зарубленном, оставались только голенища, остальное исплясал, и черная мозластая ступня имела свободное соприкосновение с ускользающими подмостками.

— ...красотка, родных сапог за любовь твою не пожалею... только голенища и оставлю для теплоты. — Он зазывающе косил в нее черничным зраком, дразня Савку, неотступного хранителя ее жизни и целомудрия.

Ей многое грозило: там не расстреливали, а рубили на куски. При ней известный Харлапко, убитый позже на перегоне Бирюч — Полтава, показывал на пленных высокое искусство партизанской рубки. «Людина — вона ж легка, пухната... ни за що поважати людини...» Шипящие буквы ветром свистели сквозь пробоину в зубах. Сузанна зевала, она уже привыкла, но без крови было чище и умней, и Савка вздувшимися от гонки глазами следил за ней со стороны. Сквозь тонкое сукно немецкой голубой шинели он угадывал ее грудь, и еще помнил украденный в степи поцелуй, и что-то жгло ему чрево, точно туда заскользнула крохотная долька ее губ. Пресыщенный разгулом, он не торопил времени, он давал срок созреть событию, и в этом состояла животная мудрость его страсти.

— Ты ж не нашего саду яблок. Ты ж оттуда, куда стреляем... Занятно ж жить на проклятущем энтом шарике; видно, и вошка наша кому-то всласть пошла!.. Слушай, меня даве Галина спрашивала... — так звали подругу желтолицего — ...с кем живу. Я сказал — с тобою.

— Иди вон, собака...

С каждым днем ее все более пугало злое савкино великодушье. Он мучил ее, оставляя безнаказанными ее прихоти, в особенности одну, о которой крепче помнил, наверно, тот неведомый человек и враг, которого ей захотелось спасти... В суматохе катастрофического отступления белая батарея забыла его на наблюдательном пункте; по расковырянной дороге, уже перерезанной партизанами, он отступал в одиночку, сквозь подозрительные кустарнички и ночь. Белого своего коня он вел на поводу, так как установился обычай стрелять чуть выше коня, где незримо должен покачиваться всадник. Так он вошел в разоренное село и, оставив лошадь у крыльца, быстро поднялся вверх, в командирское жилище. Низкая комната была непривычно пуста, по полу валялись ведомости, газеты, ордера — листья с облетевшего дерева; на краешке стола полуаршинным огнем пылал в стеариновой лужице огарок, — через минуту должен был начаться пожар. Шальной от двух бессонных ночей, кусая истрескавшиеся губы, он соображал обстановку: голова была зашита как бы в кожаный футляр. Снаружи раздался галопный топот; он бросился к окну; в расплывчатый блик окна ворвался часовой и камнем упал в ночь. Село без выстрела занимали

партизаны, и вот, в подтвержденье догадки, в комнату вбежала женщина. Он не запомнил цвета ее волос, — все в его глазах было таким же рыжим; он не обратил внимания на занятную горбинку в ее лице, — она не становилась к нему в профиль. Опустив руку в карман голубой шинельки, она смотрела на забрызганные грязью сапоги офицера и ждала, может быть, его крика. Трудно было поверить в спасение: собственный его маузер остался в кобуре седла.

— Слушайте, Маруся, — сказал он на всякий случай с волчьей какой-то улыбкой, — проводите меня отсюда. Мне очень не нравится тут...

Она усмехнулась его откровенности. Марусями звали тогда всех женщин, носивших не женскую одежду и деливших боевую участь с мужчинами.

— Иди сам... — и перебирала пальцами в кармане.

Медленно, затылком назад, он спускался по раздирающе скрипучей лестнице и все ждал, что вот грянет воздух позади, и он, цепляясь шпорами за ступеньки, скользнет вниз. Но происходило не так; смешная выпадала офицеру судьба. Внизу его встретил фантастический призрак в генеральской шинели, возможный только в такую неправдоподобную ночь; по поясу его в черной шелухе сидели гранаты, а папаха, перекроенная из муфты, обнажала страшный, непокорный вихор. Должно быть, Савка сразу понял новую прихоть подруги.

— Везет тебе, поручик... — и так хлопнул по плечу, что хрустнул новехонький погон офицера. — Везет тебе, сукин сын! — повторил он, восхищаясь его судьбой.

Вдвоем они пошли в дикое осеннее поле, начинавшееся тотчас за селом; конь бесшумно ступал за ним, точно понимал, какую игру выигрывает его хозяин. Тут она отпустила его в свободу и ночь. Взволнованный и благодарный, он напоследок нагнулся из седла и, приподняв, поцеловал ее в награду. Потом он скакал, ветер тузил его кулаками в грудь, а она, в гневе и обиде, стреляла ему вслед.

Разделив с вольницей ее расцвет, она частично стала свидетельницей ее заката. Ее не было в хате, когда Чубенко застрелил Григорьева из *веблея*, но уже при ней остервенелая громада побивала на сельской площади григорьевского казначея. Она слышала про позор крым-

ского разоружения, и потом судьба заставила ее проделать безумный рейд от Сум к Богучару, когда, гонимая летучим корпусом Нестеровича, вольница таяла на бегу. С ястребиного налету били бронепоезда, бушевали полярные метели, и кто из них больше наносил ущерба, было в суматохе не определить. Люди замерзали сотнями, за артиллерией пропал обоз, в неделю прошли восемьсот верст, и выдержали одиннадцать жестоких боев. Банда гибла и возникала вновь, чтоб гибнуть завтра. Потом был крик среди ночи: «Тикай, бо мы все в паныке...» — Все схлынуло, как дрянной сон; Сузанна очнулась лишь через год и ко времени прибытия в Москву сохранила в памяти две смешных цифры: 18 мая двадцать первого года постное масло — 260 000, а зернистая, самосадная махра — восемь... чего восемь, она уже не помнила.

Женщине легко было укрыться от преследования; шрам на виске она правдоподобно объясняла падением в детстве. Большому человеку понравилась ее мужская сметка; полгода она работала в армии, откуда ее и послали доучиваться в Москву. Никто нигде не интересовался ее прошлым. Пять лет в лишениях и сырости она прожила на каком-то чердаке, сходя оттуда лишь в институт, на демонстрации да в баню; месяцами она не видела людей, кроме дурака в противоположном окне, который ежедневно, приспустив подтяжки, проделывал гимнастику с папироской в зубах. Встреча с родными произошла лишь по окончании института... Шел снежок и таял на лету; женщина вела мальчика, который яркокрасной лопаточкой разбивал хрупкое стекло луж; в улицах продавали кавказскую мимозу, пахнувшую нерусской весной. В аптеке висела засаленная телефонная книга. Звонок у двери действовал исправно. Дверь открыла мать в синих очках и рабочем коленкоровом переднике.

Улыбаясь, Сузанна ждала позволения войти.

— А, это ты! — без удивления сказала мать и оглядела ее всю, от потертой кепи до стоптанных, промокших туфель. — Войди... только не наследи, пожалуйста.

Дочь вошла, и мать подчеркнуто ухаживала за ней.

— ...давно? — Она придвинула дочери блюдечко с вареньем, знакомое блюдечко с цветочной каемкой. — Я говорю, давно приехала?

— Уже пять лет.

— Где же была?

— Везде... потом училась. — Варенье было из черной смородины, любимой ягоды отца. — Папа жив?.. там не висит его шуба.

— Да, мы продали шубу. Он выйдет, только допишет письмо. Бери сухарик.

— Спасибо, я возьму.

— Вот у меня глаза испортились. Это на тебе красное платьице?

— Нет, черное. — Она поискала глазами Назара, но его не было в комнате. — Назар замерз?

— Нет, его съели мыши. — В голосе матери мелькнула раздражительная нотка, каких не бывало раньше. — Шубу мы обменяли на крупу. Папа ходит в демисезоне... помнишь, с пелеринкой? — *Они* довели нас до нищеты.

Сузанна поморщилась, едва коснулся ее этот затхлый ветерок прошлого, но она вспомнила тот ветхозаветный балахон, который стлали в кухне на полу, когда к кухарке приезжал на побывку сын. Ей стало грустно. Разговор не клеился до самого прихода отца. Филипп Александрович поцеловал Сузанну в лоб не прежде, однако, чем распорядился отправить деловое письмо. Мать, плохо скрывая слепоту, заискала его на столе. Они остались одни.

— Вернулась, — это хорошо, — шамкая, начал отец и тут же разъяснил: — у меня челюсть — надул техник — завтра хоть рельсу грызть. Много трепало?

— Да, я видела кое-что.

— Ерой, — усмехнулся Ренне, и Сузанна поняла, что слово это пришло к отцу вместе с демисезоном. — Кто ты теперь — кассирша?

— Нет, инженер.

— Электрик?.. строитель? Полтораста миллионов не могут построить приличного стойла себе за десять лет... строители! — Эту фразу он произнес совсем гладко.

— Не будем об этом, — жестко оборвала дочь. — Я химик. Ищу места.

— Я не могу — сам тоже — не рассчитывай.

— Я и не прошу, — улыбнулась Сузанна.

Раздробленный переплетом оконной рамы в комнату вторгался тяжкий закатный сноп; в свете его оранжевой

бахромкой лохматился борт отцовского пиджака. Он стал широк ему, этот парадный пиджак; его часто гладили, обшили тесьмой, но и тесьма сносилась; из-за воротника прискорбно торчала вешалка.

— Разреши, я поправлю, — потянулась Сузанна, и тот удивился, но не воспротивился.

— Ты во-время, — успокоенно продолжал отец. — Берут комнату — хочет жилец внизу — на трубе учится — точно на паровозе играет. Вещи тут?

— Я не собираюсь оставаться у тебя.

Ренне смутился и заискал что-то на столе.

— Окна на юг — тепло — отдельный ход. Боюсь — на трубе играет — у меня зубы звенят.

— Я подумаю, — ответила Сузанна, вспомнив сырой чердак и дурака в подтяжках.

Кажется, Филипп Александрович не узнавал дочери: в прежнюю оболочку новое влилось естество. Левый глаз ее, точно сведенный тиком, был срезан нижним веком заметно больше правого; тревожил и странным образом привлекал этот полуприщуренный глазок. Ренне покашлял:

— Пей чай. Мы уже обедали.

— Я тоже.

— Хм... замужем?

— Нет.

— Значит, девушка?

— Твой вопрос обижает меня.

Он опять растерялся:

— Э, сама в жизни! Я не то — я хотел — здорова?

— Да.

— Больше не спрашиваю.

— Спасибо.

Дальше разговор пошел о пустяках. Отец шутливо рассказывал о встрече с Жегловым и при этом как-то бравировал молодостью, точно опасался, что именно дочь погонит его со службы за старость. «Человека нельзя тесемкой, не пиджак...» — обмолвился он кстати, хотя тут же прибавил, что на одно свершение его еще хватит, а там — без проволочки на слом, в домну... Сузанна играла ложечкой, не зная, что надо говорить в таком случае, но в эту минуту вернулась мать, молча разделась и прошла на кухню; оба были рады этой внешней причине оборвать невязавшийся разговор.

— Ты ступай — обними — ты женщина, — неловко сказал Ренне, и тотчас через закрытую дверь, несясь откуда-то из преисподней, ворвался глухой трубный рев. — Играет — это его браг, милиционер — тот протяжней — учится. У них одна труба — по очереди.

Сузанна засучила рукава и пошла помочь матери. Она осталась, и это стало вступлением к катастрофе с другой женщиной.

4

Второго натальина ребенка задушила пуповина; когда Жеглов вернулся, акушерка собиралась уходить, а Наталья задичалыми глазами смотрела в потолок. Вскоре приехал муж и вел себя на этот раз чутко и разумно. Жеглов покинул их в надежде, что теперь-то все и склеится; он ездил часто в эту пору, и Увадьев неестественно шутил, что тот совсем отобьет у него жену. Год прошел в безмолвии и неписанном мире. Постепенно Наталья втянулась в работу, которую ей подыскал Жеглов, — неверная отсрочка несчастья, готового ввергнуться в неблагополучный дом. Близ этого времени Наталья часто встречалась с одной из бывших подруг, мужа которой по профсоюзной линии также перекинули в центр. Полная противоположность Наталье, она была пышна, порывиста, и рябинка давней оспы над бровью придавала ей особую неукрощенную задорность. По старой дружбе она доверяла Наталье семейные тайны, краснела и тотчас хохотала от преизбытка здоровья и сил.

— Мужики-то... — смешливо призналась она, наклонясь поправить подвязку, — совсем с ума повскакали мужики. Мой-то вчера обиделся: зачем я панталон кружевных не ношу... — Кровь прилила к ее запотевшему лицу, выпуклые глаза сверкали, и вся она обольщала уже одним своим неиссякаемым здоровьем. — Вот и ты! Как у тебя чулки сидят... ровно кожура какая складчатая.

Намек подруги и надоумил Наталью овладеть мужем с другой стороны. В тот же день она случайно встретила на лестнице Сузанну и обострившимся чутьем женщины, которую бросают, узнала в ней ту самую, кого уже устала ждать. Она понравилась Наталье своей опрятной простотой, разбавленной легким пренебрежением к ступенькам,

по которым поднималась. Невольно она попыталась подражать, в одежде ее появилась тщательность, и Жеглов близоруко подмигивал ей в знак того, что ему-то хорошо известны тайные пружины подобных превращений. Не удавалась, однако, простота, точно не было у ней заслуженного права на это, и тогда благоразумие оставило ее. Как-то, приехав в неусловленный день, Жеглов уже не улыбался; виновато поправляя пенсне, он взирал на ее обсыпанное пудрой лицо и грубо подрисованные губы, — тяжеловесные орудия любовной осады.

— Вытри, Наташенька... будь умница, вытри, — и сам делал движенья, как бы собираясь помочь ей в этом. — Прямо бутон какой-то!

— Бывают бутоны, не распускаясь, вянут... — оскорбленно сказала та.

Ей плакать хотелось, но она сдержалась, была раздражительна весь вечер, и Жеглов решил оставить ее на время в покое. Мысленно он торопил приход ее вольного одиночества, в котором она отыщет себе посильную дорогу. Вдобавок дела сложились так, что целых два месяца он не имел минуты навестить друга. А жизнь с мужем текла под знаком разрыва. Наталья рядилась, на службе посмеивались, а Увадьев недружелюбно наблюдал душевные судороги жены. Уже перестал он носить домой размякшие в карманном тепле шоколадки; обстоятельства понуждали целиком впрячься в потемкинский хомут, и у него краснели глаза, когда он заговаривал о работе. В большинстве это были мелочи и потому втрое требовали усилий. Надо было иметь особую веру, чтоб не упасть на этом первом перегоне, и он имел ее, о чем не сознался бы и брату. Где-то там, на сияющем рубеже, под радугами завоеванного будущего, он видел девочку, этот грубый солдат, ее звали Катей, ей было не больше десяти. Для нее и для ее счастья он шел на бой и муку, заставляя мучиться все вокруг себя. Она еще не родилась, но она не могла не притти, так как для нее уже положены были беспримерные в прошлом жертвы. Наталья не знала, она еще не забыла шоколадок и, решаясь вызвать мужа на разговор, сделала это с бестактностью покидаемой.

— Сколько ей лет?

Он вздрогнул и наморщил лоб.

— Кому?

— Ну, этой, твоей.

Его раздражал напряженный смех жены; он ответил, только чтобы она перестала смеяться.

— Двадцать шесть, восемь... я не знаю. — Вдруг он вскочил и цепко схватил ее за руки. «Чего ты ждешь от меня? Освободи меня сама, сама...» — хотел он сказать, но принюхался и от удивления потерял мысль намека. — Что это?

— Это... духи.

— Нет, чем это пахнет?

— Они называются... называются *испанская кожа*.

Увадьев уперся взглядом себе в ладонь:

— Да, я раз в барской усадьбе ночевал на продразверстке. Вместительный такой, двухспальный, лоснился... диван. Помнится, диван пахнул так же!

До нее не дошло предостереженье. Решаясь на последнее, она умножила заботы и радовалась, что не едет старый друг. Короткие платья подчеркивали детскую нескладность фигуры. Непосвященная в магию косметических превращений, она продолжала уродовать себя, и лишь глаза выдавали ее великий испуг. Нищая барыня, сожительница Варвары, всучила ей кольцо с толстым камнем, похожим на плевок. Маникюрша обучала ее таинствам высшего света; муж ее, парикмахер, также принял участие в заметавшейся женщине. Кроме живых, ему доводилось причесывать самых видных покойников столицы; он имел опыт и требовал доверия; благородство души он доказывал презрением к большевикам.

— Ой, никак ты меня под бобрика стрижешь? — не узнавая себя, спрашивала Наталья палача своего.

— Что вы! И вообще, бобрик — это очень вредно. Возьмите, к примеру, гвоздь в стене и начните его расшатывать. Явно, волос обречен погибнуть, откуда плешь и даже хуже. Но и тогда не следует впадать в транс! Конкретно, за границей, где социализму, промежду прочим, не строют, на плешивых делают тонкую восковую наклейку сроком на три года, а в нее насаждают волосики электрической машинкой. И вот опять хоть в танец!..

Он и насоветовал попробовать особую краску для волос, изобретенную его зятем, безработным химиком. Состав, по его словам, отличался необычайной прочностью и глубиной колорита. Следовало лишь протереть волосы

мазью и, просидев часа четыре, ополоснуть ее приложенной микстурой, разболтанной в кипятке. Наталья заколебалась, но женщина в кожаном пальто и простой мужской шляпе уже появилась на увадьевских горизонтах. В самом ее положении, не меньшая чем в надменной ее красоте, таилась угроза. Сузанна служила в том же тресте, они встречались по службе и говорили пока только о комбинате, уже поглотившем чувства и волю Увадьева. Тогда Наталье захотелось стать такой же рыжей, как Сузанна... нет, рыжее и прекраснее ее! — Химик ютился на окраине. Возможно, на стихийной бороде своей он и пробовал свои смеси. На примусе кипела ароматическая пакость. В тощем аквариуме с лиловой водой сумасшедше носился карась: его красил сынишка изобретателя.

— Вам для волос или домашнего платья? — зловеще спросил хозяин.

...Задолго до сумерек она заперлась в спальне и достала из шкафчика припрятанные снадобья. Видно, они плохой имели сбыт: изобретатель не скупился, на три рубля товару хватило бы на целую семью уродов. Намазав голову, Наталья напевала, ходила по комнате и три часа просидела у окна, за которым взволнованно угасал летний день. Доносился гул площадного радио, и задиристо кричали газетчики. Краски блекли, все становилось серее и горбатее, но один листок на бульварном дереве внизу еще сверкал крутым закатным глянцем. В сплошной стене забот и страхов она отыскала крохотную щелочку и, заглянув, удивилась: вопреки ее горю, мир продолжал великолепно быть. Спеша преобразиться до возвращения мужа, она принесла из кухни кипяток и закрыла окна занавеской, словно кто-то снаружи мог дотянуться до ее третьего этажа!

Содержимое бутылки гибкими, красноватыми кольцами распространялось по воде; пряталась колдовская сила в этой волшебной жидкости, доставлявшей красоту. Когда за стеной проходил трамвай, вода рябилась и таз дребезжал. Быстро смочив волосы, Наталья тискала их руками, лишь бы скорее впитали животворящее, щекотное тепло. Почтальон долго звонил у двери и, не дозвонясь, ушел. Торопливыми пригоршнями Наталья плескала себе на затылок, где еще оставалось несмоченное место; ей даже не посрамления Сузанны хотелось, а только скромного

равенства, допускающего борьбу. Вода стыла и темнела, мазь все труднее сходила с волос, и вдруг, точно хлестнуло по глазам, вспомнилось, что бутыль была рассчитана на два приема. Жирная, слипшаяся прядь, свисавшая на лоб, показалась ей ядовитого зеленого оттенка, переходящего в ту самую лиловость, в которой запомнился ей гиблый карась. Страшась обступивших ее лиловых пятен, она ринулась к зеркалу, но задела по дороге шнур, протянутый из угла, и лампа, точно взорвавшись, с мелким звоном метнулась ей под ноги. Мгновение она стояла с закушенными губами и помраченным сердцем: что-то стремглав падало в ней и все не могло достигнуть дна.

Наощупь и вздрагивая, когда хрустел осколок под ногой, она добралась до кровати и засунула голову между подушек. Время шло до великодушия медленно, а она все лежала, все слышала тоненький взрыд стекла. Вдруг она поняла по шагам, что вернулся муж.

Он был не один, и спутник, вешая пальто, оборвал вешалку. Увадьев пил воду из графина, но ему нехватило, и он ходил на кухню... Так по звукам Наталья читала все, что происходило за запертой дверью.

— ...трудностей не боюсь, — говорил Увадьев, продолжая начатый раньше разговор. — Я согласен и столы в канцеляриях переставлять и тарифицировать машинисток: я принимаю рабочие будни. Но преодолевать на каждом шагу апатию и глупость — это невыносимо. И потом: без восторга, без восторга делают! Эта дубина собиралась прибавить им по двести на рыло... получается девять тысяч, почти десять вагонов хлеба. А потом опять умильно подмигивать мужику? Я его к чорту погоню... — Внезапно, сдержась на резком слове, он заметил необычную тишину квартиры. — Наталья! — позвал он тихо. — Наташа, ты дома?

Оцепенение и стыд мешали ей крикнуть. Мазь сохла, волосы становились жестки и, казалось, даже на ощупь зелены. Спутник Увадьева встал со стула, и Наталья смятенно догадалась, что это был Жеглов — он всегда так шаркал, затирая пятнышки на паркете, когда бывал озабочен. Муж подергал дверь, постучался, окрикнул еще раз и нерешительно отошел.

— Ну... кажется, плохо дело! — Он выждал минутный срок, потребный, чтоб свыкнуться с внезапной догадкой.—

Слушай, там на кухне косарь лежит для угля... принеси сюда! — Но, странно, он не торопился; ему нужно было, чтоб именно Жеглов долго и безуспешно разыскивал косарь на кухне.

— Врача надо... внизу вывеска есть! — голос Жеглова срывался и звенел.

— Э, он же зубной!.. косарь надо, вскрыть. У меня там револьвер в столе, чорт. — Он сам побежал за косарем и, вернувшись, с разбегу всадил в дверь свое нетерпеливое железо. — Наталья, ты здесь? — в последний раз, почти угрожающе крикнул муж.

Дверь хрустела и щепилась; гнулся косарь, и ругался муж, а Наталья молчала в стыде и ужасе перед тем, что произойдет через минуту. Она была жива, и в этом заключался единственный смысл ее позора. Мир уже примирился с ее концом, и ничто, даже давешний листок на бульварном тополе, не поколебалось. Потом она вспомнила раскрытое окно, ей захотелось исправить упущенье, но в то же мгновенье люди ворвались к ней.

— Свет, лампу давай! — крикнул Увадьев, остановленный темнотой и как бы боясь наступить на что-то, лежащее поперек.

Жеглов поспешно помогал ему; они включили свет, в лицах их одинаково отразились смущение и обида. Первым поборол себя Увадьев: подойдя к сидящей с закрытыми глазами жене, он обмахнул рукавом испарину с лица:

— Модный цвет... пошибче-то не нашла колеру? — И весь рот его поехал куда-то в сторону.

Его оттолкнул Жеглов:

— Ступай... ступай, в пивной посиди! — шепнул он, не упрекая, потому что и не за что было упрекать. — Там раков привезли, ступай...

Муж ушел, а она все еще дрожала, не столько спасенная от смерти, сколько пробужденная от сна. Оба не говорили ни о чем. Потом Наталья робко коснулась волос, которые почти кололи пальцы, и виновато взглянула на Жеглова.

— Посмотри, Щегол, какая стала... зеленая, как лужайка. Спина очень болит!

На другой день, заехав к вечеру на машине, Жеглов перевез ее к своей дальней сестре, обладавшей спасительным качеством не любопытствовать ни о чем. Все

натальины вещи уместились в той самой плетеной корзинке, которую вывезла с фабрики шесть лет назад. По лестнице она спускалась бегом, чувствуя на спине провожающий глаз Увадьева. Машина загудела, и Увадьев испытал кратковременное облегченье: ему порядком надоели и распутный ее шелк, и крашеные ногти, и лицо ее, застывшее в ожиданье ласки, и глаза, постоянно упрекавшие. Сразу потянуло к работе, он присел к столу, но работа не ладилась; в сосредоточенном озлоблении он покосился на раскрошенную дверь жены. Он пошел туда; цветные тряпки, раскиданные по полу, напоминали краски на палитре. В зеркале отразилось его исхудавшее и оттого еще более скуластое лицо; в те дни обнаружилась возможность, что комбинат станут строить в другой губернии, и Увадьеву целыми днями приходилось расхлебывать эту бюрократическую кашу. «Мордаст, мордаст, — подумал он, тыча себя пальцем в щеку. — И чего во мне Наталья нашла!»

Он распахнул шкафчик; за непочатыми коробками с тальком, флаконами духов, всякими лаками, необходимыми женщине, которая уже не пленяет, таилась пачка его фронтовых писем. Разорвав нитку, он развернул наугад одно из них: написанное зевотным стилем, с писарскими завитушками, оно содержало сведения о соседях по землянке да еще краткие распоряжения по хозяйству. Судя по дате, то было горячее время организации подпольного комитета; военные суды учащались, захлестывала революция, но ничем не отразилось это в вынужденных строках письма. Не испытывая раскаянья, он швырнул письма вместе с пузырьками в чемодан, намереваясь завтра же отослать все это Наталье; догадка, что Наталья нарочно оставила эти улики своего вчерашнего дня, не пришла ему в разум... Опять не удалась попытка усесться за стол, и вдруг он понял с негодованием, что весь вечер, с самого отъезда жены, он думает об одной Сузанне.

...так пристает иногда назойливая мелодия. Он сидел в ярости, подперев подбородок кулаком, а вещи размещались наново, комнаты преображались, а воображенье насильно примеряло оставленные платья на Сузанну; ему и в голову не приходило, что женщины, подобные ей, не любят простыней своих предшественниц, его немножко сердило как будто, что женщины бывают разного роста и сложения. Все, кроме предстоящего строительства, мни-

лось ему в крайне упрощенном виде, и самая любовь была ему лишь пищей, которая утроит его силы на завтрашнем его пути. Два часа спустя он ненавидел Сузанну, потому что уже владел ею до пресыщения, его бесил этот спокойный покатый лоб, яркие ее волосы, в которых она принесет к нему бедствия и порабощенье. Приди она теперь, он выгнал бы ее, но она не шла, точно знала. Машинально тыча пальцем в розовую мазь, торчащую на столе, он ждал, и вдруг резкий, — точно кто-то спешил ворваться, — звонок наполнил опустелую квартиру: должно быть, Сузанна приняла его безгласный вызов. Смахнув платком пахучий язычок с пальца, он угрожающе пошел к двери.

Она стояла за дверью, дыша шумно, как в одышке. Он тихо окликнул ее и сперва не узнал голоса, властного и хриповатого чуть-чуть.

— ...кто-кто! Ангел пришел комиссарскую душу вынáть, — загремела гостья, с ветром и шумом вваливаясь в переднюю; Увадьев с удовольствием узнал мать и засмеялся. — На, подержи, нечего скалиться, тут стаканы. Не разбей, убью!

Варвара машисто распутывала платок, раздевалась, и что-то было в ее кратких взорах немилостивое, воинственное. Она-то уж не боялась, что ее погонят: всюду, куда бывала ей нужда войти, она входила полновластной хозяйкой. Крупные, такие же ласты, как у сына, руки ее долго не умели разомкнуть какого-то крючка; наконец она рванула и оторвала напрочь.

— Во, и крючки-то советские пошли, хочь зубами отмыкай! Давай сюда стакан, байбак. Ну, сажай меня на свои диваны, пои чаем...

— Дивана-то как раз и нет у меня. Все собираюсь купить, — шутил сын, идя позади.

Ему нравилась эта могучая баба, приспособленная рожать много и родившая только одного его; по душе ему был ее неуживчивый характер, перед которым все заискивали, ее широкий торс, посаженный на огромные ноги и пребывавший в постоянном движении... Воистину он любил эти громоздкие, почти триумфальные ворота, через которые вступил в мир.

— Чего у тебя свет везде горит, денег много накомиссарил? — Своею волей она привернула электричество в передней и, войдя за тем же делом в спальню, сразу

приметила отсутствие Натальи. — Комиссарша-то на бал поехала? Аль в оперу, гигагошки послушать? Вам теперь всюду ход...

— А тебе, мать, загорожено?

— Лакейкой вашей быть не желаю: дурья башка, да своя!

Увадьев поморщился сквозь смех:

— Ну, завела музыку, мать!

— Нет, уж кончила... рази экой пилой тебя перепилишь.

— Вот ты все бранишь нас, мать, а случись беда — с нами пойдешь. И барабан впереди понесешь, мать. Такие бывали, во французской революции бывали. Я тебя знаю...

Застигнутая врасплох, она минуту смущенному предавалась негодованию:

— Дурак, — просто сказала она, — в дуру пошел. Наталья-то в баню, что ль, ушла?

— Уехала.

— К своим, что ли? — Она знала, что все родные Натальи давно перемерли. — Поди, и покойники-то в экий час спят. Чего ты ее одну отпускаешь!

— Она, мать, совсем от меня уехала.

— Развелись? — всплеснула та руками, готовясь напуститься именно на то, что променял ее, своей рабочей стати, на какую-нибудь вертихвостку, но приметила вздувшиеся ноздри сына и лишь пыхтела, гневливо постукивая пальцем в стол. — На свою прихоть освободили баб: выдохлась — и с рельс долой, иди в свою свободу, матушка. Ну, наше с тобой дело короткое. Деньги выкладай! — прикрикнула она и поглядела искоса, достаточно ли напугала.

— ...какие деньги, мать?

— А вот, что на тебя потратила. Сколько я на тебя покидала, думала — прок выйдет. — Варвара вынула из-за пазухи толстый лист конторской бумаги, исписанный сверху донизу, и расстелила перед сыном. — На, щенок. От своего не отступлюсь, всего тебя нонче оберу!

— Да ты возьми, сколько тебе надо. Я как раз жалованье вчера...

— Мне комиссарских не надо, кровные подай... Деньги! Да я лучше десяток яблок куплю да сяду на

Смоленском торговать, под дождь и стужу сяду. В кухарки пойду, я котлеты умею с соусом... — Она нахмурилась, когда сын, взглянув на итог, молча полез за деньгами; варварин счет простирался до тридцати рублей. — Чего же ты деньгами-то кидаешься? Ты торгуйся, может, и уступлю... да проверь, может, я лишку запросила. Вот, штаны тебе покупала — рупь. Картуз с козыречком под лак — восемь гривен. Пальтишко еще покупала, пальтишко не в счет, все-таки мать, нельзя...

— Картуз-то, кажется, дороже был! Сама себя обсчитываешь.

— Скалься, не дармовые. Поворот будет — и меня-то вместе с вами прихватят: не рожай, скажут, эких мозгачей. Мне и то во сне даве: будто третий Александр сошел с памятника, чугун-то скинул да и почал всех нагайками усмирять.

— Ну, а ты?

— Он меня, а я его, неживого-то. Хлобыщемся, а народ смеется... — Не спеша, завернув в платок, она сунула деньги куда-то в свою вместительную пазуху. — Может, последние отдал? Ты попроси, я отдам, у меня есть... я ведь только, чтоб сердце отвести.

— Мне хватит, да и тебе-то куда!

— Букет присылай, замуж выхожу! — победительно выпалила Варвара и радовалась произведенному впечатлению.

— Шутишь, Варвара!

— Уж и платье заказано, маркизету восемь метров пошло... Чего уставился! Думал — хоронить, а она на свадьбу звать пришла? Вот назло тебе и выйду, и детей рожать стану. Рожать хочу.

— А кто он, кавалер-то твой?

Ей нравилось потрясать свое невозмутимое детище.

— Нэпман... картинами на рынке торгует, в красках. Вожди, писатели, картинки тоже с арбузами... У меня стрелка рядом, вот и сморгались. Исправный, неунывный такой мужик!

Увадьеву представилось, как в дождливую ночь Варвара сидит на своем железном табурете, и нечто, подобное жалости, окаменило ему взгляд. Она была уже немолода, Варвара, ей не хотелось кончать жизнь в брезентовом пальто, с железной клюшкой в руках. В конце

концов он каждому дозволял добиваться своего счастьишка, но сердился, когда требовали его содействия или одобрения.

— Ну, действуй, мать, как знаешь.

В передней она обернулась к нему:

— Вань, — робко позвала она, ища в темноте его руку. — Аль уж не выходить? Старая я... тоскую, мысль заела, отец все снится... Хоть удачи-то пожелай!

Сын пожал плечами, а руку спрятал в карман:

— Нет, что же!.. нет вреда — нет и греха.

Потянулась недоговоренная какая-то минута. Увадьев включил свет. Варвара выпрямилась и рванулась в дверь: она всегда так налетала и исчезала, нежданно.

— Верни Наталку, щенок! Плакать об Наталке станешь... — крикнула она уже с лестничной площадки.

5

Впопыхах она забыла стаканы, купленные для свадебного торжества. Он встал поздно, голова была тяжка, что-то болезненно переливалось в ней; ему снилась *мать*... и еще будто он сам с осуждением подглядывает за собою. Утром, едучи в трест, он завез матери ее стеклянное сокровище. Варвара ютилась в подвале, разделенном перегородкой; в соседстве с ней жила кашляющая барыня, торговавшая вразнос контрабандными чулками и сливочной помадкой, — отчего все так ее и звали «сладкая барыня». Увадьев застал мать за делом: стоя на табурете, она навешивала на петли фанерную дверь; она заранее стала готовиться к свадебной ночи. Дверь не налезала, и Варвара с досады бранилась с сожительницей, которая с мокрым полотенцем на голове лежала тут же на койке.

— Наука-наука... — гремела Варвара, и табурет скрипуче покачивался под нею. — Не бубни мне про свою науку. Все у вас отняли, погоди, и науку отымем. Эва, обе руки заняты, даже во рте, вишь, гвозди держу... не до науки мне счас!

Заметив сына, она круто оборвала и заносчиво отвернулась.

— Вот, стаканы завез. Куда положить-то?

— Сунь на комод. Побил хоть один — заплотишь, до нитки всего оберу! — Она стыдилась сына за вчерашнюю свою слабость.

В комнате такая грибная стояла сырость, что только несокрушимое варварино здоровье могло противостоять ей. В заплеванном окне ходили ноги, в сапогах и босые; босые были и более шустрые. В обрезанной бутылке красовался лохматый фиолетовый букет. Жениха не было дома.

— Где ж твой-то? Я собирался заодно и с будущим папашей познакомиться.

— Эва, кнут собаку ищет! Ну-ка, подержи дверь. Не жди, угощать не слезу, не до тебя мне.

— Да я поеду. У тебя часы отстают, мать, ты подведи. Ну, резвись тут, резвись.

Она догнала его в коридоре, когда он уже выбирался наверх к свету.

— Вань... — и опять шарила в потемках его руки, и он не отнял — ты... уж разорись, пришли букетик-то к свадьбе. Перед людьми-то хочется... да и барыне нос утру. Нежненьких купи, подешевше да побольше. Я тебе отдам потом...

— Ладно, ладно, невеста! — деревянно согласился Увадьев и ушел.

...И конечно забыл: всякое забвенье давалось ему до зависти просто. Но месяц спустя, когда с Фаворовым и Бураго он отправлялся в первую разведку на Соть, он вдруг вспомнил про этот день, и ему захотелось сгладить чем-нибудь всегдашнюю невнимательность к матери. Оставив удивленных спутников дожидаться без него заказанного обеда, он вышел из вокзального буфета и взял такси. По дороге он заскользнул в кондитерскую и купил самый большой торт из всех, какие увядали в витрине; на картонке он приписал чернильным карандашом: «Поздравляю, мать, и желаю тебе вынырнуть из своего счастья так же поспешно, как и...» Сломался карандаш, и пожелание осталось недосказанным. Он махнул шоферу, и машина помчалась на пыльную столичную окраину.

Был вечер и праздник; в улицах прогуливался рабочий люд. Машина остервенело рычала, и все видели потного с неподвижным лицом человека, обхватившего руками огромную картонку. Звонили ко всенощной; вычурная колокольня, расцвеченная закатом, высилась над

окраиной, как выдумка сумасшедшего кондитера. Оставив автомобиль на углу, Увадьев пешком добрался до подвального окна. Там стояла толпа зевак; они слушали писк гитары и завистливо судили чужое веселье. Юркий малец с расцарапанным носом вызвался отнести увадьевский подарок.

— Молодым-то гробик бы двуспальный подарить... заместо пирожка,— сказал парень позади. Увадьев грузно повернулся и так решительно пожевал его сузившимися глазами, что парень отступил за тетку с прыщавым младенцем. Но и тетка попятилась за старичка в очках, который молча опустил глаза и кашлянул с достоинством. — Видите, и ребеночек заплакал! — произнес он потом, с негодованием отходя.

Увадьев глядел в окно, ища мать.

Пунцовая от духоты, в сиреневом маркизетовом платье, еще более безобразившем ее дородную фигуру, она сидела за столом, в стороне от общего кавардака. Перед ней стояла полубутылка дешевого муската; изредка, как бы нехотя, она отхлебывала из стакана этот противный жидкий мармелад и машинально поправляла то складку платья, то несусветный пион, торчавший на плече; такая же свадебная отметина имелась и у жениха. Сухопарый этот человечишка распоряжался общим весельем и, небрежно распаковывая торт, одновременно заигрывал с соседкой, подружкой невесты; при этом она хохотала с каким-то особенным взрыдом, точно ее перепиливали сахарной пилой и на спине ее, выгнутой, как горб, от многолетнего сиденья в ларьке, вспухали два непостижимых волдыря. Гитара растеряла половину струн, а человечишка, беспечно держа увадьевский торт на распяленных пальцах, приказывал еще и еще наддать жару; торт опасно покачивался, и Увадьев почувствовал, как лицо его стала заливать жаркая краснота.

— Вот женюсь... сколько разов сбирался, да все приятели отбивали. Только теперь уж ни мур-мур!.. Не забыл мамаши наш сановник, не меньше восьми рублей за пирог, а сам не приехал, и жаль, а то бы мы и почет ему выдумали... обожаю сановников! Я почет знаю, потому у нас все по духовной части: один брат гробовщик, другой, извиняюсь, дьякон, а я вот картинки продаю...— Вся его сумбурная трескотня заняла не больше полминуты.

— Балагур ты, Чорт Ильич, — воодушевленно кричали из угла, — убить тебя мало!

Вдруг торт решительно качнулся и звучно шмякнулся на пол: вероятней всего, что человечишка с пионом угадывал за окном нелюбимого пасынка.

— Эх, так и не удалось отпробовать сановной сладости! — с поддельной грустью возгласил он, и все вокруг заликовало от его жестокой расправы. В добавление всему он вынул из себя стеклянный глаз и протирал его; это было страшно, и Увадьев не умел побороть в себе ужасного любопытства к этой мерзости. — Эй, Дарьюшка, подбери ошметки в бадейку!

Одна только мать не обратила внимания на этот скандальный вызов: она глядела сурово, ей становилось душно среди подпольного этого сброда и снова хотелось на железный табурет, в одиночество и непогоду. «Мать, какими чарами околдовал он тебя, большую и глупую муху? — просилось из Увадьева. — Эй, плюнь на нэпмана, поедем со мной на Соть!» Он верил в целительные свойства дебри, где надо было ежедневно драться, чтобы уцелеть... он не крикнул, потому что каждый человек обязан иметь силу пережить свое счастье до конца. Выбившись из толпы, он сел в машину и пообещал шоферу прибавить за скорость. Рванулась пыль, мелькнуло розовое платье, хлестнула воздух гармонь, рассыпался рваный крик галок над церковным двором; мать осталась где-то в прошлом, вместе с Натальей, позади... Он поспел лишь к отходу поезда, спутники сидели уже в вагоне.

Соть, пожалуй, и оправдала его надежды; сердечные раны — если только личные обстоятельства могли нанести ему такое ранение — заживали у него быстрее, чем порез на руке. На катере они проехали всю Соть, от Нерчемской фабрички до перекрестия с мшистой и коряжистой Енгой; Увадьеву необходимо было побывать на Нерчьме, где завелась какая-то склока. Вперемежку с жидкими, еще неснятыми хлебами тянулись леса, щедро политые осенним багрецом. После перехода хвойной границы леса стали толпиться у самых вод, образуя теснины и засоряя проходы; в воде гуляла непуганая рыба, а дебрь не чувствовала занесенного над нею топора. Правитель волости Лукинич был в отъезде, а заместитель его ни словом не проговорился о ските: наезжали и

прежде, наедут и отъедут, а со скитом да с богом век жить...

Тотчас по возвращении из поездки началась обычная в начале большого дела суетня. На Соть поехали отряды техников и геодезистов, заключались договоры на поставку материалов, составлялись штаты строителей. В развитие готовых эскизов Сотьстроя составлялся, наконец, рабочий проект, шла обширная переписка, деловая беготня, обсуждался список заказов, которые инженер Бураго должен был увезти с собой в Америку; тянулись бесконечные заседания экспертных комиссий, писались доклады в высокие этажи, потому что новая шестерня вставлялась в хозяйственный механизм страны. Между трестовскими инженерами шла тайная грызня, всех обольщал небывалый для прежней России размах предприятия; Жеглов по врожденной склонности мирил их, а Увадьев, напротив, стравливал, высматривая полезных для дела людей, и зарабатывал всеобщую ненависть. Он не огорчался, почитая именно ненависть за магнитное, так сказать, поле всякой силы. Потемкин все метался в своей орбите: портфель его разбухал с тою же угрожающей быстротой, с какою тощал он сам. В стране жили разные люди в эти годы, и оттого его называли всяко: энтузиастом, говоруном от индустриализации, растратчиком нищей казны республики, патриотом мужицкого пошехонья, партизаном наших будней, Микулой наизнанку, болячкой, Дон-Кихотом, вибрионом социализма, героем, бревном, чортом и даже, наконец, Хеопсом, намекая, должно быть, на печальную хеопсову судьбу. Клички эти, разумеется, определяли более самих выдумщиков, чем Потемкина, который только совмещал в себе гражданина эпохи и сына своего класса.

Вдруг стало известно, что во главе Сотьстроя назначат Потемкина, а главным инженером — Бураго. Это случилось накануне самого отъезда Бураго за границу: лесные биржи предположено было оборудовать стаккерными установками, первыми в Европе. В этот день шло обсуждение бумажных машин; пытаясь перешагнуть российские коэфициенты, Увадьев отстаивал новейшие, восьмиметровые, с огромными скоростями машины, которые в ту пору и за границей-то испытывались пока без особого успеха. Возражавший ему Ренне утверждал, что

высокие скорости не подходят к нашим условиям, ибо русский бумажник не сумеет воспользоваться ими по меньшей мере два года, и затраченный капитал не окупится. Поднятый в знаменательном этом столкновении вопрос перекинулся сам собою на количество машин и, следовательно, на возможности сырьевой базы.

— Вы как учитываете годовую грузоподъемность Соленги? — мельком спросил председатель совещания.

Потемкин привстал, и сразу на щеках его возгорелись недобрые румянцы; родная его Соленга держала последний экзамен:

— Тысяч триста кубических сажен подымет. Так у меня и помечено... — он мучительно потер себе лоб...— на странице сто семидесятой, посмотрите!

— А по обследованию она и двести не подымет? Десять процентов баланса вам придется тащить по Нерчьме и против течения... иначе у вас на третью машину нехватит!

Потемкин заволновался, затеребил зеленое сукно стола: эти очкастые, равнодушные чудаки не верили в его Соленгу!

— ...грузоподъемность, все модные слова, товарищи! — ударил он себя в грудь, вызывая вокруг улыбку. — Я же сам с детства на сплаве... и отец мой, и дед. Мы весь естественный прирост купцам сплавляли: сколько надо, столько и грузи! Да вот вы у Фаворова спросите, он сам с Нерчьмы...

Он обернулся к свидетелю, но тот спал, положив голову на руки и как бы углубясь в созерцанье берегового профиля Соти; сказывались три бессонных ночи, потраченных на доклад для научно-технического совета. Он проснулся, едва назвали его имя, и один лишь Бураго заметил его воспаленные в опухшем лице глаза.

...домой им было по дороге; Увадьев подвез их на трестовской машине.

— Заснул, герой? — спросил Бураго.

— Устал. Кажется, упадешь и проспишь десятилетие.

Морозная пыль колола уши, наполняя звонким ощущеньем зимы и ветра.

— Все устали... вы слышите, Увадьев, как *они* устали?

Увадьев выкинул за борт машины окурок; он пытался уверить себя, что это последняя папироса, которую он выкурил в жизни.

— У нас вообще любят скулить о прошлом, потому что безвольны к будущему. Ты слушай не стоны, а цифры! Купи билет и поезжай по стране; ты увидишь новые избы, новые заводы, новых людей... и притом великолепную рождаемость! — Он сделал нетерпеливый жест рукой, точно кто-то смел сомневаться в его статистике. — Кстати, это дядюшки, что ль, твоего фабричка на Нерчьме? Чего краснеешь, не сам выбирал, а судьба навязала!.. Да, может быть, мы спешим сменить старое поколенье другим, которое не заражено прошлым... но в наш век надо мыслить крупно: десятками заводов, тысячами гектаров, миллионами людей... не мельчить творческой мысли.

— Словом, не гляди на пирамиды в микроскоп, — шутливо вставил Бураго. — Чудно: до революции настоящее у нас определялось прошлым, теперь его определяют будущим, а его надо определять самим собою.

— Умей быть другом нам, Бураго... В дружбе мы подозрительны и осторожны, но сумей!

— Ха, мне нравится такая угрожающая постановка вопроса! Вы давеча напали на Ренне и произнесли очень нехорошие слова... помните? А ведь четыреста двадцать метров в минуту это действительно не для нас, у которых Азия за плечами. Вы самоучка, Увадьев, и, кроме того, вам нужна бумага; оттого вы презираете чужой опыт. А разве тот друг, кто повторит глупость за вами?

В привычках Увадьева было с маху рубить там, где и без того было тонко.

— Тот, кому может быть хорошо при всяком другом строе, уже враг мне!

В раздражении он не заметил своего промаха и, отвернувшись, глядел по сторонам. Именно на этой площади обычно сиживала мать, сортируя по номерам трамваи. Теперь укутанная в тулуп молодайка сидела тут возле костерка, перебраниваясь с молодым айсором, продавцом всяких специй для обуви. Увадьев нахмурился еще более... Впрочем, едучи на Соть, он даже радовался, что освободился от вчерашних привязанностей; когда же узнал, что Наталья устроилась на работу, то и совсем успокоился. Той, однако, труднее давались разлуки, и в день отъезда на Соть она тайно поехала на вокзал в ревнивой потребности увидеть их вместе. Ее надежда оправ-

далась лишь наполовину; Фаворов оживленно болтал с Сузанной, а Увадьев отстал, чтоб купить в буфете карамелек. Он заметил Наталью и неуклюже кивнул ей, но она не ответила. До самого отхода поезда она бесцельно сидела в буфете, размешивая ложечкой остылый чай.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

С начала мая, едва прошли льды и по взволнованным лугам побежали одуванчики, небывалая судьба постигла Соть. Не пела в ту весну луговая птица и пустовали на Макарихе скворешни; девки робели хороводы играть, а мужики заранее лупили баб, чтоб не блудовали с пришлыми людьми. И, наконец, в самый канун Егорья ярославский пастух Игнат Оньков, великий знаток скотской души и любитель природы, такую цену за лето запросил, что мужики только окнули хором, не вселился ли в Игната анчук. В довершение несообразности пошли косноязычные всякие толки, будто на опушку близ местности Тепаки выходил коряввенький старичок, луня седей и рыся звероватей, нюхал веселый щепяной воздух, хмурился... И тут будто встретился ему московский комиссар Увадьев, которому щеку чирьем разнесло. И якобы, пробуя напугом взять, сказал старичок: «Я тебя, дескать, и не так еще тяпну, во всю харю прыщ насажу: топором не вырубить. Все дороги, окаянные, мне попортите!» В ту пору как раз тащили локомобиль на Соть. А тот ему будто: «У вас тут и портить нечего, по дорогам-то хоть лес сплавляй. Но если ты такой буявый крепыш и разума не лишен и хочешь принять участие, то поступай ко мне в службу: жалованье по седьмому разряду и койка в бараке с живыми людьми...»

Был ли то и в самом деле Никола, бродяга русской земли и милостивец, или просто тот молодой скитской мужик, которого сманил Увадьев на советскую дорогу, неизвестно. Близ того времени известил бабий телеграф, что один из монахов, ученая голова, сбежал на увадьевское

предприятие, соблазнясь неправедным советским золотом. Врака была явная: Виссарион, в прошлом студент политехникума, принят был всего лишь на должность табельщика при постройке ветки; стремясь испробовать в новом предприятии сотинский люд, Увадьев не побрезговал ради опыта и монахом. Вдобавок, в секретном разговоре по душам, признался перебежчик, что и в скит-то он попал под озорную руку, интересуясь, что из этого получится; теперь же, дескать, когда пробивается Октябрьская поросль по всей стране, любо и ему приложить свои силы к общему делу. Вечером того дня Увадьев хвастался о своем успехе Фаворову, а тот поморщился. «Я инженер, — сказал он, — но скорей в чорта поверю, чем в какой-нибудь от монаха прок...» — «Ну, ты, кажется, и меня самого в подозрительности перещеголял!» — посмеялся Увадьев, втайне считая себя изрядным целителем всяких душевных горбунов.

Сомнительно, чтоб то и был пресловутый Виссарион Буланин, так как за неделю до бегства он себе и бороду сбрил и подыскал более приличную для человека одежду. Оттого-то Лука Сорокаветов, помянутый толковник и гамаюн, и утверждал, что пугал Увадьева не монах, не Никола, а одичалый дух вологодского купца Барулина, погребенного в скиту: он-де и бродит, утеряв место своего упокоения. Болтуны прибавляли также, что взбуженный ото сна, высунулся и увидел — дым идет; ринулся на реку, а оттуда лезут голованы в резиновых фуфайках, водолазы, — он и помер тут вторично, уже накрепко. Правда ли, но впоследствии, когда разрабатывали песчаные карьеры на мысу, нашли землекопы скелет неизвестного происхождения, а при черепе сохранилась обширная русская борода. Толстая медаль с портретом забытого царя провалилась сквозь ребра и лежала на позвонках; ее доставили Увадьеву, и тот постановил сохранить ее для сотинского музея, а покуда прикладывал ею бумаги от ветра. Как бы то ни было, старинный мрак бежал перед лицом наступающей промышленности...

Новые времена заставали врасплох эту честную, нешумную реку; тревожно и ветрено стало на сотинских берегах. Ее прежней славы не ведали пришлые люди; не было им дела ни до всклокоченного купеческого призрака, ни до растерявшегося Николы, чье огромное

резное изображение сохранялось в скитском подвале. Пришлым Соть сулила прежде всего работу и хлеб. Какими-то подземными тропами уже распространилась весть о Сотьстрое; строители собирались во множестве, и Увадьев, опасаясь вначале, что нехватит народу на стройку, выезжал изредка им навстречу, за тринадцать верст, на разъезд... Поезд приходил на рассвете. Они вылезали из вагонов, серые в потемках, и все на одно лицо; шапки на них торчали стоймя, и бороды еще бывали смяты сном. Холод лез к ним за пазухи, они топтались на открытой платформе, поджидая земляков из других вагонов. Иногда вскрикивал жестяным голосом чайник, привязанный вместе с пилою за спину; иногда вскрикивала самая пила. В сосредоточенном молчанье они отправлялись на Макариху, изредка останавливаясь обчистить налипшую на ноги грязь. Ее тут было много, она казалась рудожелтой от примеси глины и розового света зари. В полях уже пробрызнула озимь, а воздух на зорях бывал задорный, баловной, понукавший на дерзость.

Тут шли все те, чьего труда от века не искать было на Руси. Плелись неспешно, сберегая силы, рязанские пильщики да стекольщики; чинно шагали вятские да тверские каменщики и печники, и волос у них под шапками дыбьем, как дым из трубы, стоял от липучей глиняной пыли; шустро, в обгонку других, поспешали смешливые вологодские штукатуры; тащились вполпьяна веселые костромские маляры, и кисти их машисто колыхались над малярным воинством; закоптелые, тяжко двигались смоленские грабари, землекопы тож, с руками и лицами цвета земли; проходили кровельщики, бетонщики, кузнецы... пермяки, вятичи и прочих окружных губерний жители, где непосильно стало крестьянствовать по стародедовским заветам, а новых не было пока. А в хвосте людского потока торжественно, точно плыли, выступали прославленные владимирские плотники, которые, по присловью, и часы починили бы, каб просунулся в часы топор. Их вел седатый бородач, Фаддей Акишин, весь пропахший древяной щепой и тем уж одним знаменитый, что при всякой стройке прежде всего осведомлялся: «А где у вас тут сотир будет?» Строеньица эти он работал во внеурочное время, не требуя мзды, и, сказать правду, *сотиры* выходили у него наславу.

— Откуда, други... эй! — окликнул Увадьев, осаживая коренастую кобыленку свою в придорожный осинник.

— Со Владимира шагам!.. — дружно покричали плотники, а Фаддей деловито выступил вперед и опросил кстати, нет ли нужды и в поденных девках на Соти: торф копать, дорожки посыпать аль, извиняюсь за нескромность, цветы садить? — Так условился он с бабами при отъезде, чтоб ехали по первому письму на Соть всей губернией, доверяя хозяйство на стариков. — Ты мне только мигни, товаришш, мы тебя засыпем девками... Девок у нас тьма, прямо хоть клей из них вари, и девка все круглая, аккуратная, как зерно!

Увадьев мысленно представил себе подобное нашествие и только руками на Фаддея замахал, точно тот и впрямь имел силу обрушить всю губернию на Сотьстрой.

— Куда к чорту... не Вавилон, а завод бумажный воздвигаем!

Что-то еще кричали ему вослед акишинские ребята, но Увадьев не оглядывался... Уж не вмещали строителей временные бараки, — пять, склепанные наспех, из бывалого леса; не вмещали и мужицкие сеновалы. Нанято было свыше двух тысяч рабочих, а поезда ежедневно доставляли по полутораста новых, за которыми грозились притти полчища других. Скоро уж на разъезде и доску приколотили с объявлением, что народу набрано с избытком, а цены на житье высокие, а работы нет. Но еще целую неделю, пока молвой да тайной оказией не прошла о том весть, толпился недовольный люд перед свежесрубленной избой, где помещалось временное управление работ Сотьстроя.

— Прослышали... наехали. Мы и прошло лето под Бурагой работали. Нас однова̀ и судить вместе сбирались! — твердили они и опустошенными глазами взирали на дорогу, по которой напрасно прогоняла их нужда.

Не всегда гладко кончались такие приключения; случалось — кулаки и брань взвивались над толпой, когда инженеры, минуя биржу труда, принимали в первую очередь своих, уже знакомых по другим строительствам; тогда Увадьев привычно говорил речь и, сам по природе насмешливый, пытался закончить посмешнее свои увещанья. Людской поток ослабевал, ждали возвращения Бураго, который все не возвращался, точно зубами дер-

жала его заграница... А пока на тихом берегу Соти наступала заметная суета. Сверху птице показалось бы, что бредовым безумьем охвачен край; птица не знала, что и сумасшествию людскому был заранее начертан план. Жизнь требовала себе хозяев — временно Увадьев с Фаворовым вершили дела Сотьстроя. Ежедневно из Макарихи, куда отныне перенесли телеграф и почту, уходили десятки взволнованных и ругательных депеш; вместо насущного кирпича, инструментов или рабочих чертежей присылали партии асбестита, тюки гудроненной пробки, бочки церезита и даже метлахские плитки, потребность в которых могла явиться не раньше года. Все эти преждевременные сокровища приходилось складывать прямо на земле, прикрывать брезентом от непогоды и сажать поверх человека с дубиной и в тулупе, чтобы не остудился во сне; вскорости деревенские ребятишки строили домики из помянутых плиток. Увадьев кричал, торопил с постройкой складов, а тут еще немытого гравия привезли, а песок оказался с глиной, а цемент пережжен; Сузанна вовсе избегала встречаться с ним в те дни. Злость удесятеряла волю, и с тем большим размахом, щедрее сеятеля на ниве, управление Сотьстроя раскидывало людей...

Сотня плотников и всяких иного ремесла людей сколачивали временный мост на Балуни. Буровые вышки ползали по свежераскорчеванной земле, запуская в почву прямые железные корни. Болотце подступало с севера к самому месту стройки; землекопные артели лущили его, выбирали прель и хворост, бессчетно сыпали скитской целительный песок в развороченную рану. Тотчас же за околицей деревни, где два месяца назад шумела промерзлая хвоя, триста испытанных мастеров рубили рабочие казармы, аптеку, клуб, бани... все, что потребно живому человеку. На солнце они слепили взор, эти непроконопаченные, еще безглазые плоскости срубов. Полтораста других производили разрубку и очистку места общей площадью до ста десятин, расписанных под части будущего комбината. Пятьдесят копошились и мокли на реке: уже двинулся крупный пиловочный лес по Соти. Его гнали молем, россыпью, а у Макарихи ловили, согласно договоров с лесными конторами, вытаскивали по склизам и складывали в штабеля; в зной, когда грозила сорваться

с неба жгучая слепительная капля, далеко неслось их терпкое, суровое благоуханье.

Удвоили число рабочих по прокладке дорог: движение грузов умножилось. Ветка была почти готова, пора было переносить железнодорожный разъезд на двенадцать километров к западу, по линии Вятка — Соленга. Кроме выгод, связанных с сокращением пути, перенос диктовался и счастливой необходимостью итти долиной реки Уртыкая, но управление дороги беспричинно упорствовало: еще владычил над страной медлительный обычай империи.

Потемкин бился в транспортном наркомате за право на жизнь Сотьстроя, а дни шли, и где-то в далеких домнах уже плавился металл, потребный на трубы, мосты, стрелки, крестовины и подвижной состав. Точно предвидя в будущем неизбежные заминки, Увадьев спешил вопреки всем урочным положеньям, и это прежде всего отражалось на казне Сотьстроя. Деньги привозили в кожаных казначейских мешках, и они тотчас проливались, как вода, в непроходимые сотинские грязи. Растоптанная тысячами ног, грязь грозила превратиться в окончательную топь, и даже грунтовая дорога могла истрепаться вконец. Семь троек, дымясь паром и оглашая ревом лес, тащили локомобиль, купленный для временного паросилового хозяйства; ему в особенности трудно дались здешние трясины, этому двадцатитонному левиафану. Брягин, ямщик, требуя на водку при расчете, богородицей клялся, будто дюжину кнутов смочалил за одну эту беспутную неделю.

— ...с самого себя требуешь, дубина! Твое же, детей твоих... — увещевал неотступного возницу Увадьев, успевший прославиться скупостью.

— На дитев у меня хватит, я мужик справный, на все горазд, ничто у меня из рук не валится! — непонятливо усмехался Брягин, помахивая кнутовищем. — А ежели мне собственное дите в бутылке откажет, не дите оно мне, а хуже мачехи!

Локомобиль стоял на катках, весь в грязи и масле; похоже было, что он испытывал смущенье перед такою глухоманью. Мужики, приехавшие на базар в Макариху, ходили вокруг, испытующе постукивали в его заклепанную грудь, дивились с восхищением и угрозой.

— Э, трубок-то что! — не сдержался один, зевая единственно от чувств, охвативших его; дразнили мужиковский глаз и сами просились в самогонный аппарат двухметровые смазочные трубки, опоясавшие стальное тулово локомобиля. — Ишь, гляди, лег к стопам и не дышит.

— Втора революция случится, и придется его вновь развинчивать — грыжу на ем наживешь! — прибавил другой, тоже не без восторга.

Увадьев так и подскочил к нему:

— Ты что тут болтаешь, мухолов?

— Не пужай, заикаться стану, — шутил тот, но пятился от увадьевского взгляда и уже, наверно, каялся в ненарочном признанье. — Мы тут никто, мы постороннее лицо, мы токмо жители.

На другой день издан был приказ о воспрещении базаров в Макарихе, а Увадьев уже сбирался окружить забором построечное место, все сто десятин, но одумался и лишь выставил новых сторожей с дубинами. Походило, будто ждут войны: так умножалась армия на Соти. Приезжали механики, фельдшера, электротехники, приехал, наконец, Бураго, и однажды, когда приспело строить сушильную камеру, корявая баба привезла со станции иностранного инженера; всю дорогу он дико взирал из подводы на зыбучую хлябь этой небывалой трущобы. Иностранец думал, что Россия самая непонятная страна из всех, где ему приводилось устанавливать сушильные камеры. С представлением о скудости и нищете не вязались никак эти сто десятин, по которым дорогу в века прокладывала себе эпоха; привычному страху перед дикостью страны противоречил облик этой самой бабы, которая всю дорогу укрывала домотканным половичком его сверкающие, апельсинного цвета, краги. Перед яминой, куда нырнуть телеге, баба оборачивалась и кротко говорила: «Держись, милай!» — Он скоро научился понимать русскую речь...

Все же, приехав на место, он достал резиновый таз и вытерся одеколоном, невзирая на хозяйского мальчишку, который глазами и носом суеверно впитывал его с полатей. Потом, не стерпев тараканьей духоты, он вышел на крыльцо за свежим воздухом, и тут-то выпал ему приятный случай познакомиться со знаменитым Фаддеем.

Отработав положенное за день, зверствовал как раз Акишин в помянутой отрасли... В этот день моросило с утра, и до вечера отражались в Соти щипаные какие-то, железного цвета, облака, а к вечеру повеселело: лист зазвенел в ветре, и солнце высунулось на часок из-за облачной закраины.

— Very nice, — сказал иностранец, улыбаясь на Фаддея, который бережно, как кружево к невесте, прилаживал резьбу к карнизу своего строеньица.

— Чего-с? — приветливо оживился Фаддей, выбирая гвозди изо рта. — Вот место украшаю... оно бани главней, а без бани и домовой жить в избе не станет. Тут, извиняюсь за нескромность, сидит человек и думает, воспоминает свое естество. И должно ему тут вольготно быть, тогда и мысль к нему легкая приходит. А конфузу в том нет: живое — рази ж оно стыдное?

— Oh, yes, — повторил иностранец, прислушиваясь к таинственному и скороговорчатому щебетанию туземца.

А тот все распространялся, радуясь, что нашел, наконец, молчаливого задушевного собеседника, с которым говори хоть целый век!

— ...и это я своим опытом дошел, что дух тут должен быть сухой, смолистый, древяный. У вас в городе, поди, и древо-те камнем пахнет, а в камне сердца нет. Душа не может в камне жить, нет ей там прислонища. И как мне досталось понять ноне, душа, милый, навсегда уходит из мира, а ейное место заступает разум. Она, бывалча, не смотрит, как бы ускользнуть, вся так и ходит в царапинах, а новый хозяин — он не применяется. Опять же религия с другого конца — извиняюсь за нескромность — чище рубанка ее стругает: не души, а брусья в нас стали, милый вы мой заграничный господин! Знавал я в стары годы хлюста одного, с усиками: душа, говорит, мешает итти в шаг прогрессу нашего времени. Оттого, дескать, к северу и лежит Бело море, а с юга Черненько, а посередь болтается серая мужицкая лужа. Умный, слов нет, и никто с ним говорить не смеет... и мы непрочь, а только боязно: моряна-то, котора внутри-то нас... она цветы жжет, видите ли что! Хитро больно устроено... — Он доверчиво подался вперед, и борода его обжигающе защекотала ухо иностранца: — Солнце, к примеру, ровно овца... утром выгони, к вечеру само прибежит.

А рази я, скажем, Фаддей, гожусь ему в пастухи... какая вещь! Оммана боязно...

Вдруг он оборвал, накинул картуз и побежал к прерванной работе. Стороной шел Бураго, главный инженер; он ежедневно обходил так, дозором, это обширное поле будущих битв. Был то некрупный, но широкий и заметный человек с круто откинутым лбом, над которым дымилась грязноватая проседь; глаза, даже не родня друг другу, сидели совсем по-разному в подбровных ямках: левому дано было повергать в страх, а правый в то же время смешливо щурился и пропадал под мясистым веком... Инженер уже скрылся, а фаддеев молоток все еще твердил что-то суетливо о полной его, фаддеевой, благонадежности. Разочек покосился старик и на иностранца, чтоб не выдавал душевного секрета, но тот уже уходил... Временами он совсем отказывался понимать смысл и судьбы этой пространной географической нелепости, какой представлялась ему Россия, где уживались и треск социального половодья и мудрая, проницательная тишина. На крыше двухэтажного дома стучала вторая смена плотников, крепя стропила; отрывисто сверкали в закате их неторопливые топоры. Где-то, как бы за спиной, пел на высоких грустных нотах девичий хор, а впереди подымались нешелохнутые, тонкие туманцы; пахло свежей земляной раной, о ней и песня. Лишь утром он увидел, как непостоянна эта российская тишина.

Еще только вылезало солнце, закутанное в оранжевую дымку последнего заморозка, а все уже было в движении. В начатом котловане, видные лишь до пояса, возились землекопы, и легкий пар исходил от мокрых спин. Справа, где плотники сплачивали кровли над бетоньерками, неслась звенящая дробь топоров вперемежку с тяжелым дыхом локомобиля. Крича и обвившись веревками, семеро устанавливали телеграфный столб, а четверо других тащили огромную катушку с ниткой, которая должна была отныне связать Соть со всем остальным миром. Двое отчаянных, наверно маляры, покачивались на расчищенных елях, привязывая антенну, и один закуривал, чудом держась над бездной. Бегали десятники, производя разбивку зданий; везли кипятильный бак, и рябой мужик, идя сбоку лошади, приговаривал: вези, мать, вези, и тебя чайком попоят!.. Там, где сверкала утренняя вода, босой

парень с небрежной и крикливой удалью переезжал реку, стоя на одном бревне. Во всем была устремленность к одной какой-то цели, и даже шестилетняя девчоночка, которой поручили нянчить младшую сестру, не разбивала целостности впечатления. Младшая норовила ухватить гуся за шею, но убегал гусь, а старшая догоняла и тащила сестру назад.

— Не бяжи, баба, не бяжи... Чего за облаками гоняешься!

И правда, в том усиливающемся солнечном ливне и гусь слепил, как облако.

2

Стояло шершавое дерево на взъезде; черные спутанные ветви его суматошно тянулись вверх. Еще неделю назад никто из новосельцев не знал его породы, и вдруг все увидели, что это черемуха... Весна трудилась и по ночам; не валялось и щепочки, на которой не отпечатлелось бы ее могучее волшебство. Весна ускоряла разбег Сотьстроя, а с приездом Потемкина работы новый получали разгон; тут и потребовалось место, занятое Макарихой. Отчуждение земель требовалось произвести до начала весеннего сева, так как в намеченные сто десятин входили и крестьянские поля. Федот Красильников собственнолично видел в конторе архитектурный проект, нарисованный как бы с облаков: скиту там не оставалось места, а на макарихинском берегу вдоволь наворочено было корпусов и даже подобия башен, а из башен вился как бы серный дымок. Чертеж, разумеется, не пахнул, а запах происходил от спички, которую закурил случившийся гидротехник, но в память федотову он успел пророчески впитаться... Оный Федот, потомок старого сплавного роду, от века владевшего сыроварнями да лесосеками на Кажуге, волновался за скит не меньше самих скитчан. Кроме обстоятельств душевного свойства, имелись тому особые причины: был он младшим братом слепого Азы, который при пострижении не отказывался в федотову пользу от наследственных прав. Вряд ли в канун могилы потянулся бы тот за братним добром, но и самая возможность появления сего полумертвеца в дому устрашала Федота. Сомнительно было, вдобавок, чтобы при переносе

деревни Увадьев согласился на перенос и его двухэтажного, с каменным низом двора, ставленного прадедом на вечные времена.

Лукинич, связанный свойством и призванный на совещанье, уверял, что Увадьев не станет ссориться с мужиками из-за пустяков:

— На чьи деньги строить-то!.. мы его на копеечке ровно на веревочке содержим.

Федот недоверчиво скалил желтые крупные, как бивни, зубы и мигал Василью, инвалиду войны и единственному сыну. Втайне знал он обходительную лукиничеву повадку, а по мужицкой прозорливости догадывался и еще кое о чем, но не подавал виду, чтоб не лишаться последней помощи. В молодости на Кажуге, куда заводила его, кроме наживы, и охотницкая забава, прыгнула как-то с дерева раненая рысь на Федота и напрочь сцарапнула ухо; то случилось годов тридцать назад, но прыжок этот помнил Федот крепко, и, когда встречал Лукинича, невольно тянулась рука пощупать ушной лохматок, прикрытый степенной сединою. Не полагаясь, однако, на одну уловку председателя, не ленился действовать Федот и за свой риск.

Всякий раз, когда бывала ему нужда зайти к соседу, заводил он речь о тех недоуменьях, которыми с зимы наполнилась Соть. Навестил он и Николая Куземкина, что живет как праведник на отлете, окруженный пятью безнадежными невестами; побывал у Гаврилы Савина, незадачливого плотника, который, сколько раз ни ходил в жизнь с голыми руками, всегда возвращался с пустыми карманами; напоследок забрел по случайной оказии и к Проньке Милованову, гармонному лекарю и секретарю деревенской ячейки, жившему в новорубленном доме у леска. Пронька приклепывал медный ладок к гармони и поминутно, постучав зубильцем, пробовал его на звук, который получался голый какой-то, цыплячий и смешной. Федот поискал образов и, не найдя, остался в шапке.

— Богов не содержишь?

— Обхожусь.

Федот усмехнулся:

— Ишь, как ни зайдешь к тебе, все ры да ры! — и присел на ящик позади него.

Пронька на мгновенье поднял взор:

— Ты, отец, не садись туда: это инкубатор. Наделаешь нам задохликов да и штаны пожжешь.

— Хо, — подивился Федот, оставаясь стоять, — естеству насильство. Кака ж у тебя птица-т машинная вылупится. У ней, думается, и мясо-те железом отдавать станет. Все затеи у вас с Савиным: то цветы, то цыплята, зря карасин тратишь. — Он помолчал. — Хорошая гармонь, чья такая?

— Моя. Хорошая, так купи!

— Куды мне, я старик.

— Все деньги копишь да в крыночку кладешь, — засмеялся Пронька, вспомнив, как в прошлом году принес Федот в налог полтораста новеньких полтинников. — Смотри, сгниют они у тебя!

— Ничего, сухая у меня крыночка, сухая. Может, двести коров у меня в крыночке сидит, а поди, выкуси! — поддразнил Федот, а из бороды его просунулись зубы. — Про кудеса-то слышал? Пустынь желают разъять, а на ейном месте фабрика для бумаги.

— А ты поговори в конторе, может, и отступятся!

— Поговорил бы, да мужику ноне внимания нет.

— Мужик мужику рознь! — Солнце упало на колени Проньке, и пискучий ладок засверкал в нем. — Зачем прикатился-то?

Федот исподлобья окинул стены:

— Да, как это ноне говорится, связь установить. Катька-то цветы, что ль, все содит?.. — Так звали пронькину сестру. — Василий хотел к тебе зайти.

— Не сватайся, отец, не выйдет.

— Куды нам в советску родню лезть!

— Да, уж тут и крыночка заветная не поможет...

Вражда началась еще раньше: неспокойная кровь текла в жилах миловановского рода. Со временем поостыла родовая немирность, и Пронька собственно только тем и раздражал односельчан, что, связавшись с опытной селекционной станцией, то ячменей да клеверов заморских насеет на полосе совместно с Савиным, то цветов разведет полон палисадник. Василий, заползая в пронькин дом по праздникам, всякий раз засовывал в цветок свой поганый изжеванный окурок. Он и вообще повел себя непристойно в отношениях на деревне; первое

время Пронька терпел дружескую напасть, а потом случилось, за ухо выволок его из дому и при людях показал ему кулак размером чуть помене годовалого кочна.

— Этим кулаком, Вася, я раз, по военному делу, человека с коня ссадил. Не затевай ссоры, а живи тихо, как тебе положено...

Обиженный Василий тоскливо смеялся, сидя в дорожной пыли и теребя порвавшийся на деревянной ляжке ремешок. Война не удалась, зато и окурки перестали из цветов расти. Кстати, вымокли в этот год хваленые проньскины ячменя, и деревня была удовлетворена в своей первобытной жажде мести и равенства. Василий снова заходил к Миловановым, и те не гнали, потому что страшно иметь врага в деревне. Так тянулась эта насильственная дружба; выгоднее было Проньке держать врага своего перед глазами, под рукой. Но Василий не забыл обидного намека про свою калечину, в которой, к слову сказать, был неповинен. В свое время, объятый горячкой тщеславия, Федот настоял, чтоб и Василий добыл военной славы красильниковскому роду. Год спустя, выехав по письму на станцию, Федот долго с померкшим лицом вдыхал удушливый карболковый запах, исходивший от сына. «Вишь, укоротили малость, — сказал Василий. — За что ж меня так?» — «Как за что? — растерялся Красильников. — За веру, за престол, за государя-императора...» Он не договорил; сын рванулся, точно хотел по лицу отца ударить, но не дотянулся и упал. «Ничего, прошло, — сказал он через полминутки. — Теперь подсадите меня в подводу, тятенька». Федот молча поднял этот присмиревший мешок с солдатской душой, и они поехали продолжать жизнь.

Вместе с приятелями, всяким людским, налетевшим нивесть откуда отребьем да вороньем, льстившимся на дармовое угощенье, пробовал он пить, — здоровая красильниковская кровь не принимала алкоголя. Такому жениться на Миловановой — значило бы восстановить утраченное к самому себе уваженье. Ради того он пошел бы на любое, но рослая, простодушная Катя не замечала его любовной суеты. Из деревенских невест одна лишь старшая куземкинская вековуха была ласковой к нему. «Чего мне в ней, она всегда моя...» — шепнул он отцу, который советовал брать хотя бы это пересохшее явление

природы. Не помогали ни угрозы, ни золотые сережки, которые Василий на всякий случай таскал в кармане, ничего ему не оставалось, кроме как одинокая пастуховская любовь. Весь род шел насмарку, и в таком-то обороте нужно было отвоевать место себе на новой Соти...

Война началась однажды на масленице. У Проньки сидели гости, Куземкин с Савиным, и все одинаково ели гречневые блины, и всем одинаково резали шею тугие ворота рубах. Куземкин позевывал, а Савин внимал военным пронькиным историям, и на лоб его поминутно всползала взволнованная бровь. В этот вечер впервые стреляли в пронькино окно и, не потянись Куземкин за маслом, хоронили бы его в среду красным обрядом, под гармонь. Пуля ударилась в печку и, отскочив, пробила новехонький баян, который принесли ему чинить накануне.

— Эх, придется заплатки ставить, — громко сказал Пронька, раздвигая онемелые меха; из дырки такой же, как из окна, выдувал острый холодок.

Он стал внимательней присматриваться к Василию, а тот, узнав о злодействе, принял участие и даже советовал написать в газету, после чего виновника непременно засадят на казенные хлеба.

Пронька притворно качал головою:

— Да как его найти-то, злодея?

— Через посредство собаки унюхают, — настаивал Василий, лаская взглядом широкие пронькины плечи.— Сейчас они, скажем, дают собаке пулю понюхать, и собака моментально бежит, а за нею сыщики едут на велосипедах. Ныне такие есть, если не врут: левой лапой за воротник злыдня придерживат, а правой протокол пишет, во!

Тот перемолчал васькино издевательство, а весной стал уже откровенней проявлять свою вредность. На перевыборах он горячо высказывался против Лукинича, выставляя доводом родство с Красильниковыми и его неопределенное лакейское прошлое. Вместе с тем сам он от власти отказался, а за голяками в то время не пошла бы волость: Лукинич прошел единогласно, и даже Куземкин голосовал за Сорокаветова, в надежде породниться с ним за такую услугу. Последний, однако, медлил с женитьбой, а нечесаные куземкинские дылды так и пре-

бывали в затянувшемся своем девичестве. В первый же месяц своего владычества столкнулся новый председатель с Пронькой при распределении семенной ссуды. Ни Красильниковы, ни Мокроносовы и не нуждались в ней вовсе, но самое лишение обидело их и обозлило. И когда возвращался Пронька из Шонохи, стреляли в него вторично, и опять охранила его удача. Соскочившему с телеги в лес Проньке недолго пришлось искать приятеля; он стоял тут же, среди трех голых пней, сам как пень горелый; обрез его валялся возле, уткнувшись дулом в снег. Пронька весело приблизился к инвалиду и протянул руку, но не ударил, а лишь вскинул вверх за подбородок окаменевшее васильево лицо:

— Паляешь, так уж попадай! А то собаке и понюхать будет нечего...

С того и наступила открытая борьба за преобладание в округе, и первый бой произошел как раз на сходе, где одновременно с участью Макарихи решилась и горькая судьбина скита. Сбирались на сельской площади, где каждую осень, в летопроводца Семена день, съезжались великие базары; высокий и темный дом Красильникова стоял на ней сундуком, и в нем сосредоточилось все прошлое не только села, а, может быть, и всего уезда. По местному обычаю, мужики пристраивались на корточки, курили почтенную махру и поплевывали вокруг себя; к концу сходов, когда подходило решенье спорных вопросов, подобие колец бывало наплевано вокруг них, в которых и отсиживались, как в крепостях. Все испытующе глазели в пустое красильниковское окно, прищуренное накось занавеской, но там словно вымерли. Зато ржавый стон исходил от дома; дуновения вечерней реки качали железный фонарь, повешенный на глаголе, и ветхую вывеску, пробуравленную непогодой; на ней было проставлено — *Шышкин* и нарисовано колесо. Лука, живая память Макарихи, помнил день, когда набивал ее к косяку сам кузнец, сбежавший потом в черное имя Филофея. Переводя взор на сотьстроевские бараки да прислушавшись к железным стенаньям Шишкина, Лука понял вдруг, что уж не стоять впредь красильниковскому дому на горнем месте, где прокрасовался три четверти века.

— Стоит дом на горы и глядит в тарары... — вздохнул он и сделал первый плевок.

Мужики зашумели; со стороны подходили Увадьев с Потемкиным, которого никто еще не знал в лицо. Записанный говорить первым, Потемкин быстро взбежал на трибуну; Увадьев поотстал, — жидковатый настил ступенек прогибался под ним. Точно в огневой лихорадке, Потемкин зорко окинул собрание; ему понравилось подвижное лицо Николая Куземкина, и на нем он сосредоточил весь жар речи. Она началась с улыбки; выгоды соседства с Сотьстроем представлялись столь ясными, что бессмысленно было растолковывать их... Он даже сократил свое слово наполовину для придания ему деловитой крепости и прежде всего поздравил мужиков с честью быть свидетелями и участниками новой победы социалистического отечества. Увадьев, к которому перешло потом слово, не преминул подробнее остановиться на преимуществах, о которых туманно намекал Потемкин. Кроме близости культурного очага, волость получала электрификацию, постоянную медицинскую помощь, школы фабзауча и непрерывную работу на предприятиях комбината, этой столбовой дороги во всепролетарскую семью. Кроме того, по договору, который уже с месяц лежал в губземуправлении, крестьяне получали готовую деревню в четырех верстах от нынешнего места, школу и клуб, и, наконец, среднюю стоимость урожая по данной полосе; рытье колодцев шло за счет переселяемых. Он кончил и, перечислив напоследок ряд лесных и налоговых льгот, неуклюже прокричал «ура» первому на Соти кирпичу социалистической кладки.

— Аминь! — неожиданно вскричал Куземкин, и смешливый ропот мужиков одобрил куземкинскую дерзость. — А ты птичкам воздух подари, а рыбам водичку: то-то милости твоей возрадуются.

Эта явная измена Куземкина заставила всех насторожиться: вместе с тем ни для кого не было секретом, что переселение все равно состоится, потому что уже и лес везли на новую Макариху, и оттого все следили лишь за выполнением установленных правил игры. Видимо, лишь для усложнения забавы и по сговору с сотинской знатью и выступил тогда Лукинич.

— Эй, не шумите тама, окажите почет хозяину! — Он шутливо набросился на Куземкина: — Ты чего ж, таракан, рот-те, как гашник, раззял?

Игра началась, и мужики оживились. Куземкин, однако, отказался от чести вступить на трибуну, куда его настойчиво зазывал Лукинич. Был он вертляв от какой-то душевной чесотки и имел вдобавок такую видимость, точно в детстве наступили ему на лицо.

— У меня не гашник, а крестьянский рот! — важно сказал он, и самые скулы его зашевелились. — И когда он говорит, обязан ты, приказчик, слушать. А что же он говорит, крестьянский рот? — Он вздохнул, набирая силы, и украдкой взглянул в красильниковское окно. — А то, что надо бы раньше с мужиками посоветоваться, чем руку на Макариху заносить. А может, нам с этого места и сойти невозможно? Может, мы тут корешок имеем и всякий пенышек нам брата милей? Опять же пизаж! — Он произнес стыдливым шопотом это полузнакомое слово и с тоской взглянул в пустое, совсем пустое хозяйское окно, откуда он черпал слова и силу. — Эва, здесь-то ровно небо разлилось, легчае нет ничего взору моему, а оттель какой вид? Сосна, да на сосне сорока качается... и положим, день я на нее гляжу — качается, два гляжу — качается, а на третий и придет мне мысль, а с чего же она, братцы, качается? И напьюсь я тоды, милые вы мои граждане, от одной мысли... и выйдем мы все алкоголики своего быту. Не, нам то место не житейско. Опять же до черквы станет пять верст. Да тут, пока свадьбу нонешнею довезешь, и жених-то сбежит!

— А ты женишка-то на лычку да к дышлу!

— Не порть молебну, Николаха.

— Эй, брось болтать, дело общественное...

Ячейка переглядывалась, а Куземкин не унимался. В окне блеснуло что-то медное, точно самовар, либо огромную копейку пронесли, и в ноги крикуна новое влилось воодушевление. Рот его надувался и лопался, как пузырь, а в толпу летели злые, плодущие брызги, которые немедля прорастали в рыхлый людской чернозем.

— ...извиняюсь, никто в цельном мире не может мне мой крестьянский рот заткнуть. Я и сам общественну работу вел, два года в исполкоме конверты клеил и потому имею вопрос. Какой еще ты нам храм заместо скита воздвигнешь?.. сколько еще отступного дашь? Ты как во власть всходил, сапожки мне обещал, а я посель в лапотках крохи мои промышляю. Эй, может, гидра сапожки

мои износила?.. и еще ты нас попрекнул, что с пришлых дерем. Мы теперя сами навыкли яичку есть: ее сварить надо, а потом с сольцой, с сольцой ее, окаянную. Погодите, мы еще, гляди, окошки заколотим да к вам в Москву пойдем: кормите, скажем, нас, богатеньки братцы...

— Правильно, мужик вдосталь станет есть — злаку на земле не останется! — пригрозил самый ближний, чертя палочкой по земле какие-то свои чертежи.

— Эй, Куземкин, — досадливо закричали другие, — не там лижешь! Здесь на гривенник больше дают... Дарма себя Федоту продал.

Куземкин устало скалил зубы, и пот лил с его висков, точно из дырочек. Ветер услужливо доносил его речи в пустое окно, где появился вот и сам хозяин. Увадьев посмотрел туда и мигом смекнул обстановку; еще прежде, чем предупредил его Пронька, он уже знал, что истинное настроение мужиков непременно скажется при голосовании. Со дня прибытия городских людей поколебалось не только древлее благочестие, но и самая земля под ногами у сотинцев; немногочисленная советская горстка получала подкрепление, стали случаться неописуемые вещи: то внезапный комсомолец иконы на дрова порубил, то тишайшая Зина Чеплакова так себе лик напудрила, что хоть картошку садить. Жаловались и на то, что старые песни, степенные, как сама здешняя природа, извелись, а в новых только и пенья, что про машины, которых еще нету.

— Ты слышишь, что он говорит? — тревожно шепнул Увадьеву Потемкин, косясь на Лукинича, который поглаживал свои усы и не впутывался в драку. — Они теперь так голоснут, что и глаз девать станет некуда!

— Ладно, не надо паники, — отстранил его Увадьев и продолжал слушать Проньку, — слушай его, он дело говорит.

Только тут разъяснилась причина увадьевского спокойствия. Со стороны бараков все новые подходили кучки строителей и тотчас размешивались с мужиками; скоро сход почти утроился, и тем, которые сидели, пришлось встать. Лукинич волновался, мужики зловеще шептались, не смея гнать этой враждебной армии: были то все расейские Федосеи да Иваны, такая же потомственная лаптеносная голь. Вдруг стало ясно, что Увадьев

перекроет всех федотовых козырей, и тогда в бабьей гуще схода обнаружилось странное движение, точно кто-то, мальчик или собака, незримо бегал по рядам и сеял раздорное семя.

— ...там, в толпе, выходи! — звеняще крикнул Увадьев, и толпа расступилась, а Потемкину показалось, что человек стоит на коленях: он впервые видел Василия Красильникова.

Тот приближался, задевая за подолы баб и одержимый своим убогим демоном. По дороге ему попалось длинное толстое бревно, и все с любопытством ждали, полезет ли он через него на карачках, перескочит ли; не в силах одолеть препятствие, Василий остановился там и стоял с закрытыми глазами. Должно быть, он терялся, кого ему ненавидеть более: Увадьева ли, смотревшего в небо недобрым совиным взором, бревно ли, лишний раз подчеркнувшее его убожество. Ему хотелось плакать, но вот дрожащий и щекотный пополз в тишине звук: инвалид смеялся.

— Дожили, а?.. со свиней, с кур, с собак, с блох наших дерут... да еще попрекают! — проквохтал он, и кожаная куртка его скрипела, как промороженная. — Зачем было людей созывать, мы к приказанию привыкли. Тыщу лет нам приказывали, Расею приказали соорудить — эку махину наковыряли... И ты не тяни, а прикажи, и думать нас не понуждай, не обижай напрасно! — Он качнулся и сдернул картуз, обращаясь ко всему миру; под картузом обнаружилась тугая, расфиксатуаренная прическа, и ближние к нему потянули носом: похоже стало, точно незримо, возвратясь из прошлого, возлегли поперек Макарихи огромные пахучие исправничьи усы. Трясущейся рукой он достал из кармана перламутровую спичечницу и с достоинством закурил. Вдруг вместе с дымом и кашлем вырвалось из него бешеное слово: — Кто, кто теперь судьбу нашу станет решать, они? — Он яростно толкнул в колено ближнего марийца из артели владимирцев, и тот удивленно поднял брови. — Мы тут от века живем, папаньку рысь ела, николахину мамку, беременну, медведь запорол, а они какие тут жители? Они огни бродячие...

— Я везде житель, я плотник, — чуть обиженно отвечал мариец, не отводя глаз от пахучего темени инвалида.

— ...ты! Ты не житель, ты вонь... вот как шкуры квасят, вонь идет. Ты пискульник, что в приборздках растет. Я вот дуну в тебя — легчай перышка взлетишь!

— О дунь, пажалста! — с ленивым восхищеньем попросил мариец и даже присел на корточки, чтоб не особенно утруждать Василья.

Он был как дерево, полное веселых и тенистых листьев; ему невдомек была инвалидная горечь. Он искренно поверил в могущество человека с такой духовитой прической, и в лице его отразилось искреннее сожаление, когда тот постыдно бежал со схода. Презирая побежденных, деревня проводила его свистом и хохотом; кто-то пронзительно мяукал, кто-то смешливо советовал отправить к скотьему доктору красильниковских овец для тайного обследования. Так, в обстановке шуток и веселого препирательства, Увадьев приступал к голосованию.

Стоял вечер — не вечер, когда луна уже лик кажет, а солнце еще не тухнет на краю земли. Оранжевое пламя зари проникало все; в деревьях, верилось, текли оранжевые соки; черные руки, поднятые за снос скита, пылали тем же оранжевым светом, и даже мычанье коровы, отставшей от стада, представлялось тягучим и оранжевым. Совершенную тишину, пока Пронька считал голоса, пробуравил жук и застрял где-то в липкой оранжевой мякоти. За это время случилось только одно происшествие: увадьевский картуз упал с перилец, и Куземкин, давно томившийся неопределенностью, бросился его поднимать, но не поднял, стыдно стало, а кинул на прежнее место:

— Врешь, ляжи тута! — и с отчаянием погрозился картузу.

Глубже вдавливались тени вещей, цвета таинственно менялись; рождалась неосязаемая голубизна, — она густилась, плотнела, и мнилось — ее можно было скоблить отовсюду и, как синьку, растворять в воде.

— ...сто восемьдесят семь... восемь... девять. Эй, не стесняйся, товарищ! Двести один, два...

— Да нечего уж, единогласно, — нетерпеливо вставил Лукинич.

— Не спеши, друг, я и сам по баньке соскучился!.. — Был субботний, банный день. — Двести одиннадцать, двенадцать...

Мальчишки с гиканьем прогнали коней в ночное. С реки дохнула ночь. Перепел где-то за околицей начал перепиливать свое скрипучее колено. И, еще прежде чем босая нога Куземкина ощутила росу, участь скита была решена: скитское место предоставлялось под лесозавод, имеющий быть воздвигнутым в ближайшие три года. Монахам давалась свобода итти в любую сторону или гибнуть любою гибелью, а самые строения кто-то предложил даже запалить с четырех сторон, что было отвергнуто лишь из опасения лесного пожара. Уже разошлись, бабы разогнали телят по клетям, а Увадьев с Пронькой все еще писали протокол. Вдруг рука просунулась к ним сквозь перила.

— Картузик-то, — молвил знакомый голос. — Вот он, картузик-то!

Молча приняв услугу, Увадьев крупным шагом пустился домой; Куземкин бесшумно бежал возле.

— Эх, ноне иного за рупь укупишь, дешевое ноне стало людье! — навязчивым говорком лез он в мысль Увадьева. — А за иного и рупь жалко, меня, к примеру. Каждый день разов семь помираю, а все смерти нет... А ведь когда сыт, на меня и смотреть зазорно: валяюсь, и даже пес понюхать меня гребует...

— Ну, чего ты пристал! Я тебя не бью, не попрекаю: беги туда, может, и выгадаешь, — сказал Увадьев, замедляя шаг.

— Нужда, товаришш! — вспыхнул Куземкин, что-то учуяв. — В клопах, в нищете да в грыже, ровно в крапиве, живем... и я не ропщу, я ее даже люблю, нищету-то мою. Ведь я что! Назначь меня в Расее командиром, — а я ее пропью, ей-ей пропью. А почему? А потому, товаришш, что мужик — дите...

— Ну, брат, пора и вырасти! — в ярости гаркнул на него Увадьев и круто свернул в проулок.

Слышно было, как визгнула попавшая ему под ногу собака, потом Куземкин остался один. Вступала ночь, и целые реки запахов текли в ней. В скиту пробили десять. Соловьев не водилось в округе, но и лягвы в эту пору о том же самом, о соловьином, верещат. Куземкин подошел к избе и заглянул в окно. Пять его безнадежных невест хлебали скудную мурцовку, и ни одна из них не была моложе другой. Видно, учуяв человека за окном,

крайняя к двери вышла на крыльцо и несмело окликнула потемки.

— Погоди, Надьк, кричат! — откликнулся Куземкин.

— Небось, Лукинич опять старика своего учит.

— Не, то в скиту крик!

— Не в той стороне, глухарь! Ишь, Лука взрыдывает... — возразила дочь и, зевнув, мысленно пообещалась: «Погоди, станет время, и тебе водички не дам попить!»

Ее-то уж больше всех распаляла досада на отца, который еще утром посулил ей залобанить инвалида в женихи.

3

Пустословила она не зря: Лукинич жил не в ладах с отцом, Лукою, который состоял нянькой при собственном внуке; большеротый и слюнявый, этот младенец, если не кричал, то спал, но если спал, то поминутно гадился. Даровую свою няньку председатель содержал в черноте, кормил объедком, водил в обноске и, частые распри завершая дракой, норовил ударять старика в то гладкое и непрочное место на голове, под которым, по неписанной мужицкой науке, средоточится у человека память. Уже окостенел старик от своего житья, уже явилось во взоре его то совиное безразличье, которое простые люди относят к мудрости, а еще помнил много, и Лукинич справедливо опасался, как бы не вытекло из старика заедино с болтовней лишнее и вредное слово о нем самом. Все они, Сорокаветовы, жили до отвращения долго и в большинстве погибали не своим путем; не потому ли и отмалчивалась деревня на писк и вопь, исходившие по ночам из большого этого дома. Один только скитской казначей посмел вступиться за каждодневно убиваемого Луку.

Произошло это вскоре после того, как прибили на скитские ворота бумагу о выселении. Целый месяц, пока не смыло ее знаменитыми впоследствии дождями, Тимолай читал всем желающим, нараспев и по складам, мирской приговор о своей ненадобности. До поры, однако, все оставалось попрежнему; только по нескольку раз в день наезжали паромы со строительства и набирали песку, которого вдоволь за тысячелетия наметала здесь

река. Берег оползал и раньше, образовалась крутая осыпь, и при каждом дуновении непогоды струились вниз песок и гравий; корни деревьев повисали над пустотой, как разоренные гнезда. Когда же вонзились внизу новехонькие, еще певучие, лопаты, стало ясно, что не сегодня завтра поползут вниз вассиановы огороды. Тут еще и другая, внутренняя, подступала осыпь: среди молодых, о которых особо поминалось в объявленье, неслыханное началось броженье, и вослед сбежавшему Виссариону многие посмотрели завистливыми и робкими глазами. С этого и началось: приходил кроткий Иов к игумену, просил разрешения на брак с одной пожилой девицей, причем уверял, что в женатом облике он еще ревностней станет служить господу. Двух других попросту выгнал Филофей за срамоту и смуту, а четвертый, престарелый скитской сапожник, собрался с духом, да и подал в суд о взыскании жалованья за все сорок три года беспрестанной работы в скиту. Поддуваемые с другого берега, тлели людские угольки, и Вассиан видел однажды вечером из огорода, как в лодке, управляемой Прокофием Миловановым, переправлялся на скитский мысок московский комиссар. Направление они держали к самому тому месту, где, незлобиво распевая тропарь, уже второй вечер косил Тимолай. «За ним, за последним охотится. Эка, четверорукий, до всего достает!» — уныло смекнул казначей и заранее предсказал Тимолаю убийственную геласиеву славу.

А Геласий уже зверовал под Макарихой. Тотчас по растрате скитских рублей бежал он в леса и жил там неделю, питаясь и ночуя звериным обычаем; потом, когда чуточку позакрылась волосом душевная рана, вышел на мокроносовское гумно и попросил есть. Веяли там бабы прошлогодний урожай, дали ему со страху лопату зерна, и он опять вприпрыжку умчался в лес: еще пугал его человеческий голос. В поисках себя самого плутал он по дебрям, и ночью, когда в Соти отражалась звездная вечность, на весь лес испытующе кричал свои кощунства, но ничего не случалось. Так родился слух в селе Пятница, что на Енге будто за безумным монахом бродит по сухим болотцам напрасно оплеванная им богородица; бабы советовали мужьям прикончить Геласия домашним способом, раз уж с пружины сорвался человек. Но вскоре, когда

покраснели от смолки старые пашни, Геласий вышел сам из лесу и нанялся к Федоту Красильникову пилить дрова. Вся женская половина села ходила смотреть сквозь плетень, как, рваный и утерявший облик человека, ворочает он без отдышки огромные березовые кряжи. К пригону скотины баб набралось множество; покачивая головами, они вспоминали всю родословную Геласия, нищих и бродяг, от которых он и получил свои бунтовские дрожжи.

— Ишь, ворочает! — и ласкали несытым вглядом злые, бегучие геласиевы мышцы. — Мы и лошадьми столько не сработаем.

— Монаху что, ему житуха сладкая...— собиралась подзадорить другая и не договорила.

Беспоясый и босой, с маленькой до удивленья головой, сам Красильников вышел расплачиваться со своим необыкновенным батраком. Он имел привычку платить медяками, чтоб казалось больше, и еще водкой, которую, со времени закрытия макарихинского Центроспирта, ставил вчетверо против казенной цены. Приняв бутылку, Геласий угрюмо смотрел в сторону, на оглоблю, торчавшую из-под навеса. Тут до него и дополз неосторожный бабий шепоток; сгребя всю медь с федотовой ладони, он неистово метнул ее в толпу и стоял с оскаленными зубами; однако никто из бывших по ту сторону плетня не поднял ни монетки, словно были они раскалены или заклеймены отступничеством. Потом, лопатами раскинув руки, он пошел вон со двора. По пустой, разом вымершей улице он направился на мокроносовский сеновал, где имел пристанище по старой дружбе, и вот тут-то, близ савинской лужи, никогда не просыхавшей, носом к носу столкнулся с Увадьевым.

Как тот ни спешил, а все-таки остановился; не столь задержала его откровенная бутылка в геласиевой руке, сколь самый вид его: он был в стоптанных бахилках, а прикрыт рваниной, проплатанной цветным лоскутьем. Стоя наискосок, они созерцали друг друга с каким-то тупым недоверьем, и тотчас же их окружила орава детей, восторженно ожидавших какого-нибудь события.

— Хорош, очень хорош, — раздумчиво сказал Увадьев. — Эк, шут преподобный, до чего дошел, а все впустую мотается твоя машина. Что ж, заходи вечерком как-нибудь чайку попить...

— Я тёбя, погоди, вечерком убивать приду, — еле слышно отвечал Геласий; он стоял посреди самой лужи и ничего не замечал.

Увадьев только засмеялся:

— А, убивать, — тогда пораньше приходи, а то я спать рано ложусь. Я, брат, не свой нынче человек... дела все! — и, не кивнув, прошел мимо, даже задел локтем Геласия, который не посторонился.

Мокроносов был тот вечер в отъезде, и оттого завладела Геласием на ночь васильева ватага. На лесном ручье стояла замшелая красильниковская маслобойка, сплошь слаженная из дерева, без единого железного гвоздя; под колесом водились налимы, ивовые ветви мокли в воде. Здесь, у костерка, в котором пеклись яйца, еда пьяниц, обычно и озоровал Василий; Геласий, видно, служил вместо перцу в его пресных забавах. Изредка пососав из круговой бутылки, он неуклюже плясал в зыбком свете костра... и тут выходил из мельницы старик с налимьей харей, управитель и работник еще васильева деда. Посмеиваясь куда-то в кривую скулу себе, он глядел на куцую отрасль знаменитого рода и вот пригибался к хозяину... В открытую дверцу рвалось пыхтенье гранитных медведей и тупые вздохи пестов.

— Глянь, Вася... ровно с пружинами инок-те, а тебе и полножки не дадено. Не робей, зато ты богатенький... эва, точно пашá турецкий промеж холуев своих сидишь!

Василий морщился, в действительности он стоял у костра, а всем казалось, что он прочно сидит на травке.

— Ты кради, кради свое масло у помольцев! — вскипал он и тут же развлеченья ради выщелкивал угольки из костра под босые и такие неистовые ноги Геласия: не радовало его это наемное веселье.

— Как тут украдешь, закон: девять колобьев, девять фунтов на пуд! — и снова склонялся криворотый маслячщик; любил он задор, сраженья, грозу, а больше всего огонь в живом человеке. — А у дедушки твоего, Вась, кони были — страшно к конюшне подойти. А он, бывало, вскочит, ногами стуканет, вдарит кулаком промеж ушей и скачут, два чорта. И никто не знает куда, зачем, а скачут... До гроба молодым был.

— Уйди, не трави, — защищался Василий и жевал обесцвеченные тоской губы.

Старик приносил блюдечко свежего, пахучего льняного масла, и они опохмелялись им до изжоги. Ныла инвалидная душа, все выискивала поступок, который вернул бы утерянную доблесть. В десятый раз бегала в Шоноху неутомимая шинкаркина девочка, и все боялась приблизиться к этой яме огня и неистовства; в ней все еще скакал подпекаемый Геласий.

...что ты, что ты, что ты, что ты —
я и сам бясовской роты,
полосатого полку,
скачу до потолку,

...у костра и заснула оголтелая дюжина, а когда проснулась — только выбитая земля свидетельствовала, что здесь било и подкидывало скитского бегуна. На этот раз он пропал надолго, и толковник Лука клялся, что глупого парня присосала в себя трясина, отчего и прорыжела горькая болотная вода; противники же Луки полагали, что Геласий вернулся в скит, и там повелено ему стоять год в древесном дупле, на манер древних подвижников, которые вдоволь имели времени и не на такие затеи. Смеялись, видно, спорщики: скит оголился, разруха просочилась сквозь частокол, старики оставались одни, самые двери бежали с петель. Всего за полторы недели до троицына дня исчез небурный Тимолай, вздумавший, видно, околицей добрести до неба. И чем цветистей распускалась весна, тем плотней сгущалась тьма над северною Фиваидой. Близ обеда собирались старики на ту самую скамью, откуда еще недавно размечал карту будущих сражений Увадьев, и безмолвно дивились образу, который принимала на Соти подстегнутая история. В старых книгах, замкнутых в торжественные кожаные гробы, они искали ответа недоуменьям, но не было там ни о революции, ни о целлюлозе, а стояло расплывчатое и косноязычное слово: антихрист. И верно: две тысячи зачинщиков нового закона на земле копошились под Макарихой.

— ...палачики, убивайте нас! — надсадно кричал Устин рабочим, прибывшим за песком; в мученичестве заключалось оправданье векам бестолкового жития, а те, отирая пот с лица, лихо закуривали, весело звали их к себе, в пыль и скрежет лопатный.

На их глазах вырастали над котлованом строительные леса; туча, шедшая с запада и светившаяся, как опал,

чудом не распарывала о них свое сизое брюхо. На фундаментах, выведенных до нуля, уже покоилась путаная каркасная паутина, которую должна была облить стройная бетонная плоть. Это не похоже было ни на орудие пытки, ни на скелет апокалиптического зверя; голос его вселял не содрогание, а странную смутительную бодрость; ночной звук вспахивал тишину, проникал вещи, изменял их значение в мире, и на каждой хвоинке потом оставалась какая-то неистребимая его частица: то был ночной гудок, по которому приходила вторая смена. Они видели, как голили макарихинское место; крючьями, как на пожаре, растаскивали срубы, ворошили мшистые кровли, и далеко неслась по ветру их цветная, горемычная труха. Самые корни Макарихи выдергивали из земли, засыпали песком колодцы, ветхий лес пилили на пар и силу... Миллионы существ, если считать всю домовную насекомую нечисть, потеряли в те дни покой и жилище. По дорогам сломя голову бежали тараканы, скулили домовые по ночам; Фаддей Акишин, всеплотницкий староста, даже помолодел от веселого разгула ломки.

Давно привлекал его внимание угрюмый красильниковский дом, лаженный на крюк, из десятивершкового леса, с круглыми углами, обильный галлерейками, обреченный стоять до скончания планеты. Трудно было решить, откуда начать валку, и артель пристально наблюдала за своим вождем, как он таинственно нюхал углы или благоговейно постукивал обухом в темные, заподлицо отесанные стены.

— Не людьми ставлено, видите ли что: железом звенит! Не, нонешнему топору старого дерева не взять: искра пойдет!

— А ну его к чорту, спалить его! — советовали земляки, подмигивая прорабу. — Он, бат, задубенел, дом-от. Еще и не тронули, а уж, гляди, взопрел ты, дядя Фаддей!

— Рушить — работа умственная, — хитро посверкивал глазами Акишин, и все разумели, что вот так же и кошка заигрывает насмерть свою добычу.

Он все-таки не устоял перед новым топором, этот черный ящик, в подполье которого еще скрипела и охала огромная мохнатая душа. Обиженные владельцы не поехали в Новую Макариху, где поставили им скромную,

в три окошечка по числу душ, избицу, а переселились к себе на маслобойку и туда же перевезли на тринадцати подводах весь свой скарб. Мужики оттягивали выезд до последнего срока, и некоторые видели, как раскатывал Фаддей вековые красильниковские бревна... Однажды длинная очередь подвод потянулась из Макарихи. Старухи несли скоробленных богов на полотенцах; бабы гнали скот, который мычал и блеял, не доверяя заново проторяемой дороге; мужики задумчиво шагали сбоку телег, где, поверх обиходного скарба, тряслись резные оконные наличники. Одни лишь ребятишки, радуясь всякой перемене, скакали впереди, дразня собак. Безлюдная, ленивая пыль поднялась и осела, а берег опустел.

— Не уходите, не уходите...— шептал Вассиан вослед уходящей Макарихе и цеплялся за прелое дерево скамьи.

Неделю мужики привыкали к новому месту; старую резьбу прибивали на новые окна и негодовали, что нехватает резьбы: новые были глазастей. Старухи бечевкой обмеривали свежие, чистые избы и роптали, что новые просторнее и выше на аршин... Скучно было без теплого, домовитого клопа, без грязцы, без настойной телячьей духоты; жаль было вольготного и нелепого прошлого, на которое беспощадно наступил Сотьстрой, а еще страшней неопределенность будущего. Пугала вдобавок и щедрость новых соседей, подаривших школу, клуб и обещавших больничку от неизъяснимых советских милостей. А когда привыкли, стали рыть колодцы и втихомолку перенесли с перекрестка часовенку, в которой тотчас же завелся проворный и безгласный монашек.

В одну из ночей буксиришко, пользуясь высокой водой, притащил землечерпалку; гремя цепями, чудовище выжирало вековое лоно реки: здесь намечалась лесная гавань и приемные трубы водонасосной станции. Река молчала, но желтая кровь длинными полосами прочертила ее текучее тело. Чудовище исчезло ночью, как и появилось, а утром сотни людей потянули через реку, чуть наискось, стальные тросы и могучие пеньковые канаты; они сооружали запань, преграду для молевого сплава, основные массы которого уже тащились где-то по верховьям. Река цвела людьми, а люди песнями, и хотя была суббота, Кир не посмел ударять в скитское било: да и некого становилось звать на вечерни...

...все медлил враг. Строители полюбили это место, с которым связала их судьба. Стройке, которая сотни раз повторялась на материке, они придавали особое величественное значенье; когда представитель губернской инспекции спросил у Фаворова, что делают на машине, чертеж которой валялся на столе, тот ответил с задором: социализм!.. А то была всего лишь монтажная схема машины для дезаэрации воды, которую изготовляли для Сотьстроя за границей. «Ловок на язык!» — не без зависти подумал Увадьев, заметив улыбку Сузанны, а сам тем же вечером крикнул на производственном совещании фразу, хлестнувшую как лозунг: «Работайте, как черти! Про вас песни сложат...» Не было, пожалуй, надобности их понукать, и Потемкин верил, что только из ложного достоинства Ренне, старейший возрастом, держался за свой скептицизм.

— Вы чудак, Филипп Александрович, — убеждал Потемкин, и исхудавшие пальцы его играли, как у пианиста,— вы все еще видите в нас беспочвенных босяков, посягнувших на историю. Вы заражены старыми, российскими масштабами... для вас и Петр катастрофа! Ха, босяки правят богами... так? Но, даже минуя огромные социальные смыслы, кто, кто из прежних русских буржуа мог бы затратить тридцать миллионов на целлюлозный комбинат?

— Пока только шесть, — веще и сухо поклонился Ренне и глядел не в глаза, а куда-то в пестренький поясок Потемкина. — Вы живете сто лет спустя — я теперь — я инженер — я заведующий лесозаготовками. Техника не любит наивных — вы хотите высшую математику заменить элементарной! Может быть — вы пишете стихи?

Потемкин махал на него руками:

— Ничего, пускай... я люблю скептиков, это как соль. Только не говорите этого Увадьеву!.. Он бросил курить и ходит злой... и потом, как бы это сказать, нет в нем мясного состава, он из другого вылит, из красного чугуна... он не поймет! А мне не хочется, чтобы вы ушли... ушли, не убедясь в нашей правоте. Читайте газеты, Филипп Александрович, читайте наши газеты... там значительно все, от заголовка до объявлений!

Ренне со снисходительным лицом сцарапывал незримое пятнышко со своей старомодной, с острыми полями, фуражки:

— Вам надо к доктору — у вас глаза — нехорошо.

Именно Потемкин, чувствуя окрепшую силу своего детища, и предложил однажды сохранить скит как людской заповедник, чтоб и через полсотни лет жители города Сотинска могли удостовериться, в какие смешные игры тешились предки; кстати нужно же было где-нибудь сохранять барулинскую медаль с толстым лицом предпоследнего царя. Шутки его всерьез никто не принял, но как-то случилось, что неписанное это постановление прошло в жизнь, и напрасно Фаддей Акишин, войдя в азарт разрушенья, терзал по праздникам увадьевское терпенье. В такие дни, по необъяснимой причуде, он надевал линялый пиджак, доставал из сундучка картонную лошадку, купленную у бродячего торговца игрушками Фунзинова, и ходил с нею всюду, ища Увадьева. Пусть бы только расспросил, а уж тут и расскажет Фаддей и про внука, и про погибшего его отца, и про весь свой могучий род, и про все, что приключилось с ним, пока пробился сквозь толщу крепостного столетья до Фаддея.

— Эй, хозяин, когда монахов-то трясти почнем? Не скупись, рушь, комиссар, построим вчетверо.

Увадьев принюхивался и грозил пальцем: не нравились ему мужицкие, с желтой искоркой, глаза Акишина...

— Опять пьян, ровно антипкин кобель? Выгоню я тебя за ворота, старого чорта.

Статный во хмелю и даже щеголеватый чуть-чуть, усмехался Фаддей и выставлял вперед своего конька.

— Ты вот его пужай, бумажная душа, а меня не испужаешь. Мне пьяному-те семь рублей в сутки цена, видите ли что. Нет в тебе, чтоб понять ремесленного человека, жестосерден ты, хозяин!

Не вынося никакой развязной задушевности, Увадьев отплевывался и хлопал дверью. Тогда, обиженно подмигивая лошадке, гладя облыселый круп ее, расписанный как розан, старик отправлялся в скит; это было единственное место на свете, где еще не ведали его занимательных историй. Его встречал сам Вассиан, мастер на всякую дипломатию, и вел в трапезную пить чай; туда поодиночке, чтоб не пугать редкостного гостя, сбиралась вся скитская верхушка. Не притрагиваясь к угощенью, трезвея с каждой минутой, Фаддей молчаливо восседал

на почетном месте, а лошадка покачивалась рядом, на шатком столе:

— Что деется-то? — начинал Кир и придвигал деревянную миску. — Ты капустку-то кушай, во хмелю капустка хорошо. Ты смешной, ты шутливой, в гроб глядишь, а с игрушкой ходишь... Что деется-то?

— Ничаво, — хмурился Фаддей и прятал лошадку за пазуху озеленевшего пиджака, который сидел теперь на нем мешковато и глупо. — Все в аккурат. Маненько на Кавказе земля тряслась. Теперь утихла.

— Европа-то что? — с неуверенной надеждой вопрошал Вассиан, поталкивая Кира, чтоб молчал.

— Ничаво, стоит.

Вассиан долго и мелко смеялся и вдруг спрашивал ненароком:

— Ультиматум-то боле не засылали?

Тогда вскакивал Фаддей, и лицо его перекручивала злоба:

— Чего, чего сидите, почто не гибнете! — кричал он, и плотничий кулачище вздымался над капустой. — На рупь, злодеи, веселья мне испортили... Кого, кого о чем спрашиваете? Может, я и сам теперь... — Он не договаривал и крепче прижимал лошадку к сердцу. — Кто Волховстрой строил? я! Кто на Кашире всею опалубку вел... я! На Шатуре кто дома воздвигал... И кто сына моего на границе убил? Мое, плоть мою... ну!! — Его ярила неотстоявшаяся боль по сыне, пограничнике, подстреленном из-за рубежа, и Вассиан предусмотрительно отодвигал капусту. — Чего не дохнете... в черноту оделись... Мрите, всяко мрите, от водянки, от зудной хвори, мрите, пока не поздно. Тошно мне с вами! Ровно маятник я промеж вас, головой вниз, мотаюсь... там страшно, а у вас и пакостно. Плевать мне, плевать на ультиматум!..

Он бесповоротно уходил, величественно и навсегда унося лошадку за прореденший волосяной хвост; по горькой обязанности Вассиан провожал его до парома.

— Кинь словечко-то на прощанье, от доброго слова не обеднеешь! — напоследок выпрашивал Вассиан. — Додушат нас, как мух, аль не допустят?

— Чего, сами полопаетесь.

На воде оставалась от парома широкая, недолговечная дорога; глядя на нее, хотелось Вассиану бежать, догнать

Фаддея, спросить то главное, страшней чего нет в мире, — затмилась ли навеки правда? Но дорога растворялась в теченье реки, и Вассиан еще печальнее подымался в гору. Единственный выход оставался братии: перенести Фиваиду дальше на восток, где бродят еще нестреляные звери, лежат некопаные земли, живет неграмотный человек. Уйти предполагалось ночью, а остатнее место пустить огнем. Евсевия, благо и весил мало, должны были нести по очереди Филофей, Феофилакт и Ксенофонт, беглец афонский. Уже смастерил Устин подобие креслица, обшитое войлоком, на манер козули, как носят каменщики кирпичи на стройку; уже натащил Филофей сухого можжевелового хворосту охапок тридцать в хлебню, откуда час спустя по уходе должно было возникнуть пламя; уже назначена была ночь ухода, как вдруг наступило непредвиденное обстоятельство: заболел Евсевий, и болезнь его была смешная — насморк.

Тогда, осознав в нем еще живого человека, братия спохватилась и несколько раз выносила Евсевия на воздух; так и мещане проветривают время от времени содержимое глубоких укладок. Прикрытый кисейкой от комаров, святой недвижно, как чурбак, лежал на соломенном тюфячке, маленький и уже подсушенный знойкими ветерками смерти. На четвертые сутки, когда освоились со светом его ослабевшие глаза, его перенесли по собственной просьбе ближе к берегу и подсунули под спину мешок с мякиной, чтоб святой мог сидеть и видеть... Должно быть, многое переменилось за те десятки лет, которые пролежал Евсевий в своей прижизненной могиле. Цветистые зеленые пятна сумбурно распускались впереди, а в них качались алые шары, и он обиженно покачал головой, когда ему сказали, что это шиповный куст, сплошь облитый цветами. Нет, видно, его обманывали!.. Сюда, где раньше сладостно тешила слух тишина, врывалось теперь перебойное гуденье локомобиля, а там, где ускользающая Соть мощно взбегала в небо, простиралось серое первозданное месиво; да и то немногое, что еще доступно было глазу, застилало старческой слезой. Он огорченно отвернулся к братии и, с трудом разглядев их озабоченные лица, понял, что от него, пока не утерял дара речи, ждут они последнего поученья.

Он заволновался, заискал в памяти, но его душевную пустыню не посетили никогда ни истинная страсть, ни путаные муки преступленья. Самый мир был ему не сложнее детской картинки, нарисованной цветным карандашом... Зажмурясь, он с усилием припомнил какой-то пожар, свидетелей которого уже не оставалось в живых; потом вспомнил старца, бывшего до него приманкой богомольцам, — своевольного и умного старика, к которому он питал благоговейную зависть; еще не забыл он пухлую одну барыню, целый час терзавшую его исповедью в грехах, в сравнении с которыми померкали и багровые цветы Содома... она шипуче наваливалась на молчальника прелой грудью, полною мерзости, и самая исповедь ее была блудом. Страшась, что братия разуверится в нем и кинет его, беспомощного, на скитском берегу, он решился на свое последнее униженье.

— На восток взирайте, — полуслышно прошелестел Евсевий слова, украденные от помянутого предшественника.

— Отродясь взирали на восток! — дружно отвечала братия.

Евсевий помолчал и вот начал мелко и часто чихать, и все стали переглядываться, не зная, имеет ли и это свое место в поученье.

— Хорошим людям не завидуйте, а придите и поучитесь от ихнего быту... — Он почти задохнулся от длинной фразы. — Огня бойтеся, баб бежите...

Смущенной братии показалось, что пастырь шутит над ними; престарелым овцам его нечего было опасаться женского соблазна. Стоя на пороге иного бытия, он лишь приоткрывал им дверь, у которой все они толпились; старик и сам понял это. С минуту он ревнивым взором ощупывал братию, и когда приметил подавленную усмешку Филофея, грозное и тщетное негодование овладело им: еще шалил в нем удивительный огонек жизни.

— Блудник, блудник... — застонал он, прерывая крик чиханьем. — Где, где у тебя лик? У тебя на шее лик, сполз, сполз... Лови его теперь, лови!

Так ничтожный жучок перегрызает уцелевшие волокна дерева... По наущенью опытного Вассиана, Кир давал больному плесневелый хлеб, в надежде, что вместе со рвотой изойдет из него и хворь. Евсевий плакал, но ел, и уже

по тому, как он жевал, с усилием подтягивая челюсть, видно было, что ночь его близка. Лежа в постоянном и мокром знобе, как в воде, старец капризничал, чудил и как будто даже пахнул меньше. Вдруг по неизъяснимой прихоти он позвал к себе любимца своего Виссариона; он призывал его настойчиво, три дня сряду, и тут-то порешился Вассиан сделать тайную вылазку на противный берег.

А очутясь в Макарихе, надоумился казначей навестить кстати и Лукинича, который в прежние времена никогда не отказывал в совете. В доме было тихо, но из закрытой каморки доносились воркотня и тоненький всхлип. «Видно, мальчишка животом мается. Эх, просвирочку бы захватить!» — подумал Вассиан и тихонько заглянул в щелку двери. Председатель вплотную и с занесенной рукой стоял перед отцом, а тот сидел в шапке, держась руками за темя и скосив глаза на пудовые вассиановы сапоги, предательски торчавшие из-под двери. Не мешая сыну учить отца, Вассиан неслышно присел на лавку и сидел долго, пока не начало клонить в дремоту; тут и вышел Лукинич — почему-то с деревянным уполовничком в руках.

— Вам чего, гражданин? — зловеще спросил он, и в левом глазу его, ближнем к окну, родился ястребиный блеск.

— Из жизни, браток, выселяют! — всхлипнул казначей, делая вид, будто ничего и не видел.— Песочек, браток, из-под берега берут, в пучину осыпаемся... аль на святой-то земле крепче капищам стоять? — Ему показалось, что неуместно начал жаловаться: следовало сперва пошутить, а когда разойдется машина, тогда и действовать. — Избица-т новая хорошая! Клопа-то не завел еще? Хошь, браток, я тебе притащу парочку в бумажке, на разведенье, а? — Он потыкал пальцем в черепок с бальзамином, опухшим, как в водянке.— Полей, браток, травка водицу любит!

Лукинич все глядел на казначея, а слушал только всхлипы из каморки и вдруг заговорил. Мимоходом помянув про старинных праведников, бравшихся при случае и за меч, он указал, что скиту уже составлен приговор, и единое спасенье в том, чтоб пристращать кого следует несвоевременным огоньком. «Смолевата тесина от недоброго взгляда возгорается». В этом выразилась вся

степень его душевного переполоха; вряд ли он надеялся вызвать скитчан на дурость, а потом открытием заговора починить свою репутацию; уже и теперь доносом на неблагополучную деятельность Виссариона он мог бы наверстать упущенное. Лицо его потемнело, усы распушились, когда утверждал, что в ночах солнца нет.

— ...в нощах луна светит! — несмело возразил казначей и тут же прыснул в горстку старческим смехом: явно, председатель шутил над дураком, а шутит — значит выход есть и из горящего дома. — Греховодник, а греховодник... ты б его в башку не бил, старика-то своего! Старикам в голову вредно... — Одерзев, он даже предложил дарма подшить валенцы, торчавшие дырами из печурки.

— Ага, ты мне взятку хочешь дать? — значительно произнес председатель, приподымаясь и раскрывая страшный глаз на казначея. — Так ты хочешь подкупить меня?..

Может быть, он и теперь еще шутил, но Вассиана из избы точно ветром выдуло.

4

Был вечер; задрав хвосты султанами, мчался скот от оводов, и Вассиан сразу попал в пыльную гущу движенья. Едва уклонившись от осатанелых коней, он метнулся в коровью половину стада, и тотчас одна, черная и со стеблиной болотного остреца в зубах, наскочила на него сбоку. Лежа комочком на земле, он закрывал голову руками, а та стояла как бы в раздумье, стоит ли пороть рогом этот отяжелевший старческий зад. Так он пролежал бы и неделю, если бы кто-то не вывел его из опасности. Только на крыльце пронькина дома, где на хлебах обитал Виссарион, он признал свою спасительницу, еще недавнюю гостью скита; она шутливо спрашивала, не ушибся ли казначей при паденье.

— Маточка, я животом ударился, а в нем костей нету. Уж очень я, маточка, коров боюсь; гусей тоже, а пуще коров. — Он сокрушенно просунул палец в дырку своей ряски, продранной при паденье. — Тут, маточка, бегун наш где-то обитает!

— Я тоже к нему, — сказала Сузанна, имея в виду Виссариона.

Плечи казначея так и вспорхнули:

— ...тоже к нему? Ой, вот удача! Боязно мне его видеть, лютой правды наскажу, а как встренетесь, шепните ему, маточка, чтоб скиток-то навестил. Смеркается наш Евсевий, гаснет, со смертью трудится... и все по нем тоскует. А коли страшится, как бы со службы не уволили, так ночью бы... ночью, когда все начальнички спят. Я бы в лодочке подождал под бережком, да и свез бы на часок. Попроси его, маточка, корить да задерживать не станем: какой он монах, только шкуру спасал... а тебя заране спаси бог, маточка! — и побежал, ликуя благополучному окончанию вылазки в мир.

Сузанна поднялась на крыльцо и, потянув за веревку, вошла в дверь. Полутемные сенцы загромождал плотничий верстак с недоструганной, свисавшей к полу тесиной; дальше, в зеленоватом полумраке двери, выводившей на двор, умывался из глиняного рукомойничка высокий парень. Он вопросительно повернулся к гостье, и вода текла впустую из его сомкнутой пригоршни.

— Кого? — спросил он наконец.

— Вас, — сказала Сузанна.

Он перестал умываться и с сомнением покачал головой.

— Наверно, Проньку ищете, нас всегда мешают, мы похожи, только я хромой. — Он снова нагнул рукомойник. — Прокофий в ячейку пошел. Из ворот выйдете — налево, а там увидите савинское окно, голубенькое. — Плеща и фыркая от ледяной воды, он продолжал умываться, а Сузанна не уходила. — Проводить, что ли?

— Мне вас надо, — повторила она, трогая стружки на верстаке.

Она пропустила его вперед, и опять он шел затылком назад, сам не замечая сходства с одной незабываемой встречей. Войдя, он вытерся докрасна полотенцем и стал готовить себе еду: накрошил в квас луку и хлеба, а другой ломоть густо посыпал солью.

— Я еще не ел с утра. Хотите со мной? — Она отказалась, он искусственно засмеялся. — Пока все очень таинственно. Хотите, предскажу все наперед? Вы, наверно, как и Пронька, в газетах пописываете. Кроме того, вы меня видели однажды в этом дурацком черном балахоне, и теперь вам любопытно, как это монах, служивший не один год некоей высокой тайне, мог так легко сбежать на дру-

гой берег... на другой берег жизни! — поправился он, добавляя соли на ломоть. — Только смотрите, на мне не заработаете: Пронька раза два уже писал про меня в газету. Но я могу объяснить и в третий раз: видите, в этой тайне вот уже тысячу лет ничего не скрывается. Это и есть не более, как опиум для...

Сузанна усмехнулась; развязная грубость речи его плохо вязалась с тонкими, еле огрубелыми руками.

— Вы ошиблись, — прервала она.

— Кто это, я? — Он ел с аппетитом, и висок, которого целиком не заслоняла прядь, порозовел. — Да вы только Евсевия этого возьмите: пройдоха, каких мало!

— Слушайте, Виссарион, я пришла не за тем... — Кажется, ей надоел этот благонамеренный разговор. — Знаете, вы сильно постарели с тех пор...

Он отложил ложку и щурко посмотрел на гостью; потом, как ни в чем не бывало, полез в печь за кашей.

— Вздор, я вижу вас впервые.

— Я думала, что вы сохраните обо мне более глубокое впечатление. — Она кивнула на его хромую ногу. — Я попала в вас все-таки... я вовсе не хотела уродовать вас.

В замешательстве он уронил заслонку и вдруг вспомнил и непостижимый вихрь той ночи и этот чуть косящий глазок.

— У меня после войны вообще стала плохая память на лица, а стреляли в меня много раз...

— Надеюсь, по другим причинам?

Надо было сдаваться.

— Не смейтесь, — сказал он тихо, забыв про кашу. — Я ликовал тогда, как мальчик, которому подарили целый мир. Нет, не то... как тот дикарь, которому удалось похитить сердце девушки!

— Это не совсем похоже, про дикаря и девушку... но пускай будет так. О нас лет через сто наврут еще и не такое! Налейте мне квасу, хочу пить!.. — Напрасно она ждала, что он расплещет, наливая в глиняную кружку. — Спасибо. Теперь рассказывайте, как вы жили потом.

Ему уже некуда стало прятаться:

— Вы интересуетесь для себя? — защищался он как умел.

— Было бы невероятно, чтоб вы хотели обидеть меня... именно теперь. Я слушаю, мне интересно.

— ...сперва все бежал, потому что по мне ходили чужие ноги, и мне было больно, потом скрывался и плакал, как Иеремия у стены...

— Я плохо знаю библию и не помню, по какому поводу изнурял себя старик.

— Он плакал, когда разрушили стены... может быть, он предвидел будущее рассеяние своего народа, не знаю. Народы всегда начинают с песен, а кончают слезами. Потом я сидел в этом мешке, рядом с Евсевием. Потом был десятником... теперь меня хотят сделать завклубом. Мясо готово, и мне не важно, какое блюдо из меня сделают.

— Вы трижды приходили к отцу, — быстро вставила Сузанна, сгибая упругую сталь ножа.

— Я подчинен ему в работе, — также поспешно объяснил Виссарион.

Она продолжала перечислять:

— ...вы приходили вечером, чтоб никто не видел. Вы живете у Милованова и бываете у Красильникова. Вы ездили в Шоноху, где сплошь живут староверы и кулаки... — Она заметила, как покривились его губы. — Что, вам не нравится газетное слово?

Он заговорил едко, в тон Сузанне:

— Да, я хочу взрывать мосты и демонически хохотать над революцией. Я хочу... — Он вспылил и повысил голос: — К чорту... я заполнял сотню анкет, я рядовой служащий Сотьстроя. Не мешайте мне жрать мой хлеб. Я устал и хочу спать...

— Не кричите, поручик!

— Мне кажется, — жестко сказал он, косясь на дверь, в которую поминутно мог вернуться Пронька, — мне кажется, вы спасли меня тогда не затем, чтоб предать меня теперь... когда я переродился! — Он вспотел, ему трудно далось это фальшивое слово. — Что вы хотите от меня?

— Прежде всего оставьте отца. Его и без того не любят на строительстве.

— Вы угрожаете, а я не боюсь. Если б боялся, я бы нашел способ убрать вас...

— Разумеется, если бы о вас не знал еще один человек на строительстве! — решительно солгала она.

— ...Увадьев? Говорят, вы живете с ним. Что же, каждый пристраивается как умеет!

Она встала, и было похоже, что раскаивается в своем приходе.

— Странно, как всегда привязываешься к вещам, которые удается спасти. Имейте в виду, что ваш председатель приходил к Увадьеву говорить о вас... вам лучше всего добровольно убраться с Соти, — и потянулась за шляпой.

Она уходила как бы нехотя, а он не останавливал ее; у двери она сказала:

— Кстати, я совсем забыла: на крыльце я встретила монаха... ну, лысый такой! Он очень просил вас приехать туда... там умирает этот старик, старец. Повидимому, ищет заместителя себе.

— Евсевий... значит, он не умер еще?.. — В его лице читалось недоверие, — ...слушайте, вы не то хотели мне сказать!

Она вздрогнула и распахнула дверь.

— Как быстро стареет наше поколенье. У вас стали редкие волосы, поручик, вы скоро облысеете.

В окно ему было видно, как она торопливо пересекла улицу и стала подниматься на пригорок, с которого уже становились видны огни строительства. Он утомленно закрыл глаза, а когда открыл их, она все еще стояла на бугре, а вместе с нею Пронька; они разговаривали и, судя по взглядам, речь шла о нем, о пронькином нахлебнике. Виссарион раскрыл окно, но лишь расплывчатые тени звуков отражались в тишине. Следовало бежать немедленно, прятаться, выдумывать новую маску, но само тело противилось этому: телу было приятнее сидѐть здесь у окна, пить густой мужицкий квас, сплевывая пахучие стеблинки мятной травы. Он сидел и все поглаживал висок, куда вселилась взрывчатая какая-то боль. Деревней прошли местные комсомольцы, таща что-то огромное, укутанное в рогоже; из щели выбивалась паклевая борода. Назавтра, в троицын день, во время обычного крестного хода из скита в часовенку, готовили они свою контрдемонстрацию. — Не в пример прежним мочливым годам, установилась сушь; хлеба и льны никли под суховейными ветерками; бабы трех деревень замышляли водосвятный молебен о даровании дождя. Все иссохло до скелетного подобия; грудь опалялась, вдыхая раскаленный огневоздух; вода горела бы, если б ее поджечь; камень не буль-

кал, падая в колодец; в избах не зажигали огня из боязни пожара, и все-таки по деревням уже пошли за милостыней погорельцы...

Пронька приближался; еще было время бежать и поспеть к ночному поезду, если б удалось нанять подводу. Вместо этого, Виссарион налил новую кружку кваса и пил, но губы его оставались сухими. В квасной черноте отражался чужой, неузнаваемый глаз, и, с жестоким любопытством смотрясь в него, Виссарион бегло вспомнил обстоятельства, при которых он так прочно вселился в пронькины дом и дружбу. Миловановы всегда слыли безбожниками; в пору своих временных бегств тут живал Геласий, и даже самого Филофея Пронька принял бы с одинаковым радушьем, вздумай тот преступить разделявшие их века. В ячейке косились на такую душевную щедрость, но в пререкания не вступали, так как в застойный досотьстроевский период вся работа в волости держалась только на нем; Виссариона же, в довершение всего, к нему привел сам Увадьев, прося приютить у себя до окончания рабочего поселка, — с того и прижился.

В недолгое время Виссариону удалось завоевать почти преклонение Проньки; его оружьем были те знания, которые не успел растерять в послевоенных скитаниях. Вечерами шумно вваливался Савин, забредал с горя Куземкин, Лышев Петр и те из молодежи, кого пресытили каждодневные танцульки; иногда появлялся Геласий и присмирело сидел у двери. В несколько вечеров Виссарион попытался передать им величественную историю пути, которую проделал человек от ледниковой колыбели. Лектор увлекался сам, ему нравилось бросать свои камни и наблюдать, как разбегаются первые, еще нечеткие круги по нешелохнутым людским гладям. Мужики внимали с суровыми, готовыми лопнуть от напряженья лицами, а Пронька еще больше благоговел перед тем всемогущим человеком будущего, которому стыдился показать свои черные руки и предком которого чувствовал себя. Присутствуй тут Фаворов, он сказал бы, однако, что Виссарион нарочно компрометирует науку; в вечер, например, когда добрались до тригонометрического, почти из магии похищенного треугольника, с помощью которого были расставлены верстовые столбы по вселенной, Виссарион говорил о страшной тесноте, в которую уходит человек от

какой-то единой и первоначальной истины. Верно и то, что, дойдя до «рек вавилонских» и до «кровавых слез Иеремии», он не мог вести себя иначе.

Везде рассовывая зерна, вызревшие в годы изгнания под манатьей монаха, он с восхищением и ужасом ждал ростков. В разрыхленную революцией сотинскую почву всякое можно было сеять, но уж не всякое дало бы небывалый урожай. Он все еще надеялся на что-то, но надежды его видоизменялись подобно облаку, которое формуют грозовые ветры. Россия представала ему уже не прежней, могучей и сытой молодкой в архаическом шлеме, как ее рисовали на царских кредитках; теперь она представлялась по-другому: будто в кромешной провинциальной глуши сидят мертвые земские начальники и играют в винт. Их тоже не особенно обольщает зевотный стиль третьего Александра, и оттого так приятно помечтать о звездах, которые загорятся через триста лет, — срок, вполне безопасный для их мышиного благополучия! Он не хотел назад, к мертвым, и вместе с тем его пугала ненастная весна, происходившая в стране. Был момент, когда в поисках нового позвоночника, который удержал бы его от окончательного падения, он готов был принять на себя эту почетную и тернистую обязанность: жить. Но в первом же разговоре Увадьев охладил его штурмовой упрощенностью своих воззрений: предку полагается иметь суровую и внушительную осанку. Ночами, пока Прокофий храпел, распятый на полатях тяжким мужицким забытьем, он слушал мерный скрежет чужого сна и думал о многих роковых различьях. Однажды ему показалось, что духовному преображению его мешает культура, этот скорбный опыт мира; она одна мешала ему заразиться наивной дерзостью молодых. Из этой никогда неутоленной зависти возникла и расцвела его нетерпимая идея. В игре стал намечаться исход: мертвые тащили к себе недостающего партнера.

Для выполнения плана ему потребовалось стать мужиком, и тут начиналась интеллигентская трагикомедия опрощения; чудак, он радовался, привыкая к изжоге и клопу. Гомункул из душевного подвала уже враждебно поглядывал в верхний этаж, где еще продолжал владычить разум. Виссариону нравилось стравливать их, как собак, и наблюдать летящие в драке клочья; нижний

одолевал, а верхний оскорбленно безмолвствовал. Тогда Виссарион усилил процесс и катализатором избрал любовь; она не догадывалась ни о чем, Катя, пронькина сестра. Она легко пошла на уловку молодого и выделявшегося из деревенских женихов постояльца; ведь он не заставлял жертвовать главным для крестьянской девушки сокровищем. Матовым румянцем, изгибом великолепной шеи, ленивой полнотой груди, способной выкормить хоть дюжину сорванцов, она прельщала походя, а Виссариону нужны были как раз другие качества, определявшие социальный и биологический портрет девушки: ее аммиачный запах, смешанный с ароматом вспотевшей плоти, ее хваткие, знающие сотню деревенских ремесл руки, ее неизощренное ощущение бытия, позволявшее видеть только крупное в мире. Получался сложный мозговой заворот, и нижний жилец торжествовал. Этот сводник устраивал им удивительные свидания при луне и без таковой. Он заставил Виссариона купить в шонохском кооперативе дешевые духи для девушки, оставлявшие бурые пятна как на платье, так и на душе; возможно, нижний с отчаянием искал надежного кустика, могущего затормозить паденье...

Стукнул крюк, и Пронька вошел; лицо его было озороватое, знающее. Присев на лавку, он тоже пил квас и время от времени подмигивал Виссариону, а тот все ждал: он ясно представлял себе, как может мстить мужик за обманутое гостеприимство.

— Ну, брат, — сказал Прокофий, отодвигая кружку, — видно и впрямь: как бедному жениться, так и ночь мала. Придется тебе завтра помаяться...

— Где ты пятен-то насажал? — в меру спокойно перебил его Виссарион, имея в виду измазанную краской рубаху хозяина.

— ...ребята просили, чтоб я тебя уломал... выступить завтра перед народом, после молебна-то, а? — И он расписывал, какой отклик будет иметь у баб выступленье вчерашнего скитчанина. — Пятна — это мы хоругвы назавтра расписывали.

Виссарион молчал; еще не ликование, а как бы душевная одышка захватила его: Сузанна щадила его вторично... или она поверила в его перерожденье? Холодки сомнений побежали по спине... все казалось, что сейчас войдет поселковая милиция и станет обвязывать его

веревкой крест-накрест, как покупку вяжут приказчики. По улице проехала заводская таратайка; держа кепку на коленях, в ней сидел Бураго и внимательно смотрел на колесо. Его большая, качавшаяся на плечах голова почему-то успокоила Виссариона; если бы что-нибудь произошло, инженер непременно взглянул бы в миловановское окно... С тем большей легкостью он отказал Проньке в его просьбе, и тот целый вечер носил на лице огорченье, за ужином бранился с сестрой, да и во сне-то все кряхтел озабоченно: назначенный назавтра бой впервые давался сотинской старине.

Виссарион задремал много позже и видел какого-то дятла у вонючей феофилактовой канавы; дятел был до чрезвычайности похож на батарейного командира. Потом появлялся и сам командир с его любимой поговоркой: «Люблю прозябать, все какая-то надежоночка есть!» — но каждый раз, даже раздвояясь, все оставался дятел на сучке; Виссариона пробудило осторожное прикосновение к ноге. Он вскочил, и спросонья ему представилось, что милиция уже пришла.

— Она врет, врет... — бормотал он, отползая в угол.

Пронька внимательно глядел на него при свете спички, а лицо его было веселое и извиняющееся:

— Слушай, вот толчок мозгам!.. Одиннадцать гармоний мы насбирали, баян в том числе. Да еще Зудин из Шуши двухрядку притащил, а игрока нету... может, сыграешь на двенадцатой, а? Мы бы завтра отслужили им коллективную литию, а?

Отвалившись к стенке, Виссарион беззвучно хохотал над этим сконфуженным предком завтрашнего племени; в смехе его и заключалась разрядка всех опасений, скопившихся за день. Спичка потухла нехотя...

5

Пастух проспал; в пятом часу, выпуская коня в стадо, Катя невольно задержалась на улице. День начинался тонко и розово, как девичий сон, нарисованный к тому ж на прянике. Среди лепесткового цвета облаков начиналось полудремотное волненье. Час спустя налетела с запада заблудившаяся бурька, но проливень не состоялся,

й, еще не отгремели ее раскаты — в скиту забили к утрене. Тотчас же заметное движение наступило на реке. В лодках, пестротно разряженных березкой, цветными шалями и просто вышитыми полотенцами, волость изовсюду поплыла к скиту. Слышен был лишь плеск коротких весел да отточенный насекомый гуд; если бы не беспокойный стук сотьстроевской силовой, праздник не отличался бы от прежних.

Встречаясь, сталкиваясь кормой, мужики сурово кланялись, и никто не засорял обычной руганью целомудренной тишины утра:

— Мир дорóгой!

— Спáсену быть...

Служил Ксенофонт, ведя службу по старому афонскому уставу, и уже с половины обедни, ошалев от духоты, богомольцы стали выходить наружу. Праздник не удавался; на клиросе вместо молодых пели старики, и дребезжащие их голоса раздирали благоговейные уши прихожан. Кстати, посреди службы с Азой случился обморок, и, пока выносили этот незрячий, жалобный мешок, кто-то уронил в суматохе большой деревянный подсвечник, полный горящего воску. Сотинцы беспорядочно хлынули вон, а когда потушили, большинство до самого начала крестного хода оставалось на дворе.

Ударяемое железным шкворнем *било* кричало над рекой, когда процессия двинулась вниз, на берег. Впереди вприпрыжку поспешали девицы, которые на выданье, разодетые в последние достатки, в коротких платьях и с букетами, а за ними, шепчась и подрагивая, развалисто спускались парни; из петлиц у каждого торчала тоже цветная травка. Кое-кто из них успел раздобыться вином, и оттого, что от века крупность праздника на Соти измерялась количеством зарезанных, следовало ждать случайностей на исходе суток... На некотором расстоянии от них гуськом подвигался самый крестный ход. Кругленькая, плотненькая тетя Фиша из Ильюшенска дико и торжественно несла в вытянутых руках знаменитый крест из рыбьих зубов; выловленный какими-то поморами со дна моря, он почитался очень действительным средством против засухи. Вбитые в темное, окостеневшее от употребленья дерево, зубы затейно блестели, и, глядя на них, все простодушно забывали шинкарье фишино ремесло.

Следом шествовал припомаженный Гарася Селивакин, заметно оконфуженный: нести ему доверили икону *вспоможение во родах,* написанную дотошным живописцем во многих и обстоятельных подробностях. Затем четверо — и Красильников с Мокроносовым, столпы сотинской знати, потные и красные, шли в первой паре — несли на дощатом щите огромное изображение Николы, рубленное искусным топором и тем уже одним примечательное, что в старые годы нарочно приезжал обследовать его какой-то известный академик. Саженная статуя, сплошь увешанная лентами и крестиками, которые звенели подобно бубенчикам, опасно колыхалась над головами, и, когда процессия достигла спуска, задняя пара присела на согнутых коленях, чтоб не опрокинуть Николу в Соть. Шествие заключали всякие второстепенные святыни местного и доброхотного происхождения — хоругви, овальные образа и та церковная утварь, какая потребна при водосвятном обряде. Толпа нестройно урчала молитву.

Первые карбаса́, нагруженные почетной старческой чернотой, отошли от берега в тот самый миг, когда Егор Мокроносов объявился на бугре со своей медной хоругвью. Увадьеву, который из фаворовского бинокля наблюдал за происшествием с другого берега, Егор понравился с первого взгляда; носный ремень врезался ему в плечо, но тот не чуял, и только из-под темных бровей умно и насмешливо посверкивали цыганские глаза. В сущности ко всему в жизни он относился с одинаковым лукавством, и в его согласии на роль хоругвеносца выразилась лишь старомужицкая потребность в древлем благочинии. Остановясь на бугре, чтобы пропустить мимо шумливую бабью стайку, он поглядел вверх по реке и нахмурился; Увадьев немедленно перевел бинокль, ища предмета, который мог омрачить великана.

Там река изгибалась, и глазу мешали выросшие на сгибе ветлы; Увадьев увидел позже, чем услышал. В той части реки, которую еще не загромождали массы сплавного леса, спускался неслыханный плот. Впереди, на двух прогибавшихся под тяжестью тесинах, сидели гармонисты, шестеро, и лихо наяривали какую-то мучительно знакомую песню: под нее пляшут на свадьбах и озоруют рекрута. Их было немного на плоту, не более пятнадцати, но песня задирала, сцарапывала напрочь тяжелую позолоту

празднества, и вот уже внимание мужиков было расколото пополам. Процессия дрогнула и на мгновение остановилась; потом кто-то надсадно выругался позади, хоругви послали злой и дробный блеск, и, хотя без прежней степенности, но шествие продолжалось. Торопясь взглянуть на комсомольскую затею, задние напирали, и вдруг тетя Фиша ухнула с крестом под осыпь, ошалело вереща и раскидывая пустые руки...

Имея в намерении пересечь реку раньше плота, Мокроносов сам сел на весла; пятеро хилых, как на подбор, мужичков еле удерживали наклонившуюся против хода хоругвь. Весло его ложилось порывисто и упруго, карбас скрипел, а уже возможно стало различить лица гармонистов. Поровнявшись с плотом, карбас скоса ткнулся в бревно и остановился. Тотчас с плота закричали:

— Эй, Егор, святу быть!

— Горьк, перелезай к нам, у нас ассортимент богаче...

— Друг, мотри, черви наползут!..

Не мигая, Егор глядел на врагов, как бы вымеряя их внутреннюю, спрятанную за баловством силу; подручные мужики оробело ждали его решений.

— А ну, освободи дорогу, молодцы, — тихо сказал Мокроносов гармонистам, трогая затекшим плечом. — Опоздаем мы.

Плот медленно относило по течению, вместе с карбасом Мокроносова, — и вдруг из-за гармонистов появился Пронька, тот самый, с которым Егор когда-то сколачивал первую в округе советскую ячейку. Пронька глядел строго, точно шел на приступ, и, кроме своей обычной ливенки, держал в руке ту одинокую двухрядку, про которую говорил Виссариону; по ее распустившимся мехам бежала суматошная ситцевая цветуха.

— Егор, — просительно сказал Пронька, — под хорошую гармонь человека настоящего нету. Скучаем без тебя... ты глянь, какая!

Егор молча взял ее в руки и нехотя, с досадой вскинул длинные пальцы на лады; он был лучший в волости гармонист, и дома у него висел на стене диплом с одного красноармейского конкурса. В лице у него отразились борьба и ожесточение; мельком он поднял глаза на огромное, чудовищное подобие Николы, поставленное на жерди и одетое в пестрядинную рвань, взглянул на его буйную

кудельную седину, стоившую немало трудов и клею изобретателям, и усмехнулся этому фанерному родичу того мохнатого Ярилы, который населял великую низменность в доцарские, дорабские времена. И опять он дернул плечом и, вырвав из гармони короткий вскрик, недоверчиво качнул головою.

— Врет она у тебя на один ладок, Прокофий.

Тот не захотел понять скрытой значительности намека:

— Это, друг, у нее игра такая... из души звук, а ты не слышишь. Ты попробуй только, рук не оторвешь! — и протягивал руку, чтоб перетащить к себе на плот.

С берегов глазела толпа на егорово бегство, и кто-то межами догонял старика Мокроносова с ядовитой и скандальной вестью. Плот тем временем пристал в затон, и молодежь кружной тропкой кинулась на луг, норовя опередить богомольцев; фанерный Ярила тузил тряпичными кулаками веснушчатого парня, который взвалил его себе на спину. Они пришли задолго до начала водосвятия. Обширный заливной луг, круто ломаясь, переходил в поле. Обосновавшись здесь, ребята тревожно ждали пенья сверху или дуновенья ладана. Пронька дважды поднимался на межу, избегая оставаться с глазу на глаз с Мокроносовым: никто еще не был уверен, что мужики не встретят кольями их дерзостного почина. Крестный ход приблизился; о. Ровоамов, бродячий — после закрытия храма на Лопском Погосте — попик истово приступал к моленью. Обвеваемый густым ладанным чадом, увешанный тяжелыми полотенцами, под которыми мыслимо вспотеть и дереву, Никола высился посреди узкой крестьянской полосы, где почти до корня выгорел на солнце колос. Людская гуща расположилась полукругом, и Проньке показалось, что кто-то заранее встал на колени; он ошибся: то был Василий Красильников. Бабы хором заголосили молитву, и в тот же миг веселый рев гармоний вознесся над Сотью. Отец Ровоамов сжался, ибо имел уже печальный опыт в прошлом, и заметался взглядом по сторонам.

— Скрипи, скрипи, батя. То бесы под горой котуют, — степенно молвил Мокроносов, последний блюститель умиравшей веры на Соти.

Тяжко переступая тяжеловесными сапогами, он косился сбоку на о. Ровоамова; носик у попа был красноват, попик выпивал с горя... Стороны не видели друг друга,

в обеих было заметно смущение, но вот бабы, точно озлобясь, высоко подняли голоса, и гармонный плеск потонул в мощном вое людей, жаждавших дождя на пониклые свои нивы. Пронька хмурился, пальцы его уже не резвились попрежнему, кто-то малодушно предложил итти купаться в Балунь; тогда-то, во внезапной тишине, и ударил Мокроносов свои прославленные переливы. От него одного зависел теперь исход дела; сосредоточенно уставясь в иссушенную головку курослепа, он всего себя влил в остекленевшие пальцы, и вдруг три пары девичьих глаз проглянули сверху, сквозь редкие колосья. Это и был перелом; сперва жеманно и парами, а потом стайками спрыгивая с бугра, молодежь перебегала слушать Мокроносова.

Прохлада сменилась зноем. Природа зыбко струилась вверх и, может быть, уплыла бы, если б не держалась крепко на корневых своих якорях. Проходили облачка, и, едва попадали в заклятую точку зенита, тотчас же сжирал их зной. Деревья вытянулись в струнку; напрасно искала в них прохлады неуклюжая птичья молодь. Земля отдавала последнюю влагу. Суглинок растрескался и затвердел. Стоя на коленях среди прочих стариков, Лука вдумчиво мял его в ладони, дул украдкой, и глина легковейным дымком стлалась по полосе; до бешенства ярила ноздри раскаленная эта пыль. Косоротый маслянщик, приставленный держать рыбий крест, рассеянно отколупывал ногтем щепочку от него и все глядел на жесткую глиняную корку, в трещины которой свободно проходил палец. И опять, погружая разогретый крест в воду, заметался в тоске попик.

— Невозможно... — вздохнул он беззвучно, поправляя взмокшую камилавку. — Гарь идет!

— Скрипи, батя, скрипи... то за Нерчьмой лес полыхает! — огненно и твердо лязгнул старший Мокроносов.

И он скрипел, а младший Мокроносов под бугром побивал его знаменитыми своими трелями, и в памяти о. Ровоамова представали давние семинарские вечерины, где тоже пищала музыка и неуклюже порхали потные небритые семинары. Непотребная дрожь сочилась ему в суставы и тянула в пляс: так скачет порой на пойме вислобрюхая крестьянская кляча, подражая самой себе в юности. Он все торопливей вел к концу, чтоб поскорей стянуть с себя хрусткую, как брезент, ризу, а позади оставались

лишь бородоносцы да монахи, и даже Василий заковылял к рубежу, чтоб взглянуть на чужое искусительное веселье.

Там уже наваливали костер и тащили банный котел для установленной совместной яичницы; Ярила встряхивал пустотелыми рукавами, повинуясь спрятанной веревочке, а гармонисты самозабвенно исполняли общественную повинность. Инвалид шагнул ближе и тут понял, что начинается игра в поросенка, самая увеселительная часть троицкого праздника... Посреди широкого хоровода, вереща и вертя висюлькой хвоста, суетился купленный в складчину боровок; розовый и нежный, вымытый до щетинки, он озабоченно высматривал пути к бегству, и в том состояла забава, чтоб поймать его, когда он несется в намеченную щель. В возне и суматохе составлялись зачастую пары для будущих свадеб; Василий уже спустился бочком шага на два, чтоб незаметно вступить в игру, но представил, как его непременно уронят в толкотне, а он упадет на поросенка и задушит... Нет, не тут следовало ему искать утехи!

Игра разгорелась, все новые появлялись люди на лугу. Чуть не запнувшись о поросенка, Пронька помахал рукой Увадьеву, приглашая если не в игру, то хоть на коллективную яичницу. Вышел со своей лошадкой Фаддей Акишин добывать себе собеседничка, пришел Фаворов вместе с иностранным инженером, который снимал по дороге все, что только было ему внове. Все приводило его в восторг, все годилось его фотоаппарату: и деревянное божество, которое уже лежмя и чуть не под «Дубинушку» грузили на карбас, и этот таинственный комсомол в вышитых рубахах на фоне российской глухомани, и даже поросенок, необыкновенным голосом верещавший подмышкой у Проньки. Игра кончилась, через полчаса предстояло открытие клуба в деревне и шефская речь Потемкина.

Окружив иностранца, девицы смешливо глядели на его туристские штаны и красные башмаки, а одна даже спросила жеманным шепотком, почем берет за снимок. Бритые щеки иностранца глянцевели от удовольствия; уж он рассаживал девиц, как цветы, по траве, но вдруг отскочил и торопливо, точно для того лишь и притащился на игрище, щелкнул аппаратом в противоположную сторону; выбор темы определял внутренние устремления иностранца.

— Ой,. васькины бандюги содют! — закричал мальчишка, увивавшийся возле Мокроносова.

Из-за пригорка дружным табунком выступало васильево воинство. Безобидные порознь, вместе они составляли боевое, головорезное ядро, которое в волости так и звали черкесами; бывали праздники, когда хозяева вместе с гостями лазали от них на крыши. Шли они все с картузами набекрень и с заранее обдуманным планом, и один, всю свою скверную родословную имевший на лице, даже бурлил себе под нос:

...по приемной Вася котит,
вся приемная дрожит...

Появление их не предвещало особого веселья, и Прокофий, стыдясь гостей, выбежал было им навстречу, но Василий равнодушно, точно то было неодушевленное бревно, обогнул его и направление держал прямо на иностранца, торопливо перекручивавшего пленку в аппарате.

— Вон того, на рыжих ногах! — указал он Селивакину, неотлучному спутнику всех своих приключений, а тот понятливо зашмыгал носом.

Было непостижимо, когда Василий успел так принарядиться: тугая крахмальная манишка коробилась под его кожаной курткой, а галстучек был в тон лицу, с крапинками, а на отвороте полосато болтался георгиевский крестик. Толпа расступилась, и тогда всем стало ясно, что без скандала не обойдется.

— Сымаете? — галантно изогнулся Василий, а иностранец так же любезно поклонился ему, принимая юродство его в шутку. — Это очень хорошо, что сымаете. Альбом! — Он изогнулся в другую сторону и выставил обрубок вперед. — Чего на крестик смотрите? А вы знаете, за что этот крестик даден? Нет, счастье ваше, не знаете...

— Василий, ты шел бы домой, — суховато сказал Пронька. — Проспишься и придешь.

— Извиняюсь, я и сам есть большой любитель общественности! — кротко посмеялся тот, поправляя крестик, чтоб бантик разпушился еще более. — Не мешайте мне беседовать с научным гражданином.

— Голосом тебе говорю, не бузи, Васька! — вторично предупредил Прокофий.

— Мы и сами не дешевше людей, порожнем не ходим... — звеняще огрызнулся Василий и снова, задрав голову, глядел на иностранца. —Извиняюсь, конечно, вот вы жили за границей, скажите, отчего человек заикается?

Фаворов, быстро переглянувшись с Пронькой, торопливо перевел вопрос и последующий ответ инженера.

— Нервоз? Я вот и сам конкретно говорю, что нервоз, а Федя не верит. Мозги у него сырые, до науки не доходят!

Селивакин хохотливо и угодливо сморщил лицо.

— Чему же вы смеетесь? — не вытерпел Фаворов. — У вас в самом деле сырые, этово... мозги.

— Не, — сразу, точно под кнутом, съежился тот. — Я так, одной штучке смеюсь. Хотим заграничного инженера свешать...

Иностранец продолжал улыбаться, а Фаворову по молодости не хотелось показывать мужикам, будто струсил полудюжины подгулявших парней. Гармони уже не играли, Пронька хмурился: он знал эту повадку васькиной ватаги, унаследованную от сотинских сплавщиков. Неопытного новичка предлагали взвесить на безмене, и когда тот, опасаясь худшей расправы, влезал для этой цели в мешок, его завязывали там и кидали на длинной веревке в реку — *купали,* изредка вытягивая наружу, чтоб не закупался до конца; у сплавщиков так карали за кражи безразлично от времени года.

— ...и еще, как шли мы даве, поспорили, сколько в вас имеется весу. Федька сказал, что не боле, как в подтелке, а я подозреваю... — Смех распирал скулы ему, но он не смеялся, в глазах его светилась почти мольба к иностранцу, в согласии которого и заключалось возвышение инвалида. — Как бы дозволили... а мы бы вам и спели потом: у нас все село поючее такое!

Он даже протянул руку, чтоб убедить прикосновеньем, и в тот же миг Прокофий, не выдержав накопленного отвращенья, с силой поддел его кулаком. Удар пришелся куда-то в галстучек, и всем показалось, будто Василий отделился немножко от травы и плавно пересел на другое место. Когда он поднялся, все увидели, что никаких особых повреждений на Ваське нет; только опять лопнул лакированный ремешок, которым была пристегнута к обрубку круглая деревянная ступня. Девки шарахнулись

шустрее пыли из-под копыта, Селивакин и остальные глупо ухмылялись, переступая на месте, а Пронька все глядел, как бы вымеряя взглядом, потребуется ли второй удар. Так протянулось неопределенное время; Василий потерянно гладил рукой низкую, точно сеяную травку луга. Потом он поднял спокойное, очень бледное лицо и покачал головой:

— Буявый малый, Прокофий, крепко бьешь... эва, за пазуху баран влезет! — Одна какая-то жилка страшно суетилась на его лице. — Ты и гневен, Прокофий, да отходчив, а я и добр, да памятлив. И будешь... и будешь ты меня помнить отселе тридцать... — в голос ему ворвался всхлип — ...тридцать лет, Проня!

Как-то лениво он поднял с травы сорвавшийся крестик и зажал в кулаке; все еще трудно ему было повернуться спиной к обидчикам. Когда боль заместилась стыдом, он развязно достал радужную свою, уже никого не поражавшую спичечницу, но папирос в кармашке не оказалось. Тогда, лишь рукой придерживая отстающую деревяжку, он тихо заковылял вдоль берега. Никого не рассмешил его уход, никто не побежал за ним: может быть, он шел топиться, и никто не хотел мешать ему в этом; он шел прямо к заводи, сплошь заросшей тускло-красным гравилатом и трилистником. Здесь он остановился и стоял долго: деревяжка стала подмокать. Желтая бабочка-капустница, спорхнув с высоты, села на кочку; кажется, она хотела пить.

— ...рази мы кого ограбили? — тихо спросил ее Василий, и вдруг с маху хлестнул по ней картузом. Его сгибало, как червя, разрубленного лопатой, пена выступила у него на губах, а в мире уже забыли и его самого и его несбыточную угрозу.

Сквозь гнетущую тишину суховея сочился из Макарихи колокольный призыв: там начиналась вторая часть торжества. Так совпало — Пронька шел вместе с Увадьевым, и Мокроносову, шагавшему позади них, становилось ясно, что свирепая пронькина расправа безнаказанно сойдет ему с рук. Как бы учуяв сокровенную его мысль, Увадьев обернулся к нему:

— Присоединяйтесь, товарищ! — Ему давно хотелось познакомиться с Егором.

— Ничего, дороги на всех хватит... — И крепче сжал поросенка, скулившего у него в мешке.

Его придирчивая жажда справедливости должна была удовлетвориться самым началом речи Увадьева, которому пришлось замещать Потемкина.

— ...мне только что довелось быть свидетелем, товарищи, — блеснул он отточенным этим словом, ударив на последнем слоге, — свидетелем дикой расправы, там, на сотинской пойме. Один из членов ячейки избил безногого...

Егор не слушал дальше; по угрюмым лицам мужиков, наваленным туда, в провал, как груда овощей, он понял, что еще до вечера Проньку выкинут из ячейки. Нетерпеливым взглядом он обвел переполненный клуб, кумачные бичи лозунгов, невозмутимого Фаворова, сидевшего с ним в президиуме, и смятенно почуял, что всегда — и когда нес скитскую хоругвь и когда наблюдал усмирение недобитого героя — сердцем он был вместе с Прокофием, другом.

6

Появление Увадьева встретили десятком недружных хлопков со стороны рабочей части собрания и настороженным молчанием мужиков; некоторым из них представлялась расточительством постройка такого нарядного клуба на Соти, и оттого бороды их висели подобно чугунным замкам, из-под которых не выманишь ни слова. Едва помянув про поступок Милованова, Увадьев нахмурился: молодой парень на виду у всех оторвал клочок от плаката, запрещавшего курить, и скрутил из него почти разорительную по размерам папироску. Виссарион, по новой должности завклуба, принялся внушать ему что-то, и вдруг парень, не расставаясь с папироской, размашисто направился к выходу. Раздражение против парня придало увадьевскому голосу сухую и пронзительную четкость; сам он стал походить на копер, который множеством повторных ударов вколачивает основную сваю. Неопытный в вопросах такого рода, он тотчас же уперся в крайность: сказав, что всякая культура способна обслуживать только класс, ее породивший, он неожиданно самому себе сделал вывод, что оттого-то в ней и заложена взрывчатая опасность для класса-победителя. Только почувствовав здесь преждевременный перегиб, он стал осторожно

спускаться к основной своей теме — взаимоотношениям с комбинатом.

В зале произошло замешательство; местом в президиуме собрание почтило и сотьстроевское инженерство и администрацию... но там не было Потемкина, единственного из всех, кто под словом Сотьстрой разумел не только постройку целлюлозного гиганта, но и внутреннее устроение Сотинского района. Зал зашумел, раздались хлопки, и, как всегда бывает с толпою, внезапная буря охватила всех.

— Потемкина!.. — кричали передние, а сзади отзывалось настойчивым эхом: — Даешь Потемкина!

Всем хотелось взглянуть на неуловимого человека, которого не видел никто и в должности которого стояло — мотаться, склеивать, улаживать... быть, наконец, тем бесчувственным катком, на котором дотащили до Соти эту неслыханную машину. Он мог прятаться где-нибудь в самой гуще собранья, его искали, наспех опрашивая приметы, а Лукинич, которому предстояло говорить вслед за Увадьевым, озабоченно и с серым лицом покусывал усы. Тогда, пошептавшись в президиуме, председатель собрания виновато привстал из-за стола.

— Товарищи...

— Потемкина! — Слово распирало зал, слову становилось тесно, и те, которые впервые слышали это имя, поднимались с мест, точно тот уже стоял на подмостках. Они хотели приветствовать его за то, что он, свой, выдвинувшись снизу, не забыл среды, из которой вышел.

— Товарищи, — надрывался председатель, складывая руки дудкой, — держите тишину, дьяволы! Товарищ Потемкин болен и сидит взаперти...

Задние не слышали, им пришлось повторять; это было первое упоминание о болезни Потемкина; оно насторожило всех, и вдруг Потемкин стал всеобщим героем уже по одному тому, что имел секретные причины не явиться на собственное свое торжество. Пока длилась официальная часть, выступавших по нескольку раз прерывали двусмысленными запросами о сущности потемкинской болезни; когда, в перерыве перед радиоконцертом, Увадьев незаметно выбирался из клуба, намереваясь просмотреть до ночи бумаги из центра, кто-то даже высказался вслух, что болезнь из тех, которыми зачастую болеют провалившиеся на работе деятели.

К работе, однако, не тянуло; еще худшая, чем в клубе, стояла на улице обессиливающая духота. Пальцы накрепко приклеивались ко всему, чего ни касались; карамельки мерзостно размякли и уже не бренчали в коробке. Полянкой, только что раскорчеванной под огород, он спустился в овраг, к обессилевшему ручью, который полуверстой ниже еле вертел колесо красильниковской маслобойки. Сюда не доносились голоса, и, кроме того, здесь еще сохранилась обманчивая вечерняя прохлада. Над круглым бочагом, сплошь увитым хмелем, посвистывала унылая птица; это вызвало в памяти полузабытую детскую забаву: наловив с уличными друзьями головастиков и стрекозиных личинок, он устраивал примерные бои и потом непременно уничтожал прожорливого победителя. Толстый плавунец переплывал прозрачный мрак омута, в котором еще теплилось непостижимое, детское очарованье. Увадьеву захотелось подержать жука в ладони, чтобы трезвым взглядом постигнуть привлекательность этого водяного жителя — уже он запустил руку в омут, но его спугнули два голоса из лесной крушинки, щедро затканной все тем же хмелем. Какая-то человеческая пара плотно засела в этот комариный альков.

— ...ты скупой! — заговорил женский голос — ...хоть бы на кофточку подарил. Девкам ходить не в чем, а они весь кумач на флаги извели!

— Пусти! пока я туда дохромаю... небось, ищут! — и стал подниматься, потому что камешек вдруг булькнул в воду.

Потом шорохи замолкли, и Увадьева приметили.

— Ишь, все ходит, деревья считает... чтоб не покрали! — достаточно громко произнес женский голос.

Чья-то голова неосторожно просунулась в хмелевой паутине, и Увадьев подивился, до какой степени человеческому лицу свойственны насекомые выраженья. Люди за кустом притаились и ждали его ухода. Тогда, кашлянув для приличия, он стал выбираться вверх, по склону; из-под сапог, скользивших по сохлой траве, поминутно вырывались то уж, то птица. В этот день он мешал везде, где ни появлялся, потому что все сущее в мире вовсе не для человека, а само по себе.

Всякие мелочи привлекали теперь его обостренное внимание: и птица на дереве — совсем Жеглов, только бы

пенсне для сходства! — и дрожкая преждевременная латунь ржи, и собственная его длинная тень, взъерошенная травою. Солнце садилось, и замшевая теневая мягкость обволакивала природу. Никто не попадался на пути. Из деревни понеслась разухабистая песня, — повидимому, начиналась там всемужицкая пьянка. За редкодеревой рощицей объявилась насыпь строительной ветки; Увадьев поднялся. Босые дети, пятеро, бегали по нагретым рельсам; ему показалось, что одну девочку он узнал... наверно, это была, смешно сказать, мать той самой будущей Кати, для которой в таких муках переплавлялась планета. Увидев хозяина ветки, дети сбились в стайку и привычно ждали брани. Он был совсем черным и безликим на застывших пламенах неба. Он глядел сурово и без улыбки на это второе поколенье, которому — хочет он или не хочет — все равно будет однажды принадлежать жизнь. Не слыша брани, девочка несмело предложила ему с такой же резвостью пробежать по одной рельсе; в ее глазах он прочел искусительный вызов разделить с ними игру, но не сделал и попытки. «Стар, чтобы по рельсам. Сорок — ступенька вниз, а чем дальше, тем все мельче и легче ступеньки, сами под ноги бегут...» он молчал. Ежевечерне в девятом часу проходила моторная дрезина с почтой, и шофер всегда гнал в этом участке, торопясь к ужину и пользуясь прямизной пути.

— Спать, спать, тараканы! — сказал он тихо, а сердце еще билось от подъема.

Дождавшись ухода детей, он свернул на дорогу и вошел в поселок. Всюду рос папоротник, так как вчера еще тут был лес. Под ногами хрустела щепа, из которой только что начали вылупливаться свежие, с толевыми крышами, бараки. В третьем налево тускло горел огонь; мелькнуло желание — войти, присесть на жесткую койку, устланную лоскутным одеялом, слушать затаенные раздумья этих вчерашних земледельцев и хоть на полчаса заглушить в себе одинокую тоску и другую потребность, в которой не сознался бы и сам себе. «Подумают, с ревизией на ночь глядя притащился!» В окнах у Потемкина было темно: «Наверно, спит, пускай отоспится за весь год!» Ничто на протяжении полуверсты не остановило его. Верхнее, угловое окно двухэтажного дома, где помещалась химическая лаборатория, зеленовато светилось. Не замедляя шага, он

круто повернул к крыльцу и с иронической усмешкой на самого себя стал подниматься по лестнице.

Она скрипела, точно втаскивали вверх неуклюжую какую-то мебель; и опять билось сердце, но теперь это было совсем не то. Дверь он распахнул сразу, не стучась, как бы намереваясь застать кого-то врасплох. И правда, у Сузанны сидел Бураго; обхватив колено руками, он пристально глядел на нее, склоненную над микроскопом. Зеленый колпак лампы наполнял комнату приятными глазу сумерками. Молча поздоровавшись, Увадьев со странным облегченьем присел на подоконник; именно неудача его посещения, которому он придавал непонятную значительность, и радовала его.

— Так, очень гут, — сказал Бураго, и Увадьев догадался не сразу, что речь идет о сотинской воде. — Как кислород?

— Здесь — пять запятая семь, — напамять ответила Сузанна.

Бураго лениво сунул себе в рот папиросу.

— Значит, рыбки тоскуют?.. от предчувствия, что ли?

— Не знаю... но на стрежне десять с небольшой дробью миллиграммов на литр. — Она мельком оглянулась на Увадьева, который никогда не приходил без дела, да и вообще мало имел отношения к ее работе. — Есть гуминовые вещества...

— Это ничего, это болотца за Пыслой, мы их прикроем! — Взяв со стола склянку с оранжевой жидкостью, он одним глазком посмотрел ее на просвет. — Иван Абрамыч, Потемкин-то серьезно кранкен, а? — Он знал, что Увадьев в секрете от всех изучает немецкий язык. — Лейкемия... а вы знаете, что это... — Он не договорил. — У вас никогда не будет лейкемии, да. Быть вам начальником Сотьстроя, помяните мое слово. Что это? — спросил он, ставя склянку на стол.

— Это?.. — Просто спирт метиловый, — сказала Сузанна и стала сменять объектив.

— Жителей на кубический сантиметр много? — продолжал допрашивать Бураго.

Она покрутила кремальерку и привстала из-за стола:

— Хотите взглянуть?

Инженер громоздко поднялся со стула и всей тушей наклонился над микроскопом. Увадьев все еще видел

мелочи, не нужные ему: волосатые ноздри Бураго раскрылись, он что-то нюхал, этот умный и сильный человек, а глядел куда-то мимо окуляра, в розовую ладонь Сузанны, кинутую на столе. Вдруг, ощутив неловкость минутного промедления, он нехотя отвалился на свое место.

— Да, житель суетится не меньше нас с вами, Иван Абрамыч, — сказал он, сипло дыша. — А у вас цвет лица хуже стал, товарищ Сузанна.

— ...устаю! — Она что-то записала на разграфленной полоске бумаги. — Днем приходится ездить за пробами, а ночью работать...

— Я сейчас в овраге, под кустом, видел Буланина... с девицей, — совершенно неожиданно произнес Увадьев, и Сузанна посмотрела на него с вопросительным и испуганным вниманьем: это походило одинаково и на грубость и на преднамеренный намек.

— Что ж, монаху любовь в диковину. — Бураго пожевал мундштук папиросы, щурясь от дыма. — Хм, Виссарион? Это смешно, да. Вот тоже, вчера наш иностранец притащил мне клопа в спичечной коробке... распух весь, бедняга, от негодования. «Что это? — кричит. — Это меня кусает...» Я очень серьезно ему: это, говорю, взрослый русский клоп, человекососущий... по-латыни называется цимекс лектулария. Хорошо, я им отдам выговор в приказе по строительству...

И вдруг Увадьев, не отводя глаз, острым голосом спросил инженера:

— Кстати, Бураго, вы женаты?

Сузанна с нетерпением оглянулась на него, совершавшего вторую и, наверно, предумышленную оплошность. «Почему вам интересно именно это, Увадьев? Мы не звали вас, но ведь и не гоним...» — хотелось ей сказать.

Бураго предупредил ее вопрос:

— Так же, как и вы, Увадьев, как и вы! — В безразличную улыбку он переключил все раздражение, уже засквозившее в голосе. — Кстати, Иван Абрамыч, выпишите пузырьков сорок клопину... для сохранения международных отношений. Это уж по вашей отрасли, всякая там дипломатия.

Увадьев перемолчал издевку; в конце концов он сам полез в эту несостоявшуюся драку. Чутье подсказывало ему, что здесь он мешает более, чем во всяком другом

месте, и все-таки продолжал сидеть с тусклым канцелярским каким-то лицом. Для этой в сущности женщины он бросил жену и вот полгода ходит бараном вкруг заколдованного слова, которое и в мыслях страшится произнести: нежностей он бежал пуще пошлости, этот нелюдимый солдат и предок. В усиленной перегрузке себя работой думал он найти исцеление, а какая-то неутоленная частица его существа все жаловалась и скулила, как увертливая шелудивая собачонка, которой хочется засыпать глаза песком... Он имел странную способность к воображаемым разговорам; она-то и давала ему право на природную молчаливость. Исход ему представлялся так: зажмурясь и со сжатыми кулаками, он произносит, наконец, это неминуемое слово. «Не то, Увадьев, вы путаете, — насмешливо говорит Сузанна, и он знает, что она права. — Я для вас только ступенька лестницы, по которой вы идете все вверх и вверх. Вам нужно вернуться к жене...» — «Я все равно перешагну тебя!» В душевной дрожи, точно все слушали этот не родившийся никогда крик, он воровски протянул руку и взял папиросу из раскрытого портсигара Бураго. Кажется, никто не заметил его движенья, и тогда еще осторожней он украл со стола и спички; крал он, разумеется, у самого себя. Вслед за тем, устыдясь минутной слабости, он раздавил папиросу в кулаке и, не прощаясь, пошел вон.

— Что-то в сон ударило. Привык рано ложиться! — откровенно зевнул он на деланно-спокойный вопрос Сузанны; спичечная коробка все еще похрустывала у него в кулаке. — А клопину я вам достану.

Спать ему не хотелось, путь его был к берегу. Раздевшись под кустом, он почти свалился в реку. Нагретая за день вода совсем не охлаждала; ему пришлось долго нырять во всех направлениях, прежде чем напал на холодную родниковую струю. Она обжигала раздрябшее от зноя тело и возвращала ему волю. «Эко бревно кувыркается!» — усмехнулся он на самого себя. Фыркая и отряхиваясь, он вылез на берег час спустя; мир снова приобрел утерянную было простоту, необходимую для существования в нем. Попрыгивая, чтоб вытрясти воду из ушей, он легонько постучал себя в грудь: «Эге, звучит, как колокол, — с удовольствием отметил он. — Нет, еще не отстает моя кожа от костей...» С воды поднялась

вспуганная чайка. Опять мимо избяных ям старой Макарихи он выбрался наверх; спать совсем расхотелось, и оттого, что одиночество тяготило, а первой постройкой, какая встретилась, был клуб, он вошел туда.

Сторожиха бесстрастно подметала пол; в пыльном облаке она горой так и надвигалась на Увадьева. Теперь здесь владычила метла. В клубе никого не оставалось; только два арматурщика доигрывали партию в шашки у окна. Увадьев обошел комнаты и, увидев в одной из них ящик радио, с любопытством вскинул на голову холодящее кольцо наушников. На черной панельке магически зажглись зеркальные лампы. В безмолвии ночи кто-то пискнул сперва, и вдруг оглушительные свисты и грохот как бы ссыпаемых камней ворвались в мембраны. Морщась, он слегка покрутил рычаги настройки и в ту же минуту услышал веселую музыку. Это был несомненный танец, расплывчатый и отдаленный, точно Увадьев внимал ему в слуховой бинокль. Мельком он покосился на стену, где висела таблица волн радиостанций. «Германия... танцует!» Ему было так, точно приложил ухо к искромсанному недавней войною телу и слушает самую душу ее. Тотчас он снова завертел рычаги, оглушая самого себя и волшебным шагом просекая материк. Игривая, щекотальная мелодия, постигаемая лишь пятками, возникла в трубках.

Он быстрее завращал вариометры, лишь изредка справляясь с таблицей, точно с адресной книгой. Наряженные в треск грозовых разрядов и вой чарльстонов проходили души стран. В атмосфере было неладно, новые бури собирались над миром. Мембраны доотказа насытились их взрывчатой силой и грозили лопнуть. Склеившись в пары, мир плясал, в мире происходило чрезвычайное веселье, и даже мелкие державы, задрав подолы, приплясывали в своих захолустьях. Увадьев слушал, и, может быть, его единственного заставляла думать эта дикарская музыка, в которую то и дело врывался страдальческий акцент человека; он смеялся беззвучно, боясь помешать танцовальному сему неистовству. Временами слуховое поле загромождал грохот военного марша или как бы артиллерийской пальбы и непонятный вкрадчивый шелест... может быть, где-то уже наползал иприт?

В медные подобья гусиных глоток дули грустные безработные полковники; это было в Девентри, а в

Будапеште кто-то во всеуслышание ломал рояль. В Тулузе тихо пели негры; в синкопированных, как бы на дыбу вздернутых тактах звенела натуго закрученная пружина. «О, она еще расхлестнется, когда над миром снова полетят гремучие бутылки войны!» Он почти прошептал эту мысль и вот насторожился. Знакомая песня поднялась вдали, и, хотя ее тубафонили чужие люди, он узнал ее. Эта песня катилась впереди голодных солдат революции, и за право вложить в нее новое содержание было заплачено кровью лучших. Искаженная до гримасы, взнузданная похотью, она еще не утеряла своей страшной призывающей силы, хотя и сопровождало ее явственное шарканье лакированных ног. Под нее танцовали... Он защурился и вдруг почувствовал, как у него от гнева задрожали колени. Тогда он брезгливо бросил трубки на стол, и с минуту они шипели подобно головешкам в воде. Лампы потухли, наваждение кончилось.

Мимо сторожихи, ждавшей его ухода, чтоб запереть на ночь, он с закушенной губой вышел во двор. Подувал ветер, и лес шумел. Издалека несся чудной жалобный стон; наверно, осина терлась об осину или кричал лесной чорт, придавленный деревом. Небо застлали тучи. В реке плеснулась рыба: может быть, ей приснился скверный сон. На лугу, который тотчас же за лесной биржей, поржали кони. Увадьев шел спать, день его был закончен. Тропинка приводила прямиком к одной из старых изб, сохраненных для жилья. Увадьев вскинул бровь: дверь его избы стояла раскрытой, а красть у него было нечего. На синем пятне окна чернел острый и знакомый профиль Геласия, который не обернулся даже на шорох хозяйских шагов.

В кармане еще сохранился украденный у Бураго коробок. Спичка брызнула серой: Увадьев торопился выбраться из этих подозрительных потемок. В руках у Геласия не было ничего; он потому и пришел, что вообще ничего у него не оставалось. Волосы свисали на лоб; к рассеченной при каком-то паденье безбородой щеке его пристала земля. Простиранная, милостынная рубаха забрана была в белесые, грубого тканья штаны. Только и осталось у него от монаха — широкий ремень с продольной бороздкой, который стягивал тощее иноческое брюхо. Спичка стала жечь пальцы Увадьеву.

— Дай-ка лампу... вон со стенки. Да не разбей! — коротко приказал он. Тот вздрогнул, но не двинулся, и Увадьеву самому пришлось возиться с лампой. — Что ж, братец, убивать пришел, а сидишь — хоть дегтем тебя мажь. Действуй, вообще шуми!

— Водчонки... — прохрипел Геласий.

— Вот, вот, сейчас в кабак для тебя побегу!

От Геласия несло луком; последнее время, видимо, он и питался только хлебом да луком, который начал поспевать на чужих огородах. Не спуская глаз с него, Увадьев присел рядом и тронул его плечо; тот взглянул испуганно, точно ждал побоев. Теперь он сидел сутуло, пряча ладони в коленях и с закрытыми глазами; теперь это было распаханное поле, в котором всякое, что ни сунь, вырастает вдесятеро.

— Огорбел, вымазался, несет от тебя... теперь тебя и помелом не вымоешь. Ну, о чем же нам с тобой говорить! Где скуфья-то у тебя, ты в ермолке-то больно хорош был...

— На заплатки извел, — без выраженья солгал тот.

— Епитрахиль свою чинил, что ли? Где же она, чиненная-то... прогулял епитрахиль?.. или как она там называется?

— Рясу ребята у меня стащили... для смеху. — После ряда бессонных ночей, губы его стали тверды, как роговые, и болели, когда понуждал он их пропустить слово.

— Ну, станешь в картузе ходить. Только постричься тебе, инок, придется. На такую швабру и бадья мала!

— Водчонки, — опять проскулил тот, царапая ногтями лавку.

Увадьев надвинулся и с маху стукнул кулаком по столу.

— Брось, выгоню! — прикрикнул он и почти с повадкой Варвары поглядел исподлобья, много ли напустил страху. — Где, когда живешь, дубина? Я хожу да гвозди на дороге подбираю, потому что... — он оборвал и тоскливо поморщился на пятно куриного помета, приставшего к плечу Геласия. — В курятниках, видно, ночевал. Ну, раздевайся весь к чорту! Ишь, рубаха-то прямо корешки в тело пустила. Так... Теперь марш в огород, там у меня бочка врыта. Иди, говорю!

— Отвернись, не взирай на меня... — проскрежетал Геласий, все еще дрожа и повинуясь неохотно.

— Ничего, брат, я не девушка. Я тово... не девушка я, — говорил Увадьев и хлопал, как коня, по тугой и голой спине; на дворе уже накрапывало. — Ну, плещись теперь, не жалей воды... воды не жалей, говорю, новая натечет! Смывай свои струпья, балбеска...

Была тепла вода, замшевшая и слизкая от перестоя, а тот жался: тошнее смерти было ему, питомцу Евсевия, мытье. Увадьев зачерпывал ковшом и плескал в него как попало, пока не обнажилось днище бочки.

— ...домой теперь! Да не спеши, не простудишься. Ну, вот и крестили парня в новую веру. Лобик-то давай я тебе иодом намажу, ничего, потерпи. Получай амуницию теперь — сапоги, рубаха, штаны. Бери, бери, у меня трое штанов: заработаешь — отдашь. Теперь ешь, пружину смазать надо... — Он сам нарезал ему хлеба, налил молока, сбегал надергать на огороде тощих морковных хвостиков: — Ешь, велю, ешь!

Есть ему не хотелось, зато пил жадно и много; излишек воды тек у него по рубахе. Умытый, в чистой рубахе, и с волосами, налипшими на уши, с коричневой отметиной на щеке, он еще более выглядел чудовищем, вылезшим в жизнь из дупла. Побагровевшие глаза смыкались.

— Гроб у меня тут... — неожиданно тихо молвил Геласий и показал себе на грудь.

Увадьев откровенно рассмеялся:

— ...и говоришь-то все еще под титлами. Клейкая душа у русского человека: налипнет на нее, а там хоть с кожей смывай. На тебе, на чорте, бутовый камень возить надо, вот... Тебе жить надо, и так жить, чтоб — спросят тебя: «Что, человек, делаешь?» и тебе б не стыдно ответить было. Предайся делу науки, безграмотный ты человек! Учись, соси соки, читай умные книги... — Он запнулся, сам не зная многих из тех, которые хотел бы перечислить, и в досаде раскрыл книжку, валявшуюся на столе. — Вот, это немецкий язык, например... эс лебе ди вельтреволюцион! Это очень полезно, братец, знать, очень полезно. На свете уйма книг, и, когда все прочтешь, не верь, а ищи сам продолженья, делай наново, по-своему.

Так ковал он геласиево железо, пока было оно раскалено. Тот уже спал с открытыми глазами, и не понять было, насколько прочна была увадьевская ковка. Тогда он уложил его спать на овчине, у порога, а сам сел за

письмо к Жеглову, которое несколько дней спустя должен был отвезти к нему Геласий. «Будешь браниться, друг, — писал он там, — что развлекаюсь этакими пустяками, но ведь сам же ты отыскал в людском навозе Ренне, сам же настаивал, что всякой ошибке надо меньше огорчаться, чем радоваться каждому лишнему успеху. Верится мне, что можно кое-что выстругать из этого бревна. Определи его куда-нибудь, в школу десятников, например, если таковая найдется. Поставь его на умственные колеса в этом смысле...»

В никелированной ламповой жестянке отражался он сам, с расплюснутым носом и тесно составленными глазами: таким, наверно, представлялся он Геласию. Приподняв лампу, он взглянул на разметавшегося по полу. В овчине водились блохи, но тот не слышал; почти фиолетовый румянец выступил на его скулах, а пальцы впились в шерсть овчины: он отсыпался за всю свою жизнь. Подумав с минуту, Увадьев старательно спрятал к себе под койку все режущее и колющее; не веря ни в какие загадочные натуры, он понимал, однако, что в подобных случаях осторожность с таким человеком не повредит. Потом он снова сел за письмо: «...боюсь, что сезонникам придется прибавить процентов пятнадцать, чтоб удержать от отлива на полевые работы. Потемкин лежит, и удастся ли починить его местными средствами — неизвестно. Думается, первое перекрытие бумажного зала поспеет недели на две раньше календарного срока, и, если не задержишь с чертежами...»

С вопросительным лицом он прислушался к крику ворон на огороде.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Вороны горланили не зря; к полночи подвалило туч, и погода рывком перемахнула на мокредь. Ночь продолжалась, и в ней двигались люди. Пользуясь соседством двух праздников сряду, в Макарихе только приступали к торжеству, и в крохотной шонохской больничке уже готовились к приему пострадавших. До полночи, однако,

никаких особых происшествий не случилось, так как Василий, бродильный грибок всякого бесчинства, пластом и с припудренным носом, лежал у себя в чуланчике, слушая, как плещет и плачет у запертого колеса вода. Обезглавленная таким образом ватага частью действовала вразброд, а частью присосалась к Селивакину, от которого при случае также можно было ожидать великих и богатых милостей. Только и было шуму, что в савинской избе; повинуясь зовам крови, братья приступали к обычному сражению.

Новооткрытый клуб не вмещал всех жаждавших посмотреть на «трубу воздушного разговора», и Виссарион счастливо догадался выставить радиорупор на подоконник. Но при этом надо было стоять, а ноги требовали себе иного веселья. Через час у клубного окна не осталось и трети; кстати тут мокрым ветром стало заметать и разогнало последнюю горсточку. Пыль поднялась столбом, и скоро весь иссушенный прах полей задымился над Сотью. Тут-то и побежала Савиха за председателем, властью которого только и можно было отпугнуть братцев от беспутного развлеченья. К дракам она давно привыкла, дальше пачкотни да раздирания одежи дело не шло, и теперь, локтями продираясь сквозь бурю, размышляла она лишь об этом очевидном посрамлении мирового безбожия. Чары о. Ровоамова разбудили природу. Судороги неба вихрили померкшую зелень, ветер наворачивал непогодные студни над Сотью, — изредка крупные капли его пота пощелкивали бабку по носу... И когда неслась Савиха мимо нового советского капища, рявкнул на нее голос из-под земли, такой толстый, что у старухи и ноги подломились. Впрочем, присмотревшись к темноте, бабка тотчас успокоилась: радиорупор, стянутый бурей с окна, орал в траве во весь свой черный зев, и унять его было некому.

— Ори, голубок, ори! — подбоченясь, пригрозила бабка. — Нас земля, а тебя ржа поест несытая... — И с разбегу ударилась в клубную дверь.

Была она дородна, по присловью мужиков — не баба, а овин цельный, и, едва ввалилось этакое событие, тотчас человек, стоявший впотьмах у читальни, неспешно отошел в глубь коридора. Догадливая по природе бабка сразу поняла, что в читальне происходит нечто; и правда, пользуясь

совершенным уединением, Лукинич выкрамсывал ногтем лоскуток из газеты, содержавший заметку об очередных макарихинских всячинах. Завидев Савиху, председатель как-то распетушился и, хотя не курил, сделал вид, будто свертывает себе из того лоскутка сверхъестественную папироску.

— Батюшка, уйми... батюшка, сейчас рубахи клочить почнут, — сгибаясь от одышки, взмолилась бабка. — Ноне, батюшка, и ситцов таких не достать... хоть записочку напиши, чтоб унялись! — и для большей убедительности коснулась председателева плеча.

Председатель медленно обернулся, старухе почудилось с перепугу, что не голова, а один сплошной рыжеватый глаз восседает на загорелой шее Лукинича... Да и вообще все тут обстояло неблагополучно: висячая лампа качалась и коптила, плакаты шуршали на сквозняке, и оттого получалось, будто они шушукаются между собою, а сам Лукинич, вопреки обычаю, сидел босой и беспоясый, как бы набатом поднятый со сна.

— Не трожь меня... — страшно произнес председатель, устремляя в бабку палец, измазанный чернилами. — Не трожь, я казенный человек...

Старую так и шарахнуло, точно рога на власти выросли, а власть, по существу, не столь и хмельная была, сколь обескуражена заметкой. Подписанная загадочным именем — *Тулуп,* она не изобиловала фактами, но между строк в ней читались зловредные вопросы, задать которые мог на свете лишь отец его, Лука; и под десятком таких тулупов Лукинич учуял бы Проньку, — немудрено, что, загоняемый в смертную щелочку, пытался старик хотя б через газету отсрочить неминучую. Теперь, шатко направляясь к дому, Лукинич знал, что заставляло его спешить: он шел на окончательную расправу с отцом. Папоротниковые заросли, еще не вытоптанные скотом, зря цеплялись ему за ноги; напрасно в обратную сторону воротил его ветер. Изба стояла запертой, на стук не отзывались, председатель влез в окно. Слюнявый отпрыск его спал, а бородатой няньки возле не было. Тогда со спичками председатель обошел весь дом, — кошка не прошла бы неслышней; он нашел старика в омшанике. Сидя на корточках, бессильный противостоять старческой прихоти, Лука слизывал с крынок молочный отстой, и на бороде его повисли

блудливые тягучие улики. Лукинич шагнул вперед, вздымая бровь, и в ту же минуту Виссарион, который вышел прибрать радио из-под окна, услышал краткий сплющенный ветром вопль.

...рос дурман у самого крыльца; непонятно, как и когда сюда припутешествовали эти дымчато-желтые цветы. Выскочив из избы, Лука пал на колени и, ерзая, набивал себе рот отравной этой травою: теперь к сумасшествию он был ближе, чем к смерти. Наверно, он и нажрался бы ее до последнего насыщения, не случись поблизости человека. Всхлипывая и шаря длинными руками мрак, Лука метнулся на людской голос, обещавший если не помощь, то участие. Он едва не сшиб Виссариона, и тот, отталкиваясь, схватился за голову Луки.

— ...за руку меня держи, в коморочку мене... — всхрапывал Лука, обвисая на руке человека. — Милае, хотел мертвым притвориться, да силы нет. Милае, что он со мной деет-то?.. во мне на сто годов пружина, а он мне, милае, скорлупку пробивает...

— Ступай, ступай, отец! — сопротивлялся Виссарион, как умел.

— ...попить, попить бы, не то умру. Врет он, врет, будто в Питере у францужены в любовниках ходил, врет! Он людей давил в участках, давильщик... он и музыку-т заводит, чтоб не слышать... не слышать их!

Как во сне, он отвечал на вопросы, которых Виссарион ему не задавал. В его лице, размытом временем, метались воспоминанья, которые он выговаривал механически, без размышленья; ценой остатка жизни он покупал чужое участие. Он бессилел с каждым словом и скоро выпустил из рук нечаянного сообщника своей мести; теперь он сидел на мокрой траве пустей и смятей вымолоченного снопа. Виссарион бежал от него, потрясенный внезапным знанием; всякими сведениями он и вообще не пренебрегал, а это давало ему, хромому, негаданную подпорку. За околицей, под свежим ветром, он остановился. «Надо когда-нибудь начинать», — подумал он и уже раскаивался, что раньше времени покинул Луку; надо было расспросить подробней, тихо и вкрадчиво, как разговаривают со спящими. Через полчаса блужданий он стоял все еще только за деревом против председательской избы. В окне горел свет. Пожалуй, только усиливающаяся изморось погнала

Виссариона на крыльцо. Он кидал в жизнь самого крупного своего козыря. Надо было крепко держаться за скобку, чтоб не шататься; он был как пьяный, и удачливая мысль ввалиться пьяным к председателю несколько подбодрила его. Второй порог переступить оказалось уже легче... Склонясь над зыбкою, Лукинич баюкал сына.

— ...чего? Завтра приходи!

— А, гостей гонишь, — заплетаясь, посмеялся Виссарион. — Закуску ты припрятал, значит?

— Ночного гостя железной закуской кормят, — шопотом процедил Лукинич.

Подозревая умысел в ночном посещенье завклуба, он вдруг и сам стал придерживаться того же тона, и с той минуты, кто из них был искусней, тот и пьяней.

— Чего надо-то?

— Дай трешницу, — в упор сказал Виссарион.

Все еще не доверяя хмельности гостя, Лукинич украдкой заглянул ему в глаза, и тот с пьяным бесстрашием выдержал этот взгляд.

— Откуда у меня деньги!

— Не обижай, нам с тобой в дружбе надо жить!

— Чего дружней — оба пьяные! — притворно зевнул председатель. — Садись, если можешь.

В скучном пространстве лежала под лампой васильева спичечница; следуя пьяной логике, Виссарион тотчас перекинулся мыслью на инвалида.

— Знаешь, ты за Федотом следи. Они теперь и деревню могут сжечь... Ха, нищему пожар не страшен! Им куда нонче путь, раз изовсюду выгнали? Им в бандюги путь... А ты за мной все следишь! — Похоже было, что, подозревая присутствие Василья в избе, он пытался выманить его из убежища; он ошибался, — Лукинич подобрал спичечницу на лугу, где обронил ее инвалид.

— Это тебе пьяному мерестит, — усмехнулся председатель.

— Я пьян, да помню. Тебя в газетине с песочком пробрали? Высоко забрался, ниже лететь. А ты под меня норку роешь, арапствуешь, крот! Смотри, падать вместе будем, а тебе больней.

— Ты к чему?

— А вот трешницу-то пожалел для приятеля, а, небось, сколько в прежние-то годы по участкам наполу-

чал! — фальцетом захохотал Виссарион, и сам удивился искусности своего притворства.

— Не хохочи, парнишку взбудишь, потом час укладывать. — Председатель лениво придвинулся поближе, и пахло от него не хмельным, а чем-то кислым, ребячьим. — Ко мне шел — Луку, что ль, встрел?

— Было дело, да лень докладать, — усмехнулся тот, играя спичечницей инвалида.

— А-а, — очень спокойно протянул председатель и, взяв спичечницу из рук гостя, долго разглядывал тусклые радуги в ней. — То-то и смелости у инока. Может, музыку тебе завести? Не хочешь... а чего хочешь-то?

— Трешник хочу, — с настойчивостью бросил Виссарион и упорно смотрел в левый, совсем мертвый глаз Лукинича; казалось, зрачок его совершенно растворился в белке.

— ...а если не дам? — тихо спросил председатель и вдруг взмахнул кулаком над головой гостя, но никакого события не произошло. Виссарион скалился уже в сажени от него, готовый обороняться хоть зубами. Лукинич грустно покачал головой: — А ты пужлив, гаденок... образованный! Гляди, рази этим бьют? — Он брезгливо разжал кулак, там лежала тряпица с нажеванным мякишем, соска сорокаветовского отпрыска.

— Вот теперь уж и трешницы не возьму, — весь красный от обиды, пригрозил Виссарион, поднимаясь одновременно с хозяином. — Завтра сам принесешь, просить будешь, а не возьму... Не провожай, там не заперто.

— Пужлив, даже отрезвел со страху, — напряженно улыбался Лукинич, и руки, видимо, для пущего задору, держал за спиной. — Что ж, дружба — так дружба... с образованными людьми и дружить лестно. Я так и смекнул — рази образованному трешница нужна? Евонную руку и сотней не накормишь! Не беги, не бойся пока!

Не спуская глаз с хозяина, Виссарион вышел на крыльцо и лицом к лицу столкнулся с Лукою, который возвращался. В свете из окна Виссарион увидел его длинный с перегибами нос, который влажно поблескивал: неслышный и крайне деловитый, уже шел дождик. Лука не узнал нечаянного сообщника своей мести. Пройдя шагов восемь, Виссарион прислушался: все было спокойно в только что покинутом доме.

2

Следовало ждать событий поутру, но никакого происшествия так и не случилось. Только укатил на дрезине Геласий с увадьевским посланием за пазухой, да, повинуясь общественной молве, выключили Проньку из ячейки. День начинался пасмурно; небо свесило мокрые свои вихры к земле, которая жадно намокла, но пересохшие травы пока не поднимались. Все же о. Ровоамов покидал Макариху, еле унося доброхотные даянья мужиков; при этом, кланяясь старушечьей кучке, провожавшей его до околицы, он крепче всех понимал, что волхвования его тут ни при чем. Ввечеру, потея за чайником в шонохском кооптрактире, он виновато поглядывал на брезентовый свой кулек и справедливо полагал, что убрался из Макарихи во-время.

Всю неделю, притихая лишь к сумеркам, барабанила в крыши непогода. Земля набухла, все поднялось, пырей да бутырник в огородах клонили к грядам свои раздобревшие вонючие мутовки. Тут бы и передышка ливню, но только на одиннадцатые сутки поразмело облачную размазню. Облака полосато разлеглись в высях, и, хотя до покоса оставалось еще полмесяца, мужики вышли закашивать на пойму. Еле продиралась коса в травяной гуще, и тогда Мокроносов, запотевший на третьем ряду, удивленно оглянулся на косцов:

— Эко рощенье! — сказал он тихо и, вскинув глаза на запад, откуда шла новая туча, прибавил: — Неча, товарищи, траву губить.

С поймы он ушел один, а остальные вернулись часом позже, злые и мокрые насквозь. Небо скуксилось, жестокий проливень хлестнул по полям; стало ясно, что подкошенных богатств не собрать. Луга полегли, яровые свалялись в синие войлока, в низинках появились воды, а картофельная ботва, с которой выбило весь цвет, задубенела; подкошенное горело в валах, старые стога почернели, земля стала пахнуть пивом... Впору было сызнова отыскивать кудесника Ровоамова, чтоб заткнул неосторожно приоткрытые хляби. Тут пошли новости: лесной ручей, преобразясь в поток, разломал колесо на красильниковской маслобойке, на Енге внезапной водопелью унесло стога, а в довершение всего пришла весть

с Нерчьмы, будто сплавщики выловили из воды утоплого попика, вздумавшего спьяну помыться в реке. Только эта последняя горесть и повеселила мужиков:

— Намолил, дубонос, да в воду!

По мере того как изливалась влага из небесной пробоины, стали подопревать хлеба, а подопревшее обломало градом. В прошлогодних копнушках завелась плесень, а потом один мальчонок докопался в стогу до белого червя и принес в спичечной коробке родителям на радость; драл его сосредоточенно сам отец, чтоб сызмальства разумел мужицкие беды, и мать не заступалась за любимца. Звери попрятались, и один скакал по лесу озверелый красильниковский ручей, скаля пенные зубы. В природе начинался бунт, и только Соть, несмотря на ежедневную прибыль воды, хранила свою величавую невозмутимость. Она еще молчала до поры, но запанный приказчик по нескольку раз в день пробегал по бонам запруды, вдоль главного лежня, и недобро посматривал на воду, ставшую вдруг необыкновенного цвета. Не имея, однако, в прошлом Соти плачевного опыта и полагаясь на начальство, он не догадался своевременно подвести под запань подстрелы — лежачие бревенчатые подпорки. Так бывало от века: лес накапливался в верхней запани, и лишь по мере надобности его спускали в нижнюю гавань, откуда проводили в сортировочные магазины. Все новые массы леса прибывали сверху, река загромождалась на целых две версты, и ко времени катастрофы сотинская запань удерживала многие десятки тысяч пиловочного и балансового леса, заготовленного впрок на пусковой период.

Запань была обычного типа, устроенная так, чтобы задержать у строительства весь спущенный на воду лес. Наискось к лесной бирже мокнул в воде грузный пеньковый канат, толстый, в толщину человечьей шеи. На нем, сшитые намертво ветвяными хомутами, лежали бона́ — плоты, притянутые к берегу десятью полуторадюймовыми оцинкованными тросами — выносами. Те в свою очередь зачаливались на крупные бревна, закопанные на сажень вглубь; бревна эти лежали прочно в прибрежном глинистом песке и, видимо, по внутреннему сходству, назывались мертвецами. Грозному этому сооружению, казалось, не страшны были никакие паводки, и Ренне,

ревизуя однажды утром свое детище, только на одно обстоятельство и обратил вниманье. Полагается устраивать запань тотчас за крутым поворотом реки, чтобы весь напор древесной массы приходился в берег, а тот, кто выбирал место для строительства, не предвидел стихийных бедствий на этой спокойной реке. На всякий случай запань была построена восьмидеревая; хотя и шестидеревой в обыкновенное время хватило бы с избытком... Там, у бережка, затесался в лесную гущу чей-то шестивесельный карбас; издали он походил на раскрытый рот птенца. Разговаривая с приказчиком, Ренне смотрел как раз на него; вдруг лес незаметно сдвинулся, и рот птенца противоестественно закрылся; тогда лишь Ренне и ощутил некоторое сомненье.

— Ты подкати чурочки под канаты, чтоб не прели.

Приказчик был старой выучки; босые его ноги, начисто отмытые водой, походили на корявые, плохо ошкуренные сапожные колодки. За свою тридцатилетнюю службу он уже привык к мысли, что, раз усмиренная, река повинуется до конца. Приказчик засмеялся:

— Хрест на груди, не пугайсь, Филипп Александрыч: тут же мертвецы, и на каждом выносе их по два. А мертвецы — рази они когда сдают? Они надежно держат, мертвецы... — И он притопывал пяткой по взмокшей глине, где были те захоронены. Он взирал на сгрудившийся лес взглядом старого жулика, которому ничего не стоит обыграть это тучное и глупое животное — Соть. Несмотря на неподвижность, гавань жила своею потаенной жизнью, и вот на глазах у него пятивершковое бревно, слабо кашлянув, сложилось пополам, как ему было удобней. Несчетная сила копилась здесь, и вдруг приказчик сокрушенно скинул картуз и жадно лизнул себе искусанные губы. — А дюже боязно, Филипп Александрыч: ведь их тут тыщ семьдесят, до самого дна, набилось... рыбе негде пройти. Ломает, без хрусту лес ломает, хрест на груди! Гляньте, гляньте сами хозяйским глазиком.

...установилась ясная, бессолнечная погода, но, судя по вихрастой бахроме на востоке, где-то на Енге и в верховьях Балуни все еще изливалась небесная благодать. Уровень в Соти повышался по вершку в час, от водомерной рейки оставался один кубик, а лес все прибывал; Фаддей Акишин, ухитрявшийся ежедневно побывать на

берегу, стращал, что воды в Соти еще значительно прибавится от слез людских. На строительстве ощущалась незряшная суматоха: вода грозила прежде всего огромным цементным складам, расположенным близ старицы — старого русла реки. Фаворов со всей землекопной оравой и двумя сотнями поденных мужиков вел земляную дамбу вдоль берега; и по ночам, и во тьме вбивали доски, заваливали глиной, а потом плясали на ней с искаженными от усталости лицами: так стерегли они воду. Впервые за сотню лет вода пошла через старицу, а раньше такая стояла здесь сушь, что только чешуйчатая травишка из породы толстянковых и водилась тут. Первые кряжи из запани уже ползли в нее, тараня вековые ивы, выросшие на их пути. Не осталось человека, уверенного в благополучном конце этой напасти, — все еще длилась облачная блокада. В дно старицы врыли сваи и заплели ивняком; верхнюю запань дополнительно укрепляли выносами. Семерых, не пожелавших временно поменять топоры на лопату или лезть в студеную воду, Увадьев уволил помимо рабочкома. Крайние выноса на коренной запани, которые еще трое суток назад работали вхолостую, теперь пружинили во всю мощь своих стальных жил. Запань выдувалась кошелем, а за нею неумолчно метался пенный всхлип воды. Река искала всякой щелочки, чтоб распахнуть ее с двухверстного разбега. Наспех разгружали машинные склады, куда могла дохлестнуть ожесточившаяся Соть; вопреки всем правилам, мужиков перевели на сдельную оплату. Явное начиналось восстание реки.

На исходе тридцатых суток прискакал верховой с вестью о начале катастрофы: верхняя запань встала ребром, и лес хлынул под нею в основную запань. Он скакал так, что потерял картуз в гонке; лошадь была в пене и дрожала не меньше своего седока; никто не заметил, что прибыл он почему-то в одних подштанниках. На глазах у всех Увадьев повел иззябшего человека к себе и, во искушенье многим, извлек ему из своего сундучка водки, чтоб заставить его говорить. По рассказу верхового, нечетные выноса верхней запани, загруженные лесом, поднялись над водой и этим лишили запань ее удерживающей силы. На расстоянии девяти верст он успел обогнать движенье прорвавшегося леса, который у строительства следовало ждать часа три спустя.

— ...спасибо за новость. Катись теперь взад!.. — крикнул Увадьев и вытолкнул его к толпе, стоявшей у крыльца.

Через полчаса у Потемкина, которому запрещено было выходить из дому, собрались на совещанье. Инженеры, занятые по работе, запоздали, и Увадьев пришел задолго до начала заседания. Потемкин лежал на боку, с гладко зачесанными волосами, и все вокруг него было до чрезвычайности чистенькое — и простыни, и бревенчатые стены, и самые пузырьки с лекарствами. Влажный лоб его поблескивал тусклым вечерним бликом, и по нему — еще более, чем по глазам, наивным и злым, — Увадьев понял, что пророчества Бураго, наверно, сбудутся. Увадьев сел и, поглаживая колени, бесстрастно глядел на заведующего строительством. Теперь это был не прежний Потемкин, который ушкуйником отправлялся когда-то в сплавные путины, — не тот, который год назад вихрил вокруг себя бюрократическую труху; теперь это был даже не солдат, — буравчики его глаз сточились, и было видно, что он больше всех на Сотьстрое боится реки.

— Река-то, а? Из годов вышла... — смущенно сказал больной.

Она правильно выбрала минуту, чтоб отомстить человеку, замыслившему запрячь ее в работу. Она не хотела в трубы, она хотела течь протяжным прежним ладом, растить своих тучных рыб, хранить свою сонливую мудрость. Она как будто молчала и теперь, но Потемкин-то слышал, как она кричала пространствам, чтоб поддержали ее бунт. В ней просыпалась ее дикая сила, воспетая еще в былинах; она стала грозна, она приказывала, и вот ветры, осатанелые бурлаки небес, потащили дырявые барки с водой, а леса зашептались, а птицы вились, и в самом кровоточащем лоне ее как будто открылись тысячи новых родников... Увадьев глядел на взмокшую от пота кудельку Потемкина, которую тот виновато покручивал на лбу, и подумал, что он, наверное, стыдится за свою реку, праматерь многих славных рек, которую хотел открыть миру.

— Скучно, небось, лежать?

— Нет, ничего, лежу... — и рука при спокойном лице резко дернулась в сторону. — Очень дышать трудно стало,

— У тебя разве?.. — Увадьев не досказал.

— Нет, у меня эта... лейкемия, — сказал Потемкин, справившись с какой-то карандашной записью на стене. — Все спрашивают, я и записал... — улыбнулся он открыто.

— А Бураго говорил, что белокровие?

— Так это то же и есть. Воздух какой-то промозглый.

— Да, льет.

— Лежу и все слушаю, по крыше-то точно сапогами ходят. Слушаю, брат, и все сучки в потолке считаю. Кажется, что мало, а ведь их там — знаешь сколько? Шестьдесят восемь сучков. И потом, чудно, мухи на них почему-то не садятся!

Увадьев оторопело поднял голову, как бы с намерением проверить наблюдения Потемкина:

— ...не садятся, говоришь? Странно, а может быть, они к смоле прилипают: лес-то ведь новый, течет. — Он помолчал, пока Потемкин кашлял. — А не чахотка ли у тебя, товарищ!

— Это ты про кашель? У нас родовое: отец и во сне кашлял и градусы имел, а до пятидесяти трех плоты сгонял. Не-ет, у меня лейкемия. Это когда белые шарики одолевают красных, понимаешь? Я думал, это только у людей бывают белые и красные. И очень мне это печально, что во мне самом это самое, — со злостью сказал он и сухо кашлянул, точно поставил точку. — Воды много?

— Полтора метра выше ледоходного уровня.

— Шалит дочка... Верхнюю запань перевернуло? Что же Ренне-то глядит...

— Гнать его надо, — резко сказал Увадьев.

— Не знаю, я теперь мнителен стал. Не наш человек, штабной, ему бы в тресте сидеть. Конечно, у него свои повадки, свои истины...

— Истина — это то, во что я сейчас верю! — Увадьева сердило потемкинское многословье.

— Я понимаю, диктатура, — смутился тот, — но ведь есть бритва, которой бреются, и есть топор, — им лес рубят. Каждому свое, а перепутаешь второпях — либо рожу обдерешь, либо дорогой инструмент попортишь. Ты меня только пойми правильно! Мне и самому Бураго жаловался...

— На Ренне?

— Да... Подбитый он, вкуса к работе нет: одна эта фуражка его с острыми полями чего стоит. Я с ним говорил, а он — в революции, говорит, ветров слишком много дует, и оттого нет человека без отслоя, без ветреницы... Он на людей-то как на товарный лес смотрит! Рабочие его не любят... — строгим шопотом прибавил он и, торопясь предупредить увадьевский вывод, подмигнул дружески: — Да и ты хорош, наэкономил: насыпь-то размыло?

— Чиню, кое-где столбы поскидало. Болота сосут, глотка хрипнет от ругани. Намедни арматуру сваренную прислали, пробовал на разрыв — ломается. Хозяина настоящего нет... — Он встал и нетерпеливо гладил спинку стула. — Слушай, Сергей, я написал кому следует — тебя надо сменить, самая драка теперь... Ты поезжай лечиться. А Ренне надо гнать, мы не богадельня, мы — фронт.

— Они тоже намекали... что пора ехать. Ты как думаешь, вернусь я? — Увадьев молча отошел к окну, и в голосе Потемкина просочилось крикливое и мучительное одиночество: — А дочку... дочку его ты тоже погонишь?

Увадьев медленно оглянулся и, пристально поглядев на его острые, выдававшиеся под одеялом колени, подумал, что, должно быть, это очень неприятно — умирание. Смягчась, Увадьев собирался предложить больному лекарства, но тут стали приходить люди. Все они, от Бураго до представителя рабочкома Горешина, приносили с собой мокрый запах ветра и какую-то шумливую, неверную бодрость. Потемкина обложили подушками и таким образом заставили сидеть. Поминутно прерываемое телефонными звонками совещание началось, и с первой же минуты стало ясно, что нет никаких сил вести собрание в обычном порядке. Говорили не в очередь, торопясь высказать свои соображения, ибо основная масса леса уже катилась на штурм сотинской запани. Длинношеий рабочкомец сразу же сообщил, что из рабочих образовалась добровольная бригада, готовая проложить через запань дополнительные тросовые перехваты; его уполномочили лишь просить снастей для крепления. Наступила тишина, и вдруг Ренне засмеялся; смеялся только он один, и все враждебно смотрели на человека, тратившего на это свое гражданское мужество.

— Вы вообще против всяких мер? — и глаз Бураго выдулся подобно пузырю на луже. — Вы ручаетесь за качество своей постройки?

Ренне подогнул голову.

— Моя мысль — лучше отслужить молебен, — как-то через силу усмехнулся он, и вдруг в сознании его завилась полузабытая мелодийка: «Ерой-ерой, а у ероя...» Он закусил губу и провел рукой по лицу, как бы стирая с него стыд за неуместную шутку. — Это манера говорить — да — я понял. Опасно — людей нельзя — поздно.

— Люди есть, люди хотят, — горячо бросил Горешин, — ...и потом мы теряем в этом деле больше, чем вы! — Он тотчас же поспешил смягчить намек. — Мы теряем хлеб и работу.

Бураго перевел глаза на Увадьева.

— Я вообще привык драться до конца, — пожал тот плечами.

— У меня на Урале — давно — двадцать тысяч унесло. Лучше лес, чем люди, — начал заикаться Ренне.

— Что до меня, я за! — грубо прервал его Бураго. — Ступай, Горешин, я позвоню туда по телефону. Я уважаю вас, товарищи...

Заседание продолжалось и после ухода рабочкомцев; говорили все о том же, о бесновании стихий, а Потемкин уже теребил какую-то вчетверо сложенную бумагу.

— Нас пугают, конечно, не убытки, — заговорил он тихо, не глядя никому в глаза, — а именно возможность приостановки работ... если это случится. Кстати, час назад я получил бумагу, товарищи... тут что-то не так, надо драться. На, сам прочти! — и передал бумагу Увадьеву.

Тот начал читать вслух и неожиданно смолк на полуслове.

— Чего же драться, не от хозяина работаем! Собирались хлеба вывезти двести восемьдесят миллионов, а вывезли тридцать... дело ясное! — Он еще не знал, что сотинское ненастье происходило одновременно во всей стране: стихии действовали как по сговору. Все вопросительно уставились на Увадьева, и тогда он четко, точно приговор, дочитал ее до конца. — Понятно?

С предельной краткостью в бумаге предписывалось свернуть ряд работ и отнести их во вторую очередь,

а кроме того, еще в текущем месяце сократить до тысячи строителей. Неизвестно, было ли это сокращением общего плана строительства; можно было лишь догадываться, что случился какой-то непредвиденный просчет, и за счет Сотьстроя предполагалось вести в прежнем темпе более крупные строительства, остановка которых грозила уже политическими осложнениями. Повидимому, высшая инстанция не запрещала Сотьстроя только ввиду уже произведенных расходов. По новой смете до конца хозяйственного года строительству предоставлялось всего восемьсот тысяч, — цифра, обозначавшая провал Потемкину, который, имея обещание на восемь, размахнулся на двенадцать миллионов. Бураго иронически кривил рот, пуская кольца дыма в самое лицо Потемкина, неторопливо складывавшего бумагу. Он сложил ее вдвое, вчетверо, ввосьмеро, стремясь к какой-то последней, уже неделимой дроби... Обсуждение пошло по линии возможного сокращения расходов, и тут Фаворов высказался за добровольное уменьшение ставок техническому персоналу. Нужна была фаворовская неопытность и сугубая тревожность часа, чтобы предложить именно такой выход. Оплата всего персонала не превышала трех процентов от всех затрат, а при шести израсходованных миллионах это дало бы максимум двадцать пять тысяч рублей. Кроме того, этим нарушались индивидуальные договоры, и Ренне, иронически возражая против этой меры, указывал, что это в несоизмеримой степени понизило бы рвение к работе. Увадьев засмеялся плоским, удлинившимся ртом и откровенно подмигнул Бураго; тогда-то Ренне и взорвался:

— Не нравится — смеетесь? Уверены — купили меня крепко — не верите — поставлены глядеть за нами! Вы платите мне всемеро — чем сам — про вас песни сложат — да... а я спец — наемный солдат — швейцарец из папской гвардии — не за что уважать — а тут есть моя кровь — нервы — моих дедов!

— Не надо нервничать, — примирительно и с пятнами на щеках вступился Потемкин. — Мы рады всякой честной силе, которая идет с нами... но, сами знаете, люди вашего класса...

Увадьев сердито расчерчивал ногтем выгнутую свою ладонь:

— Нет, зачем же! Ты требуешь, и мы даем. Нам нужно знание, оно стоит дорого: мы платим. Мы ж богачи, мы постановили истратить четыреста семьдесят пять миллионов на одно бумажное строительство. Что ж, пускай он просит у меня дачу в Ницце, автомобиль в Париже, красавицу в Сан-Франциско. Мы, нищие, но мы можем! — Он едва нашел силы согнуть свою каталептически выпрямленную ладонь. — Нет, уже лучше получай, гражданин, свои тыщи!..

Лицо Ренне налилось темной краской; он собирался сделать возражение, ответ человека, у которого выбита из рук винтовка; вдруг он заметил чуть презрительную усмешку Бураго и догадался, что тот стыдится его.

— А вы смеетесь — весело — мы только суперфосфат для них — коровы, пока не добыт научный синтез молока. Вы... — и, казалось, самые зубы прыгали в лице Ренне.

— Ну, я-то не суперфосфат... — строго начал Бураго, но тут зазвонил телефон, и оттого, что аппарат ближе всего стоял к нему, он прежде остальных схватился за трубку. Свободная его рука порывисто щипала шнур, как бы стремясь разъять его на волокна.

— Что-о?.. какие дверные ручки? — закричал он в трубку. — Что-о? к чорту, не мешайте говорить, товарищ! Да... слушаю, — и почти тотчас же бросил трубку. — Господа, — сообщил он, волнуясь, — порвался средний вынос... убило человека. Надо быстрей, быстрей... Иван Абрамыч, ведите переговоры с волсоветом, с утра мобилизовать население. Да, к вечеру завтра его придется ловить... — Он не пояснил, кого ловить — беглый лес или население, а Фаворов с тоской подумал, что и то и другое. — Филипп Александрыч, вы отправитесь с бригадой на воду. Прожектор пустить... Фаворов, вы со мною.

— Это глупо — сейчас на воду, — поморщился Ренне, подымаясь.

— А я тебя под суд! — гаркнул Бураго, и лицо его багровыми пятнами стало подмокать изнутри. — Почему порвался вынос?..

— Отечественное рукоделье, — пожал тот плечами, уходя.

Шлепая калошами, он спускался по лестнице пятью ступеньками раньше Бураго.

— Отчего у вас всегда калоши спадают? — раздраженно спросил главный инженер.

Тот обернулся; лица его не было видно впотьмах.

— Мои калоши — вредно социализму? — чужим голосом огрызнулся он.

— Я требую, чтоб машина хорошо — ваша плохо, — заражаясь его манерой говорить, крикнул Бураго. — Когда калоши спадают — плохо. Бумажки, бумажки набейте, в носок, бумажки туда...

Ренне не ответил и вдруг, старчески разметая воздух руками, побежал по размякшей поляне поселка.

...дослушав этот неслучайный разговор, Потемкин стащил одежду с гвоздя и стал одеваться. Во что бы то ни стало ему следовало присутствовать там, где решалась теперь удача Сотьстроя; он чувствовал себя трубочкой того универсального клея, который выдуман, чтобы соединить самые разнородные предметы. Прежде всего надо было преодолеть брюки, и даже это оказалось не под силу; со злостью и укором он глядел на тощие свои с редким пушком ноги, и ему становилось обидно: он ущипнул один волосок и выдернул его, но и боль была приглушенная, чужая. Тошная слабость подвалила к ребрам, а дверь стала клониться направо, по часовой стрелке. Тогда с безразличным лицом он повалился на подушки и закрылся с головой одеялом. Крепче всякого сторожа преграждали ему выход отсюда брюки, грозно распластанные на полу.

3

Несся ветер и спотыкался, и пищал в детскую дуду, и снова мчался по долине. Непрерывной очередью, подобные убойному скоту, в небе тащились облака. Похолодало, ветер ознoблял, но все были в поту — и те, которые бежали к реке вдоль колючей изгороди строительства, и те, которые, достигнув реки, бродили по берегу добровольными и бессильными сторожами. Говорили почему-то шопотом и всякий с тревогой посматривал на неспокойную луну, удушаемую облаками. Для сокращения пути Бураго пошел через территорию строительства, куда не пропускали никого в этот тревожный час; Фаворов, которого тот прихватил с собой на всякий случай,

впервые наблюдал такое необыкновенное затишье. Было очень пустынно. При кратких промельках луны корпуса лесов представали как остовы огромных кораблей, на которых отважные собирались отплыть в обетованные земли. Было точно в бреду: водонапорный бак шагал на своих стояках-ходулях, а подъемный кран, прячась в тень лесов, норовил ущипнуть луну... Но над паросиловой зычно рычал гудок, разрушая бредовое оцепенение ночи, смолкал и снова выпускал свое оглушительное облако. Оно означало бедствие в этот час.

На пути попадались то брошенная вагонетка с арматурой, то подмокшая бочка цемента, то вдруг какой-то огромный и угловатый холм; покрышка на нем отливала мокрой синевой. Бураго с трудом оттянул вверх намокший брезент и разглядел во мраке только сквозные ящики.

— Спичку, — сказал он Фаворову, стоя на коленях и засматривая под брезент. На огонек вынырнул из-за приземистого склада сторож. — Что тут? — спросил инженер.

— Моторы прибыли...

— Когда они прибыли?

— Ден пять лежат.

Бураго опустил брезент и молча пошел дальше. Под сапогами хлюпала глина. Из-за штабелей леса, *катищ* по-тамошнему, показался острый прожекторный луч; он щупал облачные лохмотья, и, может быть, его единственным назначением теперь было внушать людям ту бодрость, какую давал огонь и первобытному насельнику Соти. Фаворов волновался:

— Она бунтует, — сказал он надтреснуто, потому что был простужен, — но мы закуем ее, и она повезет нас к...

Договорить ему не удалось; зарычал гудок, и теперь казалось, что рев его исходил из самых глаз Бураго:

— Не декламируйте при мне истин, молодой человек... которым место на табачных коробках. Тут серьезней... Инженер, а мыслите, как поэт: стыдно! Кто заведует складами? Записать. Завтра за ворота.

— Он секретарь стенной газеты, — захлебываясь ветром, заикнулся Фаворов.

— ...за ворота! — рявкнул Бураго, и снова, точно взбуженное его окриком, зарычало облако над паросиловой.

Молодой замолчал, все еще одолеваемый лирическим недоуменьем, — красный ли орден на грудь, бубнового ли туза на спину получат они за свою безвестную работу. В молчании они вышли на берег, заметно приблизившийся к самой дамбе за один минувший день. Темная толпа рабочих суетилась в том месте берега, куда упиралась пята запани. Выносов не было видно; через бона́ со свистом хлестал мрак, порождая хруст позади себя и неведомое клокотанье. Стало очень страшно и торжественно. Из крайнего сарая выволокли огромный моток троса: жилы его сверкали, когда мимо пробегал кто-нибудь с фонарем. Тут же долговязый Горешин, силясь перекричать ветер, отправлял охотников на верхнюю запань: он уже охрип и от ветра казался еще длиннее. В прожекторный луч попал Акишин, затесавшийся в четыре добровольных десятка, которым предстояло единоборство с рекой; луч погас, а Фаддей так и остался в зрительной памяти Увадьева с высоко поднятой рукой и бородой, отметенной ветром в сторону. Наспех рыли ямы для новых свай, лопаты звякали друг о друга, люди работали спорей машин. Часть бригады на подводах отправлялась на верхнюю запань, чтоб попытаться и там сделать невозможное, — подводы скатывались с бугра во мрак и тотчас растворялись в нем без остатка. Кто-то бабьим голосом покричал, что на Калге снесло мост и надо ехать зимником на Ухсинку; не докричав, он махнул рукой и на бегу вскочил в подводу. Двое верховых, — и один из них Пронька, — обхватив бока лошадей босыми ногами, метнулись вперед на разведку дороги.

Надвинув кепку на самые глаза, чтоб не быть узнанным, Бураго наблюдал со стороны эту почти безмолвную суету; он раздул ноздри, — пахло острым потом человека вкруг него. Кто-то толкнул его в спину и, выругавшись, промчался вперед к прожектору; тотчас в снопе света распахнулось кумачное знамя строителей. Бураго узнал этого чернявого парнишку, председательствовавшего на открытии макарихинского клуба; он напрасно хитрил, этот безыменный чудак, пытаясь знаменем умножить усердие бригадников. Они старались и без него, ибо тут погибала не только их собственность. Над парнишкой смеялись, отталкивали, чтоб не загораживал света, но он сохранял свой угрюмый и неподкупный вид. Бураго

опустил глаза; на его памяти случались не раз строительные катастрофы, но этой добровольной отваги он не встречал никогда. Очень туго и с усмешкой, точно его понуждали на фальшь, он сообразил: тогда гибло чужое, тогда гибло только золото.

— Гут, — сказал он самому себе и растерянно погладил переносье.

— Простите, я не слышал... — сунулся Фаворов.

— Я сказал — гут, — недовольно буркнул Бураго и пошел прочь.

Нельзя было препятствовать людям самовольно и за собственный риск бороться с несчастьем; из правил, преподанных ему жизнью, крепче прочих было одно: по мере роста беды усиливать борьбу. Кроме того, здесь без борьбы было бы слишком страшно; он знал также, что попытка ослабить мятеж реки не поведет ни к чему. С минуты на минуту ждали прибытия второй массы леса, и здесь таилось завершение целого дня тревог. При теснинке, обусловленной крутым подъемом берегов, катастрофа становилась неминуемой: лес должен был попросту расклинить запань. Всем существом своим, более чем разумом, Бураго ощущал напор реки; она давила ему сзади, в хребет, и нужно было напрягать себя, чтоб держаться прямо. Он знал все вперед и оттого, что знанием своим не смел поделиться даже с Фаворовым, казался самому себе бессильней всех.

Он уходил наобум, вдоль берега, все еще косясь на реку; ее совсем не стало видно под навороченным лесом,— только кое-где между бревнами с тоненьким сопеньем курчавилась пена. Им было очень тесно тут, этим двенадцатиаршинным телам; из сдавленных кряжей сочилась смола, но хруст ломающихся столбов лишь в малой степени соответствовал истинному бешенству реки. По дороге, наклоняясь время от времени, он машинально щупал рукой витую сталь выносов, уходивших в землю: на руке оставалось ощущение влаги и как бы электрического тока: рука боялась их, в немоте пальцев и заключался их животный страх.

Кто-то пробежал мимо. Бураго поднял голову.

— ...надо спать. Спатеньки надо молодым девушкам, — сказал он с насмешливой приподнятостью. — Где ваш головной убор, товарищ?

Сузанна отбросила назад волосы, наметенные ветром на лоб.

— Унесло... где отец? Мать мне звонила... нехорошо...

Пятно прожекторного света прошло у них над головами.

— На работе, милая девушка, на работе. Бог труда́ любит... — В шутке его звучало совсем иное, и оно прорвалось. — Если *это* случится, ему... не оставаться на строительстве, да. А *это* непременно случится! — Он по возможности смягчил остроту положения ее отца. Последнее он прокричал уже вдогонку ей.

Стало как будто легче, он пошел вперед; ему хотелось думать о геройском безумии людей, вступавших в рукопашную с Сотью... хотелось думать обо всем, чем возможно было выселить из мыслей Сузанну; ему не удавалось это, потому что тотчас за ясным, хотя и бессолнечным днем, в котором он жил, должны были притти последние сумерки. Оттого он и не гнал своей последней страсти, хотя бы еще вразумительней представала ее бесплодность. Бураго улыбнулся самому себе и вдруг понял, что добрался до порвавшегося выноса.

Об этом он догадался по кучке людей, склонившихся над чем-то, заставлявшим хранить молчание. Между ног у них покачивались, иногда пропадая, два тусклых керосиновых огня. Бураго перешагнул через трос и внезапно понял, что человека убило не обрывом троса, а самим брусом — *мертвецом,* выхваченным из земли. Задние, узнав его, расступились; он вошел, и кольцо замкнулось. Печальные, неспокойные лики елозили по мокрой рогожке, которой предусмотрительно покрыли голову убитого. Должно быть, ждали носилок, чтоб унести. Припав ничком к маленьким и неподвижным ступням, все еще качалась и взрыдывала простоволосая женщина, мать. Фонарь приблизился к ее продолговатому и злому лицу; оно само испускало желтоватый фосфоресцирующий свет, и Фаворов, стоявший с другого края и еще не подавивший в себе лирической приподнятости чувств, подумал, что, наверно, и Соть имела в этот час такую же внешность. Инженеры испытали странное и виноватое томление: убитый оказался девочкой, и, судя по росту, ей было не более одиннадцати. К голым ее коленкам пристала комковатая грязь. Несчастье по нелепости своей похо-

дило на убийство; тут же ближний мужик, притомившийся от вынужденного молчанья, но вряд ли говорун, рассказал, как это случилось. Пользуясь отсутствием берегового десятника, они играли в этом месте, мужицкие дети, пятеро: произошло в сумерки. Пробегая мимо, девочка прыгала через тросы, попутно ударяя прутиком по ним; тогда-то из размокшей земли и выхлестнул саженный обломок бруса.

— Так что очень хорошо. Чище капкана действует твоя машинка. Вот сюда ее загребло... — почти с кинжальной остротой сказал мужик и коснулся пальцем шеи инженера; из пальца его брызнул все тот же, испытанный еще недавно, обжигающий ток.

Бураго медленно поднял голову, но мужика уже оттолкали, и тотчас же врач из сотинской больнички сообщил ему, что носилки прибыли, но мать не дает уносить ребенка; двое в халатах и милиционер уже разгоняли зевак. Смущаясь новой своей роли, Бураго положил руку на плечо женщины, и только час спустя вспомнил, что при этом от сочувствия, кажется, назвал ее *мамашей.* Косясь на грязные инженерские сапоги, женщина вдруг проворно обернулась, и в ту же минуту Бураго рывком спрятал в карман неостерегшуюся руку. Никто не успел заметить нападение или помешать ему, но где-то позади раздался смех; смеялся тот самый мужик, хваливший коварное устройство выносов. По знаку Бураго служители подняли женщину, она уже не сопротивлялась. Происшествие окончилось, носилки понесли. Натуго затянув платком кровоточащий палец, Бураго пошел назад; ему стало грустно, ибо не умел подобно Фаворову принять и это за враждебный выпад стихии, на которую искал формулу, злейшую, чем кнут.

Кто-то шел за ним следом, но Бураго не замедлял шага и ждал, когда Увадьев сам заговорит.

— ...глубоко прокусила?

Бураго шевельнул усами:

— Нет, у меня толстая кожа... я могу срезáть ее ножиком, да. Мать — это клушка, да. И в этом есть большая биологическая красота!

Они пошли вместе. Увадьев выглядел угрюмей обычного, но и сквозь угрюмость его прорывалось общее волненье; пришедшему несколько раньше Бураго, ему

показалось, что он опознал в убитой ту, с которой втесную была связана собственная его судьба. Из непонятного влечения он спросил, как ее зовут; ему сказали, что Полей. Он сделал окончательно непонятный постороннему вывод, возможный только в такую нечеловеческую ночь: сестра... Должно быть, теперь, перед лицом величайшего душевного холода, он искал себе временного друга, потребного в ином плане, чем те, которые вступали в героический поединок с рекою.

— Что там... крепят?

— Да, пускай... так надо. В волсовете были?

— На рассвете состоится сход, я говорил с ячейкой. Они поставят заставы с утра, чтоб не разъезжались... правильно?

— Гут... надо было бы сразу военное положение. К завтраму пробку вырвет ко всем чертям. Будут воровать лес. У меня в Перми мужики загружали лес в колодцы, в гряды запахивали...

— Я разослал телеграммы в приречные волсоветы. А вот в уезд так и не дозвонился...

— Яман! — Неизвестно откуда вплыло ему в сознание это татарское слово. — Мобилизовать, разумеется, с лошадьми.

— Да... свое-то найдем! А вот вообще что делать, Бураго?

— Разыщите Фаворова, он вам объяснит романтику ночи.

Ветер дул им под ноги, рвал из-под сапог корье, наметанное водой. Наступила странная минута, которая никогда больше не могла повториться. Увадьев взял инженера под локоть:

— Бураго, я солдат, мое дело — драться. Вы честный человек, но вы не то, вы сапер... понятно? Я сумбурно говорю, но я как вот эта струна, которой полагается действовать и молчать... Я не боюсь моих ошибок, им со временем найдут громовое оправданье, Бураго. Но, чорт, я одет в мясо... и даже понемногу пью.

— Ничего, пейте, я и сам пью.

— Это раньше, теперь нет... не важно, — смутился Увадьев. — Есть вопрос, Бураго.

— Я дрожу от нетерпенья, Иван Абрамыч, — умно и спокойно усмехнулся Бураго.

— Вы... ну, как это говорится... очень *ее* любите?

Тот остановился и, хотя различал в темноте только смутный квадрат увадьевского лица, долго глядел на него, потом медленно двинулся вперед.

— В мои годы глупо лишать себя таких невинных удовольствий. Будем спокойны, пустите мой локоть. Осторожней, тут какая-то шпала, не споткнитесь. Вы часто глядитесь в зеркало? Глядите, это успокаивает и не противоречит обязательным постановлениям... Надо убрать Ренне!

— Я знаю, — точно ничего и не случилось, сказал Увадьев.

— Мое мнение... она из завтрашнего дня. Думайте по-другому, не навязываю. Мы еще боремся, а поколение уже перехлестнуло через нас... У них многого нет, чем болели и чему радовались мы. В пятом году я сидел в провинциальной тюрьме. Окно камеры выходило на пустырь. По нему часто через такой мостик, через кривулинку, проходил теленок... масти давленого кирпича с молоком, да. Очень его люблю и сегодня, этого зверя... а им уже не понять! Это хорошо... она иногда занятно пахла, пакость вчерашнего дня. Второе: любовь к родителям — вредное сцепленье, не надо подпускать их, пусть они издали любуются на завтрашний день, в который уже не вступят. Ренне — лужа, которая не успела подсохнуть после дождя, надо помочь ей высохнуть. Все еще непонятно? Жаль, Иван Абрамыч. Ну, ступайте теперь, шумите, действуйте...

Увадьев так и остался в состоянии приподнятого недоумения... кстати, они уже пришли. Прожектор упирался лучом в скитскую осыпь, и вся жизнь теперь сосредоточилась в этом круглом коридоре света. Поодиночке и сгибаясь, словно опасно было высунуться из него, люди перебегали на скитской берег; и правда, тотчас над зыбким перекрытием светового тоннеля стремилась своим собственным фарватером мгла незамиренной стихии. Десятеро добровольцев, сутулясь под тяжестью, потянули через реку дополнительные снасти, и в световое пятно на мысу вломилась их совместная многоногая тень; по колено в воде, прощупывая ногой осклизлые бревна бонов, они почти карабкались к своей тени, которая неуклюже топталась на месте. Увадьев узнал Акишина, он шел

коренником; казалось, трос врезался глубоко в мякоть его исполинского плеча, потому что ветер вспучил его рубаху двумя полосатыми пузырями. Тянули без песни, следя лишь за тем, чтобы не сорваться в убегающее пространство под ногами, да слушая скрипучие дудки ветра. Знамени не было видно, а чернявый знаменосец, на пару с Горешиным, рыл ямы для новых свай... Так прошел час безжалобной и неоплатной работы. Вдруг лес затрещал, и отдельные бревна полезли вверх, расстанавливаясь темными, угрожающими перстами: очевидно, подходил беглый лес из верхней запани. Долговязый Горешин сипло заторопил тех, кто загонял мерные кряжи под выноса, но канаты уже сами напружились и вступили в работу. Только тогда Увадьев решился подойти к Фаддею, который — весь рваный — блаженно ухмылялся на реку.

— ...ишь, рубаху-то вдрызг, старик!..

Тот не слышал:

— Сила, сила!.. — повторял он любовно, не отрывая безумных глаз от Соти. — Сила, твоя, сила...

Увадьев взволнованно положил ему руку на плечо:

— А ты наш, старик, наш... — Ему очень хотелось акишинской дружбы в этот беспорядочный час.

— Чей — наш? — своенравно обернулся Фаддей и рывком скинул его руку. — Я ничей, я свой... Думаешь, ты мной правишь? Я тобою правлю, бумажная душа. Ты безбранных любишь, и он тебе лижет, а сам в подполье пеньку на тебя копит. Я тебя всегда ругать буду, а ты меня береги... главней всего береги! — и с вытаращенными глазами погрозил пальцем.

— Чему ж обиделся-то, старик? — оторопело молвил Увадьев.

— А чего ж хвалить... я с тебя на чай не требую? Мне, комиссар, терять нечего: сына-то угрохали...

— Кто ж его угрохал... мы, что ли?..

— Не ты, а... — И тут ему представился, наконец, замечательный случай рассказать комиссару все свои неописуемые истории, но вместо того он вдруг метнулся за запань, и Увадьев еле успел схватить его за руку: — Пусти, топор мой... мертвяков тесали, так и бросили... унесет!

Стало поздно, кряжи под новым перехватом пошли в песок. Страшная и безглазая сила копилась в воздухе.

Десятники разгоняли народ. Отдельные фонарики, затухая, потекли в поселок. Берег стал пустеть. В гавань беспрепятственно вступила запоздалая ночь, и это произошло еще прежде, чем погас прожектор.

— Не забуду я тебе этого топора, — вырвавшись, сказал Фаддей и захромал вверх, на бугор.

Людям не спалось, рабочий клуб не закрывался до рассвета. Отрезвевшие от напрасного геройства, люди выходили на крыльцо и, пряча цыгарки в кулаках, слушали ночные звуки. Глаза у них были такие, точно там, внизу, второе и уже намеренное происходило убийство.

4

Сузанна так и не нашла отца. Встреченный техник сказал, будто видел, как Ренне направлялся к макарихинскому перелеску. Она выслушала его с гримасой раздражения: он и в самом деле мог отправиться вслед за носилками с убитой девочкой. В том состоянии, которое наступило у него с месяц назад, он способен был на любую из самых неправдоподобных крайностей. Этот добросовестный паровичок с российской узкоколейки оказался вовсе неприспособленным к рельсам новых магистралей, — не только по техническим своим навыкам; отнять у него работу — значило вырвать тот последний колышек, за который он держался в жизни. Он сам понимал это; в характере Ренне объявилась повышенная религиозность в непременном сочетании с знаменательной мелодией о *герое,* которая мутила ему разум с начала революции; позже ко всему этому присоединились очень неопределенные отношения с Виссарионом, который уже начинал свою политическую игру на Соти. Свои раздумья обо всем этом Сузанна заключила ироническим недоверием: на что могло быть способно это битое калечное воинство! С величайшим удивлением на себя она испытала жалость, и когда в утреннем разговоре с отцом она пыталась высказать ему свою точку зрения, он сердито затушил это неокрепшее чувство.

— О каких хозяевах жизни говоришь? Ты, ты хозяйка жизни? Сносишься и выкинут—это не твое — живешь краденой идеей! Хуфу строил — прах растоптали — мрамор

на ступеньки чужих дворцов — туристы с кодаками ходят, — брюзгливо кидал он.

Она посмотрела на него с сожалением.

— Да, ты отживаешь свое. Через десять лет к тебе потребуется комментарий!

— Его напишут — не вы! — блеснул он глазами, а через минуту сидел седой и еще более жалкий, закрыв руками лицо.

Дочь ушла, чтоб не возвращаться больше, но вечером к ней позвонила мать.

— Суза, найди отца, — сказала она просто.

— Я занята, не могу сейчас.

— Тебе очень досадно, что он еще жив?.. У него в чемодане была *одна вещь,* теперь ее нет. — Старуха и прежде не доверяла телефону. — Найди отца, Суза!

Это была последняя жертва, на которую решилась Сузанна.

...у оврага горел костер. В стадо из-за непогоды скот не выгоняли; бабы серпами нажинали коровам травы, а коней, стреножив, пускали в ночное; сотинские ночи принадлежали ветрам. Сперва коней отводили мальчишки, но после участившихся конокрадств на Енге с табуном уходили сами мужики; сидя у костра, они сонливо вели бесконечные беседы о непонятном или слушали, как трескуче и пламенно повествует о том же самом огонь. Сузанна проходила мимо; ей показался знакомым облик и еще более — жесты говорившего человека; несвязные обрывки фраз, произносимых с великой силой, донеслись до нее. Она приблизилась по скату оврага, рискуя скатиться вниз по осклизлой траве. Мутный ореол влажности стоял над пламенем, которое пригнетал к земле хаотический напор воздуха. Закутанные в зимние овчины мужики ютились вокруг костра на поленьях. Изредка, когда стихал ветер, из мрака возникали оранжевые и мокрые бока лошадей. Под калошей Сузанны визгнула трава. Небольшой мужичонка, наверно Куземкин, которого таким неузнаваемым делала ночь, пошел посмотреть звук. Сузанна вошла в полевой соснячок и закрыла лицо рукавом. Куземкин всмотрелся в тьму и, сделав кстати все, что ему было потребно, неспешно воротился к огню.

— ...и откуда столько воды берется на свете? — сказал он, присаживаясь на свое поленце.

Ему не ответили; беседа продолжалась, и Сузанна поняла, что застала лишь конец ее. Потирая руки в теплом потоке воздуха, полном искр, Виссарион досказал:

— Электричество тоже великая вещь: повернут рычажок, и вы без *них* ни ногой.

— Лукаво задумано, — с удовольствием сказал один, сидевший спиной к Сузанне.

— Они настроют! — шумно вздохнул длинный мужик. — Я даве ящики со станции привозил... и все железо, железо, чистокровное железо, мужички! А тут гвоздь аль подкову христом-богом выпрашиваешь.

Тут зашевелился еще один, и Сузанна без удивления узнала старого Мокроносова: Виссарион постарался обезопасить себя в отношении слушателей.

— Как построют, так и потечет на нас вонь. Мне техник сказал... — Кажется, он имел в виду сернистый газ, непременный и неуловимый отход производства. — И пойдет газ, и все им пропитается, реки и сушь. Еще корова-то ест травишку, зато уже молочка ейного пить не станешь! А лошадь просто понюхает, чихнет, выругается человецким словом и прочь пойдет...

— А петухи — те, говорят, запросто с ума сходят! — наспех выдумал Куземкин, вертясь всяко, и все покосились на него с недоверием испуга, да он и сам устрашился выдумки своей.

Виссарион не опровергал ни того, что вянут цветы от газа, ни того, что рыба всплывает *пузичком* вверх; задумчиво шевеля горящее сучье, он лишь направлял течение разговора так, чтоб острием он расположился против Сотьстроя. Тогда, плохо соображая возможные последствия поступка, Сузанна вышла из своего убежища. Застигнутый на месте, Виссарион ниже склонился к огню и молчал.

— Товарищи... я проходила мимо... — Она сбилась, ей стало холодно, никто не смотрел на нее, и только Куземкин шутовски посвистывал себе под нос. — Это все чушь! Попросите управление строительства прислать вам человека, и он расскажет о производстве верней, чем этот недоучка. Газы ничем не отразятся на вашем хозяйстве, а щелока, которые обычно спускаются в воду... — она задохнулась от возмущения,— щелока у нас предположено сгущать и сжигать на форсунке как топливо!

— Это, конечно, двойной и обоюдный факт, — равнодушно кинул Мокроносов и зевнул, и тотчас все зазевали кругом. — А мы рази против, девушка? Не, мы душевно за! А только вот: ха́зы детям нехорошо.

Двусмысленность положения мешала ей говорить слитно.

— Кому поверили!.. строительство уже дало вам новые избы, клуб, школу. Оно даст вам работу на круглый год...

— Такая смешная девушка, — насильственно заулыбался Мокроносов. — В клубе-т не кормят, а насчет музыки — у нас своя есть... как возле сытного стола чешем голодно брюхо!

— Хлеб будет, много хлеба... — Ветер обвил ее дымом и искрами.

— Покеда твой хлеб созреет — жрать его станет некому: перемрем! — исступленно крикнул все тот же длинный мужик. — Во, гляди, сок через глотку текет...

Было смешно уговаривать людей, перед которыми мог безбоязненно раскрываться Виссарион. Все они были из той части Макарихи, которая в отошедшие времена незримо владела округой. Сидели тут двоюродни Алявдины, Иона и Тимофей, подрядчики и конокрадьей красоты старики; Алексей Дедосолов рядком, наплодивший роту сыновей, которых разбросал, как семена, по обе стороны российского окопа — «цепляйтесь, детки!»; курил самодельную трубчонку и кашлял надсадно Шибалкин, знаток советского закона и юла; Лука, отец председателя, который с той памятной ночи не отводил мерклых глаз от Виссариона; Куземкин, которому страшно было снять с себя личину добровольного шута, потому что не было под ней ничего; Мокроносов, в прошлом — владелец ассенизационных обозов, о котором вдоволь сказано; Желудьев, о котором нечего сказать, потому что при всех властях оказался чист, и некоторые другие порывистые, как ветер на Соти, мелкозубые, как мелкослойно северное дерево. Их было не переубедить, как не заставить лес сойти с занятого места; их нужно было или рубить, или ждать, пока обгонит молодая поросль. Теперь все они строго глядели на сузаннины калошки, и той было так, точно глыба камня лежала у нее на ногах.

— Я приду к вам в конце недели и сделаю доклад. Хотите?

Они украдкой перемигивались, и она нерешительно повернулась уходить. Минуту спустя, сделав знак молчать, Виссарион поспешно захромал за нею; после явного этого поношенья, в котором была и его доля, у Сузанны могло иссякнуть прежнее великодушие. Она почти бежала, не разбирая дороги.

— Слушайте, мне трудно догонять вас... я хромой! — крикнул Виссарион. — Остановитесь, не бойтесь меня...

Она обернулась, оскорбленная еще более этим подозреньем:

— Вы... вы работаете от себя или от хозяина?

— Молчите, я объясню... это недолго. Надо же внушить когда-нибудь сознание силы в это рабское племя. Это полезно не только мне... — Она враждебно молчала, и он сделал вид, будто сдается: — это вредно?..

— Это глупо, будить стихию, если не иметь власти над нею. Вы стали дрянью, поручик!

— Слушайте, я объясню, не торопитесь... — И вот уже шагал в ногу с нею... — Глядите, облако — кусок плаща, правда? А вы... вы знаете, что за ним, если оно распахнется?

— Вы собираетесь читать стихи?

— ...потом, стихи потом. Слушайте... лягте на землю и слушайте: она орет. Мир гибнет... — Должно быть, он того и добивался, чтоб она хоть на минуту поверила в его сумасшествие. — На этой остывающей планете остывает и человек... о, еще не однажды материя взглянет в это свое зеркало и ужаснется!.. все кристаллизуется, все приходит к последнему равновесию: нет, еще не Клаузиус, а только демократия и новый, еще неслыханный человек. Не торопитесь приветствовать его заранее, счастливые родители... Я говорю, что мир на небывалом еще ущербе, в основе его ненависть и месть, его законы для подлецов, его техника для расслабленных, его искусство для безумных... Цивилизация — вот путь, вырожденье — вот завершение. Я простужен, у меня слипаются слова... но поймите меня. Не мысль, не идея, а вещь формирует сознанье. Не бог ограбил человечество, а вещь — лукавый хозяин мира. Неправда? Когда-то на заре он сам был богом, мохноногий человек: он раздавал имена и приписывал смыслы. Он

был могуществен, потому что дружил со стихиями, сам сын хаоса и первоначальной силы. Он понимал мудрее нас это бессмысленное вращение глухонемых шаров: они бегали вокруг него и для него... не пугайтесь, это о звездах, здесь нет опасности вашему Сотьстрою. Ха, космический гороскоп благоприятствует ему!.. Пращуру тепло было в его природной шубе, глаза его умели издалека отыскать добычу, а ноги — догнать ее. Так проходили тысячи лет, но вот в минуту временного отчаянья и бессилья родилась вещь. Она разом впитала в себя качества и свободу хозяина. Культура и есть выделение его первородных качеств!.. Шкура его стала домом, зоркость выделилась в великолепную оптику, а из ног выковались колеса. Вещь обещала ему химерическое блаженство, и вот в погоне за ним, утрачивая свою великолепную дикарскую красоту, человек ринулся вперед... его бег страшен, потому что он боится отстать от своей неверной, никогда недостигаемой мечты. Иногда он в усталости высовывает свой иссохший, истрескавшийся от жажды язык, не видите вы? Раньше он умирал от геройства или любви, теперь он погибает от расширения аорты! Утерялись все нормы, наступил хамский апогей естественных наук. Множась, они, подобно волхвам, понесли свои дары к колыбели богочеловека. Вспомните!.. человек есть то, что он ест. Любовь — взаимное влечение яичников. Солнце — злосчастный гном, дни которого сосчитаны и гимназистами. Душа — функция протоплазмы... Один принес обезьяну, другой рефлексологию, третий манифестировал конечность вселенной, четвертый подрумянивает старцев мясом, вырезанным из козла, пятый... Ха, придет еще один Фрейд, и не останется веры ни в чистоту, ни в дружбу, ни в невинность; наступит разочарование, все перестанут смеяться, потому что разучатся плакать, а тогда погаснет и вера в необходимость жить. Уже теперь: зачем Увадьеву любовь?.. зачем в Англии король?.. зачем над островом Маврикия плывет облако? Все рассечено и познано, но слушайте: произошел обман. Познан труп в его мертвых, раздельных частях, а живое единство ушло невозвратимо. Каменщик, бьющий камень, заражается его твердостью. Неспроста впереди революции шагают металлисты. Человек заразился сукровицей своего знания... И вот душа изгоняется из мира сквозь строй

шпицрутенов и палок. Чудовище, родившее библию, коран, Илиаду, стало клячей. Ей не поспеть, она хромает, как я! Эллада, равновесие начал, единство остались позади, за кормой... Слушайте, я говорю: назад, к тезису. Неясно? Назад, к праматери всех Эллад...

Только теперь она очнулась от его смутительного сумбурного напора; он обвивал ее горячим ветром, но, нападая, он, кажется, заискивал в ее сочувствии. Она собрала в себе силы, чтоб усмехнуться.

— ...говорите, говорите! В вашем положении надо много говорить. Вы кричите как будто о синтезе, а между тем упускаете область социальных отношений. Человечество разрублено на государства, на классы и группы, но именно коммунизм объединит эти разобщенные части... так? Кроме того, уже теперь химия сливается с физикой, а биология неотделима от химии... мы на пороге единого познания мира в его целом, переливающемся существе.

— Чужое! Бред того грека, которого называли Темным...

— Значит, старик был близок к истине. Но при чем тут антисоветская агитация и мужики?

Ему было выгодней не расслышать ее.

— ...не торопитесь! Я весь мокрый и простужен. Я недоучка, вы правы. В пору, когда надо было учиться, в меня стали стрелять, а я отвечал. Все стреляли, даже женщины постигли это ремесло. Не спешите; вы попали мне в коленку, и у меня плохо срослось. Слушайте! На турецком фронте к нам в штаб прислали Бимбаева. Там предполагалось наступление, и нужно было взять один укрепленный бугор... этакую опухоль, изрытую саперами. Он приехал на такой загогулине о двух горбах, ехал и качался чуть не от самой Эривани. Он был в синем пенсне, и у него было какое-то неблагополучие в морде, кажется, туберкулез кожи... поэтому он был застенчив. Через неделю он вызвал всеобщее восхищение, когда испытанные мастера уничтожения видели, на что способен ученый, если он сочетается с практиком. Он связался с физической лабораторией, ему прислали синоптические карты давлений, с разметкой их центров. В двое суток он основал свою собственную сеть метеорологических наблюдений и однажды, в солнечное утро, пустил волну. Я помню: поддувало с северо-востока. Газ заковылял вглубь. Артиллерия замолкла

сразу. Все было очень тихо. Ничто не нарушало погожего благополучия рассвета. То был великолепный апофеоз науки! Две тысячи трупов нежной мраморной расцветки и двести семьдесят медалей тем, которые месяц спустя лопатами сгребали мертвечину в братские могилы. Там было очень жарко, а убитые лежали в зоне жестоких заградительных огней. Кроме медалей, людям выдавался чистый спирт, чтоб, оглушив их в самом начале, приспособить к этой необычной работе. Один прапорщик запаса, сломавшись, стал стрелять в своих, и его зарубили теми же лопатами; убийц не судили. У меня был кодачок, я снял, но фотография пропала при аресте. Затем сохранилась другая: как его качали в штабе, этого Бимбаева. Он застенчиво цеплялся за погоны офицеров и лишь вскрикивал: «Осторожней, господа... мое пенсне, осторожней!» Он превзошел всех наших героев, этих самонадеянных кустарей; он дал военной науке изумительный опыт. Я потерял все, даже ладанку матери, но эту фотографию носил за пазухой, на сердце, как паспорт моей идеи. Я пошел звать его в собрание, на блины. Я сказал: «Вы чорт!» Он очень скромно уклонился от похвалы: «Зовите меня лучше Сергей Николаевич... это больше соответствует действительности!..» Мы с ним сошлись, приятный малый. Он сообщил, что газы в войну — не его выдумка, а того немца, профессора Нернста, реализовавшего, наконец, тысячелетний опыт науки. Это имя достойно быть вырезанным на медных досках в университетах... его грудь по справедливости украшена не одним, а тремя, может быть, миллионами крестов... я говорю, разумеется, о братских могилах. О Бимбаев, великий провокатор, который так умно показал мне могущество науки! У него была задумана великолепная машина, — в ней не пушки, а только колбы, сгустители, много труб, лопастей и вращающихся дисков... здесь-то химия побратается с физикой и механикой. Ее пускают люди в каучуковых халатах! Сама унюхивая запах человека, равно — бегущего через огромное поле или кричащего в столбняке, она двинется на города, чтоб кусать, жечь, стричь, прокалывать, жевать, давить и отравлять людские мяса. Ха, они будут крутиться, зарываться в землю, кидаться в пропасти, залезать в горящие печи, а она их будет догонять... вы играли ребенком в горелки? Он еще потрудится, Бимбаев, пока его разум не сожрет

волчанка. Вы слышите, как он потеет? Колеса движутся, машина готова, но он еще хочет учетверить количество ее функций. Может быть, Бимбаев учит ее летать, или улыбаться, или произносить слово *мама*... — Он в изнеможении стиснул рукою бегущий мимо него воздух. — Однажды я видел, как от пули упал человек...

Она прервала:

— А вы думали, что он танцовать начнет?

— Нет, я ждал, что он вынет пулю и кинет ее назад!

— Итак, договорились до Революции?

Может быть, он растерялся перед новым словом:

— Да... если так называется великий гнев.

Изредка распахивалась облачная дверь, и неопределенная вспышка луны или зарницы освещала окрестность. Она текла, и все текло под нею. Виссарион ежился; ветер кромсал легонькое его, казенного покроя пальтецо, купленное им на первое же жалованье завклуба. Иногда он с маху наступал в лужу, брызги летели на ноги Сузанны, но она не умела выбрать минуту, чтоб остановить его.

— ...тогда я уперся в это слово, вы правы. В семнадцатом году я состоял членом полкового комитета депутатов, но скоро переменил установку: меня засадили в сумасшедший дом, который охранялся пулеметами. Я говорил: в революцию выживают либо дубы, либо гибкий осинничек, крапивка да прилипчивая ягодная травка в тени подгнивающих пней. Я хотел сказать, что гибнут лучшие, носители огня, что укрепляется здоровье мещанина. Прошедший сквозь революцию, он страшен своей подавляющей единогласностью. Но все забывается через поколенье, а многое переврут поэты, все окисляется, а растоптанная вещь... о, как она еще отомстит за свое временное поруганье! Я был левее всех, потому что восставал в самом первоисточнике неравенства, культуре. Вот она лежит, развороченная, и всякий тащит себе из нее, что ему по плечу или по карману. Я говорил: надо выжечь отравленное это наследство, потому что мертвецы... все эти Гомеры да Шекспиры правят нами сильнее любых тиранов. Надо уничтожить мозговой элефантиазис, эти благородные клеточки, где угнездились микробы вырожденья. Восставайте до конца! Человечеству ничего не остается, кроме как забыть свое прошлое и начать сначала. Вы скажете: пролетариат взялся за эту задачу...

— Приблизительно так, — вставила она.

— ...вы говорите: обновление произойдет, Эллада вернется, но не мы вернемся в нее. Прежняя держалась на рабстве, но в этом не было гибельных противоречий, потому что раб не был человеком. Она погибла, когда сделали это запоздалое открытие. Эллада будущего разовьет индивидуальность, она станет держаться стальными рабами, машинами... не будет классов, процессы жизни сольются в одном. Будет новая дружба — равенства, а не подчинения. Будет коллективная душа. Так?

— Я не возражаю вам.

— Бимбаев говорил... он был, кажется, бурят: э, трэщина, звон не тот! Человечество задушат сытость и неразлучное счастье. Исчезнут социальные противоречия — источник развития. Уничтожится потенциал, и другой потухнет сам собою. Вот уж где — ни радости, ни печали, ни воздыхания... вот где благополучный, уравновешенный кристалл. Я буду отвечать за вас. Вы говорите: да... или возникновение новых, безумных противоречий? История человека — увеличение власти над природой, развитие его производительных сил? Героическая эта борьба ослаблялась классовой борьбою... вы мне напомните американцев, сжигающих зерно в топках паровозов, голландцев, которые вырубают кофейные деревья, чтоб не упали мировые цены? Без всего этого с новым блеском и бешенством вспыхнет творчество? Тогда-то и наступит расцвет духовной и физической мощи. Вы говорите: вперед, к синтезу... пусть распахнется посеянное однажды зерно?

— Да... вы увидите! — Она вдруг поправилась: — нет, вы уже не увидите...

— Моя удача — не видеть кары! Человек прорубит, наконец, эту голубую скорлупу и вылупится в мир еще незнаемого цвета... там караулят его еще неиспытанные холод и одиночество. И уже не будет души, огонька, у которого можно было погреться. Поймите: где-то на перегоне двух космических скоростей, лучей различной длины мы — неповторяемая случайность. Вы — химичка, представьте — другая волна, или в основу органического мира не углерод, а азот — и все бессмысленно, потому что разумно для кого-то другого. В этом тупике куда я дену свой изощренный разум, познавший, наконец, собственное свое

ничтожество. Пусто и даже голову разбить не обо что! Я говорю...

Именно то, что угнетало ее навязчивого собеседника, поселяло в ней жажду преодоленья. Она ждала выводов, вроде тех одесских безмотивников, которые подвизались с бомбами во имя беспринципного террора в начале века. Это было похоже и на буржуазных дадаистов, бунтующих против урбанизма, в котором заложены опасные социальные фугасы. Она недоумевала: чем он попытается увести внимание от более насущных проблем. Она сказала:

— Вы думаете, если у рыбы отрезать плавники, она будет ходить?

— Научится.

— Это смешно: хромой завклуб спит на дереве, зацепясь ногой за ветку!

— Нет, отступить до пастушества — и точка.

— Но ведь стадо — это уже интеллект, это организация!

— Нет, инстинкт! И журавли имеют вожака, а летят клином...

Остановясь, Сузанна нетерпеливо теребила ветку сосенки, и деревцо шумело от осыпающейся капели.

— Я отвечаю вам: поколение, которому принадлежит жизнь, порвало связь с прошлым. Оно выросло в грозе, его не увлечь мишурой из прошлого. Кроме того, у них есть смелость желаний...

Он обнажил зубы:

— Для них и хлеб достижение!

— Да, потому что ему придан другой смысл. Чего же хотите вы?

— Воскресения души.

— ...то есть реставрации? — Она предоставляла ему возможность открытого поединка, но он не воспользовался ею. — Хорошо, отрицая путь обновления пролетариатом, вы предлагаете?..

— Надо вызвать к бытию человека, который спасет.

— Вы говорите о Бонапарте?

Он со злобой поднял руку:

— Не надо браниться! Я сказал об Аттиле.

— Я не понимаю.

— Так не прерывайте меня!.. земле нужен большой огонь. И верьте, ураган этот наступит, Аттила придет

в нем. В годы войны и нищеты в России уже рождался этот ребенок, наступало прозренье истины. Титы Ливии, Теккереи, Мильтоны всех стран охотно разбирались на цыгарки, а Рубенсы, если попадались в гущу вихря, ценились лишь по количеству калорий, заключенных в их обветшалых холстах. Одетые в гнев, люди подымали руки на музеи, в которых скопились мидасовы богатства, все эти портреты и статуи величайших мерзавцев мира, лукавых праведников, безумных завоевателей, мадонн, мошенников, арапов и дураков... Этим людям души были дороже, чем пифагоровы штаны или собор Парижской богоматери. Они говорили: пусть мертвые лежат в земле и не правят живыми через посредство гениев. Человек мстил красоте, которую родил и которая сделала его рабом. Ребенок рос, стихии были няньками, он уже ухмылялся и, судя по резвости, можно было ждать от него великих свершений... каждый двадцатый в стране видел *его* собственными глазами, но предприимчивые родители... ха, все те же порох и сытость! Но он еще вернется, возвратит утраченную душу, научит понимать хлеб, любить едкий дым костров. Он придет на коне, одетый в лоскут цвета горелого праха, в волосах его ветер, в бровях полынь. Слабые вымрут в год, а сильных он посадит на коней и поведет назад, к тезису. Время потечет вспять, через темные дни; им придется переплывать реки крови, карабкаться через Гималаи обессмысленных вещей...

— ...они разобьют погреба и выпьют всю водку! — в тон ему вставила Сузанна, но его уже не остановить было и насмешкой.

— В этом последнем странствии родится новое, беспамятное поколенье. Только в песнях, у громадных степных костров, они помянут про глупую рыбу, которой посчастливилось однажды выброситься из волшебных неводов. Пускай: песня, как могильный памятник, — она способствует забвенью... Границы областей сотрутся, вся планета станет человеку родиной, словам любовь и солнце вернутся их первоначальные значения. Не все, но *каждый* будут счастливы. В пустыне проскачет свободный и голый человек. Слушайте... я до сих пор так и не знаю вашего имени... неужели вы не понимаете, что, в сущности, человечество только и живет надеждой на Аттилу?!

Сузанна с любопытством взглянула на него:

— А советские фабрики и заводы надо взрывать или не надо?

Он ожесточенно покачал головою:

— Вы так и не поняли меня. Я напрасно распространялся перед вами. Мне жаль себя...

— Нет, я поняла и благодарю за доверие. Я попрошу Увадьева сделать оргвыводы, как теперь говорится! — Она уходила.

— Последний вопрос! — Он заступил ей дорогу. — Где тот?.. его звали Савкой в ту ночь.

— Савка?.. он сунул гранату в рот, когда его брали. Имейте в виду, это почти и не больно.

Ему хотелось догнать ее и отнять свою идею, которую она с такой легкостью подвела под статью уголовного кодекса. Но она ушла, а он, выдернув травинку, обессиленно жевал ее сочный, сладковатый стебель. Ему пришла мысль, что он запутался, что вовсе и нехватит воли на овладенье миром. Там, под сумасбродной оболочкой идеи, крылось простое человеческое честолюбье. Именно не война, не годы развала и бедствия создали его характер, а ничтожный случай юности, когда еще собирал марки. Дело было в реальном училище, дело было в директорском кабинете: штатский генерал со лбом до самого затылка уговаривал его сходить к высокому покровителю и шаркнуть ножкой за стипендию, на которую учился. Голос был замшевый, замша пахла опопонаксом, она моталась из живота почтенного чиновника, где скрывались целые рулоны такой замши. А Виссарион угрюмо косился на серебряный колпачок чернильницы, где передразнивал его послушные кивки головастый ублюдок... И вдруг он рассмеялся мысли, что Сузанна могла ему сказать: а ты хоть и с запозданием, но шаркнешь ножкой...

Побитая гнилая вика цеплялась за ноги. Он шел быстро, и над ним его же путем катилось облако, взъерошенное и в полнеба; одна и та же влекла их судьба. Ярость ускорила шаги Виссариона, но и облаку прибавил резвости усилившийся ветер. Оно распалось над лесом в тяжелые, моросящие клочья, а человеку понадобилось прежде свернуть в Макариху, к дому председателя волсовета.

5

Всем, кто умел заснуть в эту ночь, снилось это дикое облако, но каждому в различном виде. Увадьев видел красный шар, громоздко катившийся с востока на запад, Акишин — окоренную болону на шестериковом березовом комле, которая издалека несла последний удар на сотинскую запань; Вассиан — просто заячью голову, кощунственно пристегнутую к безгласному тулову Евсевия. И будто тысячи народу от гор, от рек, от степей пришли поклониться святому, лежащему в пышном соборе, который к этому сроку уже достроило вассианово воображение. И будто, стоя ближе всех, все старается казначей прикрыть платочком меховое лицо старца, но тот бьется и сдергивает пелену, и все видят и, внезапно прозрев, бегут вон. И тут, на перегибе сна и яви, снова вкрадывается сомненье: истине ли поклонялся, правды ли ради лукавил бессменно двадцать лет в многотрудной должности казначея? Все чаще вторгалась такая сумятица в непрочные сны Вассиана...

Накинув овчину, он вышел из кельи. За облачной высокой кисеей расплывчато и надменно просвечивало солнце. Розовые потемки зари здесь, на огороде, пахли тмином. Бурная ночь придвинула оползень еще на полсажени; гряды укоротились, и огуречные усы недоуменно повисали над бездной. Было обидно глядеть на поломанную, втоптанную в грязь ботву; Вассиан бесцельно обошел скит. Всюду жестокое опустошение представало его хозяйственному глазу. Ночью близ церкви десятибалльным ветром повалило дерево; вершина проломила железный навес и вышибла цветные стекла на паперти, дар все того же чудака Барулина. Подняв осколок покрупнее, Вассиан сокрушенно протирал его полою, точно он мог еще пригодиться в этом обреченном гнездовье бога.

Его неудержимо потянуло прочь из гиблого места. Не расставаясь с драгоценным осколком, напоминанием славы, казначей двинулся по просеке, приводившей на мысок. Давно здесь не проходил никто; по дорожке расплодились цветистые и наглые грибы. С деревьев шумно падала ночная влага. В орешнике неуверенно посвистывали птицы. «Это чирки», — подумал казначей и, хотя был знатоком пернатых, не заметил своей ошибки. Из

трещин на скамье выползла ядовитая оранжевая плесень. Смахнув ее веткой, Вассиан присел на краешек, осторожно, — как в чужом доме. Сверху, на взгляд казначея, все обстояло благополучно. На реке попрежнему стояла прорва лесу; запань искривилась дугой, и только отдаленное журчанье вод напоминало о паводке. Зевнув, ибо уже утомился печалями, он приложил осколок к глазу. Цвет стекла был густокрасный.

Он не узнал Соти и, не поверив глазу, принялся протирать стекло. Красный зной стоял над рекою; листва была прозрачна и темна, а небо исполнилось недоброй черноты. Все было как бы в пламени, а лесная масса представлялась потоками застылого базальта, извергнутого из недр. Облачная лава надвигалась с востока. Движения людей, копошившихся на противоположном берегу, приобрели злую и тревожную значительность. Стекло искажало правду; правда стекла была совсем другая. Верховой гнал по берегу клячонку, везя почту на Шушу, а Вассиану показалось, будто на апокалипсическом таракане удирает от страшного суда. Красная пленка легла на сознание казначея; он увидел человека, стоящего неподвижно на берегу, и почувствовал, что человек сейчас неминуемо упадет. Он едва успел откинуть колдовское стекло, и в ту же минуту произошла катастрофа. Прорыв запани произошел на его глазах.

Что-то молнийно сверкнуло под лесным затором, и потом дважды выстрелили из игрушечного пистолета; на пятнадцатисаженной высоте, где находился Вассиан, все представлялось ему в преуменьшенных размерах. Запань стала еще круглей и вдруг выскочила из пяты; костоломная сила метнула бревна по реке, которая стала чуть не вдвое шире. В особенности испугала Вассиана легкость, с какой вековая ива отделилась от своего места и, стоя посреди, двинулась общим потоком. На средине реки, где плотность массы понизилась, она упала и билась ветвями в воронках водоворотов. Когда ее снова выкинуло на поверхность, она ничем не отличалась от тысяч других кряжей, этих сотьстроевских солдат, так и не побывавших в бою. Держась за скамью, точно боялся, что беда утащит его в чужое море, Вассиан потерянно наблюдал бешеную скачку пены и деревьев. Потом его внимание привлекло белесое пятно на коленке: ряса разъезжалась,

а новой уже не было. Он так и понимал: надо кончать жизнь — затянувшуюся, несмешную неудачу. Большая сотинская беда заслонилась своею, маленькой: чтоб жить дальше, надо было непременно придумать, как выгодней всего пустить нитку по расползавшейся ткани.

Там, на берегу, почти с таким же бесстрастием созерцали катастрофу; это было равнодушие бессилия. Собравшись сюда точно на похороны, рабочие угрюмо ждали утреннего гудка. Часом позже их сменили мальчишки; рассевшись на жердях изгороди, они с задирчивой деловитостью обсуждали происшествие. Скоро сбежали и они: у Тепаков выкинуло утопленную корову; надо было обсудить и корову. К полуденному гудку на берегу находился лишь Ренне да еще береговой десятник с ним. Похлопывая инженера по плечу, дыша ему в лицо водочным перегаром, он в десятый раз доказывал свое:

— ...в прежние годы выругался бы, взял бы расчет, да к жене на печку. А ноне, рази ж я не понимаю, хрест на груди, деньги-то чье? Почитай со всего уезда, что в налог собрали, деньги утекли, Филипп Александрыч! Мужики пóтом исходили, бабы беременны трудились... шкету восьмой годок, ему б порхать, а и его в сообщий хомут впрягали, чтоб репку эту из земли тащить... а тут фить! и прощай, обожаемая репка. И выходит, что вроде как бы на картах мы с тобой эти деньги проиграли, Филипп Александрыч. И неповинен, хрест на груди, а убить себя охота!

— Не хами, братец, не хами, не люблю... — морщился Ренне на его трескотню.

— Теперь непременно отдадут нас под суд. Засодют, а уж там папироски не закуришь, а все махорочка, мать родная. На, Филипп Александрыч, приучайся! У-у, утроба... — рычал он реке, и плакал, и вскакивал, пьяный, и снова плакал как-то странно, слюною.

Соть посмирнела, ее воды тащились медленней. В кабинете Бураго висел анероид, неустойчивая стрелка его выражала как бы смущение. С утра бессонный телеграфист начал выстукивать увадьевские послания и в уездный исполком, и в *Бумагу,* и в Совет народного хозяйства. В конторе стало тихо, и даже старший бухгалтер, имевший дурную склонность петь коровьим голосом, отправляясь домой с работы, похоронил в себе свои

рулады. Только к концу дня, после заседанья, Увадьев вышел из кабинета в общую канцелярию. Лицо его огрубело, а руки цеплялись за предметы, мимо которых проходил; он с удивлением признавался себе, что устал, и потом угнетало странное ощущение, будто озябла спина. Заседание, посвященное выработке мер по ликвидации сотинской катастрофы, кончилось ничем. Лес был нужен больше, нежели цемент и железо; начинались срочные работы по опалубке второго перекрытия и по возведению рабочего поселка. Бураго требовал немедленного сокращения работ, так как при новой смете и неясности положения строительство могло встать перед внезапной угрозой остановки; Увадьев настаивал лишь на постепенном снижении строительного темпа, рассчитывая, видимо, добыть к сроку потребные лесоматериалы. Рабочком по понятным соображениям от голосования отказался. Заседание отложили до вечера, чтоб выслушать мнение Потемкина, продолжавшего оставаться начальником Сотьстроя. Ренне на заседание не явился; общий запал злости так и остался неизрасходованным.

Когда Увадьев раскрыл дверь, облако табачного дыма стояло за его плечами.

Канцелярия была пуста; только у окна, белесая в пасмурном свете, стучала на машинке переписчица. Увадьев с зевотой вспомнил: ее звали Зоей, она славилась аккуратностью и всегда попахивала мылом. День гаснул. Внизу передвигали стол. За окном, утопая в грязях, прошел главный механик Ераклин.

— Что печатаете? — спросил Увадьев, подходя к столику.

— А вот Степан Акимыч просил спешно ведомость на жалованье! — Это и был бухгалтер с коровьим голосом. — Сколько фунтов табаку искурили! Прямо одурь берет...

Она подняла к нему круглые свои, из скуки сделанные глаза и улыбнулась сладко, точно подарила пятачковую шоколадку.

— Да, дымно... — Он все не уходил. — Вы из местных, кажется?

— Нет, я из Вятки, а у меня сестра тут, учительница в Шонохе. Красивое село, только из-за медведей страшно...

— Ага, это очень интересно... — глухо протянул Увадьев.

Он смотрел сверху на ее короткую белую шею, на дешевенькие коралловые бусы, на простенькое кружевцо рубашки, торчавшее из-под блузки, и бровь его подымалась все выше и выше: выходило, будто никогда прежде не видал в такой близости этого светлого пушка на женском затылке. В руках родилось непонятное беспокойство; чтоб побороть его, он взял папиросу из лежавших рядом с потрепанной сумочкой и закурил. Сразу — словно ломом ударило по шее; теплый дурман пополз по жилам, и что-то размягченно улыбнулось в нем внезапной пустоте. Теперь уже не было страха, что папироса произведет огромный дым и все догадаются, что Увадьев сдался. Машинистка снова усмехнулась, и на этот раз ее усмешка не показалась такой противной, как минуту раньше. Он протянул руку и медленно погладил пушистые завитки на ее затылке. Лицо его было безразлично и даже исполнено хозяйственной деловитости, точно пробовал на ощупь качество целлюлозного волокна.

— Меня зовут Зоя, — очень тихо сказала машинистка, замедляя работу.

— Стукайте, стукайте... Я не мешаю?

Она шумно передвинула каретку:

— Да нет, что же... ведь пальцы-то у меня свободны!.. вы такой нелюдимый.

— Нет, я людимый, — без улыбки возразил он, и ему было так, будто заставляли жевать помянутую шоколадку. Табачный яд, вливаясь в привычные русла, застилал сознание. — Вы тут и живете?

— Я же сказала... я с сестрой, в Шонохе. Как ручей перейдете, там с голубыми наличниками дом. Сестры никогда дома не бывает. Нагрузки всякие.

— Красивое село, — невпопад согласился Увадьев, и тут мысль его вильнула в сторону: — Слушайте, вы финики любите? Ну, ягоды такие, на пальмах. Мне приятель из Туркестана прислал третьего дня.

— Это от них зубы болят?

— Вот-вот... приходите есть финики, — сам не зная зачем предложил он.

Она с готовностью подняла голову:

— ...сейчас?

— Нет, финики не к спеху. Достукаете и приходите... к шести.

Домой он пошел окружной дорогой; хотелось побыть на воздухе и немного раскислить настроение. Он шел мимо, и все ему не нравилось. Рядом со срубом, где предполагалось поместить рабочий универмаг, стояла уже изготовленная вывеска; в луже пестро отражались вывороченные буркалы букв. «Поганая мода завелась, всякое дело начинать с вывесок!» — хмуро заключил он. Дома для административно-технического персонала только размечались; Увадьев вспомнил надоедного санитарного врача, который еженедельно требовал расширения рабочих бараков, вспомнил погибавшего в грязях Ераклина и подумал, что проложить дощатое подобие тротуара, без которого легко обходились до непогодного этого месяца, следует еще прежде, чем приступить к баракам. На все нужен лес, много леса, того самого, который теперь по чужим поймам исступленно раскидывала Соть.

...нужен был лес. На полузакрытой платформе в железном забытьи валялись разные части крупных машин, которые частично уже начали поступать на строительство. Тут были всякие медные коленчатые шеи, хваткие стальные руки, готовые взяться за маховики, чугунные пищеводы, нужные, чтоб питать водой еще не родившегося гиганта. Иные части его сидели в сквозных ящиках и покорно ждали срока своего воссоединенья. В этот пасмурный день металлу было холодно; наверно, ему мерещилось тысячелетнее клубленье земных глубин и тягучий зной домны, откуда его вытащили в зноб и ненастье сотинского вечера. На дома для них нужен был лес, уйма лесу... Он ходил целый час и устал больше от раздражения, чем от ходьбы по невылазному этому месиву. Вдруг кто-то взял его за руку.

— А я вас уже давно жду! — жаловалась Зоя.

— ...да, финики! — с досадой вспомнил он и не знал, что ему дальше делать с машинисткой. «Заставлю ее докладную записку перестукивать; через час сама убежит...» — с облегчением придумал он. Зоя молчала и ногтем, высунувшимся из нитяной перчатки, чертила по стене какие-то узоры, а потом обводила пальцем сучки в бревнах, пока он несоразмерно долго отпирал дверь. Они вошли в ту чистую половину избы, которую называют горницей.

Увадьев зажег лампу и задернул занавеску; тотчас же другое окно оказалось тоже задернутым. Если бы он своевременно заметил ее помощь, наверное, еще раньше произошло бы то, что так смешно и нелепо случилось получасом позже.

— Вы распаковывайтесь... счас мы их и достанем, финики. Они в корзинке, я их от мышей пересыпал!.. а потом будем перестукивать доклад.

Зоя понятливо улыбалась:

— А мне тут нравится, — говорила она, осматривая грязноватые стены избы. — Очень так просто. Только клопа наверно, много. Знаете, они ужасно можжевельника не любят, вы попробуйте стружек под простыни насыпать!.. Хотите, я вам абажур на лампу сделаю? Давайте скорей бумагу и ножницы!

— У меня нет ножниц.

— Ну хоть маленькие, для ногтей... все равно.

— А я ногти просто ножом. Нет, слушайте, не надо абажура, не люблю этого, темноты! Пускай все будет ясно...

Получалось, что он как будто даже растерялся перед катастрофической быстротой, с которой подвигались события. «Вот-вот, всегда так начинается. И она не верит, что доклад...» — соображал он, вываливая финики кучей на лоскут бумаги. Унылая мысль текла до чрезвычайности туго; он понимал одно — это враг... Пока Зоя сперва с изумлением, а потом и с жаром пожирала финики, он украдкой рассмотрел ее. Была она молода и, несмотря на морковный румянец, миловидна, хотя и коротковата, как почти вся северная женская порода. Кроме того, она была далека от всяких высоких затей, все ей было несложно, и оттого мир был нетребователен к ней. Тараторя про себя и сестру, она вдруг ужаснулась на свою прожорливость и нерешительно положила обратно на стол надкушенный финик.

— А вы... почему не едите?

— Я ел. Я их по ночам ем. Встану и ем.

— А молчите почему?

— Да я все слушаю, очень интересно, — успокоил Увадьев, кусая губы.

— Хотите, я сбегаю за Веркой? У нее гитара. Она поет, очень мило. То есть подруга поет! Очень симпатичная...

— Нет, уж без подруги... я не люблю симпатичных.

Она неумело погрозила ему пальцем и со вздохом доела финик.

— Вы страшно-страшно хитрый. А это верно, будто станут сокращать штаты? Верка ужасно боится, что ее сократят... У нее отец городовой был, но ведь он помер, а они даже все карточки его сожгли!

Сосредоточась на своем, он не дослышал ее вопроса, а она уже забыла: теперь груда фиников почти не уменьшалась. Вдруг он поднялся:

— Вы, значит, посидите, а я позвоню, чтоб прислали пишущую машинку... У меня телефон в той половине. Вы ешьте, ешьте!

— Вы ужасно хитрый... — сказала она ему вслед.

Он вышел в комнату, где стоял его рабочий стол, и вызвонил Сузанну; она подошла сразу.

— ...нигде не могу отыскать. У вас нет Бураго?

— Кто говорит? А, Увадьев!.. нет и не было.

Она замолчала, а он все не клал трубки назад.

— Что вы делаете сейчас, Сузанна?

— В данную минуту? — Она посмеялась его любопытству. — Наливаю хромовой смеси чистить химическую посуду.

Еще прошла одна минута очень нерешительного молчания.

— Я выписал вам этих, как их?.. — покровных стеклышек.

— Отлично, микроскоп мой благодарит вас! Вы что-нибудь еще хотите мне сказать, Иван Абрамыч?

— Да...— Ему очень хотелось закурить в этом месте разговора. — Вы... извините за нелепый вопрос!.. вы ничего не замечали за мной в последний месяц?

— По-моему, у вас болели зубы. Угадала?

— Не совсем.

— Нет, правда, вы всегда такой рассудочный, сосредоточенный в себе... Однажды вы мне напомнили Печорина, — помните, у Лермонтова? Но только другого века и класса... вы даже ходите и руками не размахиваете, как и он: по той же скрытности. Вы читали Лермонтова?

— Прочту!

Она прекратила разговор, а он все сидел у стола, крепко сжимая трубку, точно то и была рука Сузанны. Табурет

поскрипывал в такт его дыханию. На столе тикали карманные часы; они напомнили — через полчаса начиналось заседанье у Потемкина. Кто-то громко чихнул: это была телефонистка, которой любопытно было даже самое молчание Увадьева.

— У вас насморк, товарищ, вы можете потерять работу! — негромко сказал в трубку Увадьев и, сунув часы в карман, пошел к гостье.

Дверь он раскрывал медленно, в надежде, что Зоя не дождалась и ушла; он ошибся, и вот бровь его сурово и гневно поехала куда-то на висок. Освещенная лампой, машинистка сидела голая, на ней оставались только бусы. Пеговатые ее волосы прямыми косичками ложились на плечи. Ей было, повидимому, очень холодно, по коже плеча явственно проступали пупырышки. На бумаге от фиников осталась только горстка. Зоя робко улыбнулась, и это была ее единственная одежда.

— ...я сюрприз вам, — сказала она виновато и ждала.

Увадьевское лицо перекосилось и стало походить на кулак:

— Вон... немедля вон! — и сам не слышал своего голоса.

Потом он сел на лавку и тупо глядел куда-то в обратную сторону; осунувшееся лицо его стало точно после сыпного тифа. Гостья торопливо и неуклюже одевалась, все задевая вокруг себя; от испуга она даже забыла, что слезы тоже могут быть одеждой. Вещи отказывались служить ей: туфля не влезала на ногу, а блузка поползла по шву. Вдруг увадьевское внимание привлек какой-то шелестящий звук, он неторопливо оглянулся. Из раскрытой сумочки, которую Зоя схватила впопыхах, сыпались на пол украденные финики.

— Это для сестры... для сестры! — шептала она, вся дрожа.

Увадьев молча вырвал сумку из ее рук и доверху набил финиками из своего запаса; они липли к его рукам, а он вколачивал их в сумку с ожесточением брезгливости.

— Кланяйтесь вашей сестре! — крикнул он, расправляя слипшиеся пальцы.

— Зачем вы сердитесь... Разве я обидела вас? — только на пороге зарыдала она.

6

План мобилизации населения так и не удался. Упрежденные кем-то во-время, мужики еще с вечера принялись разъезжаться по гостям. Пронька с Мокроносовым бегали по дворам уговаривать, чтоб не покидали строительства в эту опаснейшую для него минуту, но у тех свои имелись доводы. Кругом начиналось пированье, в Шуше праздновали казанскую, а в Ньюгине пятнадцатое июля месяца — примечательный день, в который горели семь лет назад, а в Ильюшинском просто так, по случаю ненастья, собрались проплясать свое горе кумовья да сватовья. Судя по запасам, какие грузились на подводы, гостеванье предполагалось долгое.

Кое-где, однако, бранью и угрозами, молодежи удалось задержать отцов от бегства, но на сход явились лишь юнцы да безлошадные вдовы. Все же Фаворов, как представитель Сотьстроя, стал говорить и говорил неплохо о многих высоких вещах, а кончилось тем, что какая-то клыкастая старуха — не ведьма, так ее родственница — так и полезла на оратора:

— Эй, господин, запрягай нас самех... садись да постегивай! А и подохнем — мало убыли...

Мокроносов хмуро выступил вперед и спросил, куда ехать; и еще не успел Фаворов добраться назад к Увадьеву, как уже обогнали его двадцать три гремучие крестьянские подводы... Да еще две волости из двенадцати приречных отозвались на увадьевский призыв; к ним присоединился весь наличный транспорт строительства. В сущности, это и было пока все, чем можно было залатать дыру прорыва.

Постепенно увеличивались сотьстроевские катища, но и работы находились в полном разбеге; уже через полторы недели после катастрофы стали ощущаться нехватки лесоматериалов. Соть быстро спадала; по слухам, кое-где на малых реках из-за обсыханья даже простаивали плоты, и все-таки лесные организации не соглашались обменять своего сплава на раскиданные увадьевские сокровища, которые надо еще было ловить. При общих размерах нового строительства и потребности в лесоматериалах никто, разумеется, не мог тотчас выполнить сотьстроевских заказов. Забыв себя, Увадьев носился по округе, и, как результат

его метаний, работы по закладке силовой и кислотных башен почти не замедлялись. В обход законов он пускался на все пути, которыми лес мог притти на строительство, и Бураго лишь посмеивался, наблюдая его ухищрения. Вечером однажды, зайдя к Увадьеву по делу, он застал у него старого Красильникова; несмотря на будний день, тот был в черной, глянцовитого сукна поддевке, придававшей особую необычность их беседе, как будто разговор их происходил во всесоюзном масштабе. Разговор шел покуда не о лесе.

— ...вот и не надо было плевать на меня, товарищ Иван Абрамыч. Ты меня хлеба и жилья решил, и оттого сдеру я с тебя за свои труды, прямо говорю. И пограбил бы тебя глухою ночью, да руки коротки...

— Бери, но чтоб было! — заговорил Увадьев, а сам все присматривался, может ли старый лесопромышленник помочь ему в беде, или пришел только так, чтобы выместить на нем обиду.

Красильников оказался бессильным, и Увадьев выгнал его как-то раз на полуслове; оставались надежды только на Жеглова. Дни текли еще быстрей, чем деньги, а из канцелярии уже никогда не доносилось успокоительного бухгалтерского гоготанья. Потемкин окончательно отошел от дел и чахнул, а жена его, приехавшая по депеше, вела себя как заправская вдова. Непрочитанные газеты стопкой копились возле его кровати; в них было смутно и тревожно. Виды на урожай оставались мизерными; целых два месяца кропил советскую страну какой-то тухлый дождик. От моря к морю прокатился слух о возобновлении деятельности Народного комиссариата продовольствия. На окраинах вводилось карточное распределение продуктов. Правительство издало декрет о добровольной сдаче хлебных излишков, но попутно принимались и другие срочные меры, чтобы не допустить срыва строительного плана. В народе незримые трепачи распространяли слухи, будто сорок тысяч продкомиссаров уже выехало на мужиков. В центре открылся заговор. Соседняя держава производила маневры на советской границе. В тысячах уездных окошек вспухали анекдотцы о глиняном социализме. Одна вечерняя газетка поместила огромную статью: не заводите лишних запасов еды, потому что в них заводятся червячки; тут же один безвестный профессор приводил и латинскую фамилию

червячка, сопровожденную рисунком от руки. Страна скорбно готовилась к неприятностям...

На окостеневшей Соти установился преждевременный покой осени. Наезжие люди рылись в кулацких погребах; из просторных бочек, врытых под гряды, извлекали гнилое и закисшее зерно. У Жеребяковых вывезли тонну, у Алявдиных полторы. Эти богатства, наполовину сгноенные в навознях, всколыхнули деревенскую общественность; вырастала баррикада на Соти. Комиссия, составленная из комсомольцев и представителей налоговой инспекции, отправилась однажды утром на ручей и там, в ста шагах от красильниковской маслобойки, нашла клад в двадцать три военных винтовки да восемь старинных берданок, а при них изрядно пуль. Находка была обнаружена под крестом безыменной могилы, где закопан был Петр Березятов, бунтовщик против Советов, на этом самом месте расстрелянный десять годов назад. В чаянье отыскать березятовские кости, рыли глубже и вытащили пулемет, густо смазанный свиным салом; и еще часа два рыли, но ничего более не нашли. Тогда-то и зародилась темная молва, что ружья — это и есть кости Березятова, а пули — его кровинки. К обеду изрыли все вокруг красильниковского владенья, целые окопы провели, но не давался в руки клад. Кстати, все тут и увидели Василья, впервые после долгого его отсутствия. Выбравшись из низкой дверцы, он равнодушно проковылял к ручью и там, кинув голову в ручей, полежал на боку маленечко: так именно и тушат чадные головешки. От прежнего щегольства не осталось и ниточки, полрожи в дегтю; в лесного зверя обращался этот человек. А на обратном пути крикнул Проньке:

— Рой, шпана, рой!.. всеё земли не перероешь.

Брать его пока было незачем, а сперва дознавались, кто еще уцелел от березятовского племени. Языки показали на скит: там-де все дядья покойного, понакрылись скуфейками, молят богов о советской гибели. Решено было нагрянуть и в скит, и только за поздним часом отложили экспедицию до утра, а тем временем сбежал Филофей, задержанный накануне за свое откровенное злоязычие. Лукинич, под охраной которого состоял арестованный, путано разъяснил, будто ворвались ночью трое, рожи платками обвязаны, взяли ключи силой и, посадив монаха на коня, умчались в направлении Лопского Погоста. Виссарион,

который оказался свидетелем, подтверждал, будто слышал ночной скок и видел самого Лукинича, с воплем мчавшегося за всадниками; следы похитителей замыло дождем. Так дело и замолкло, а в газеты проскочило лишь известие о найденном оружии.

Опасаясь, чтоб кто-нибудь не предупредил скитчан о завтрашнем нашествии, Пронька до ночи сидел на берегу и наблюдал за рекою; в случае заварушки, ему первому плыть бы по Соти с пробитой головою. В бинокль, который он таинственно выпросил у Фаворова, видно было — блуждали на мысу огоньки меж деревьев, а за ними тени, и потом много людей пронесли, сутулясь, длинное подобие носилок и скрылись за углом приземистого строенья. Тогда-то и овладело им искушение переплыть реку и взглянуть поближе на эту непостижимую суетню; уж он и пояс расстегнул, но тут подошла Катя, сестра, и, окрикнув, присела рядом.

— Чего рыщешь?

— Проня, сердце щемит!

— Намажь иодом, пройдет.

— Ты б поговорил с жильцом-то нашим! Что ему во мне! За ним и барышня побежит.

— Ты про Виссариона? Ну, наплюй на него.

— Да он нравится мне!

— А тогда живи с ним.

— Да боязно!

— О, тогда отступи в срок...

Она надула губы и отвернулась:

— Брат... чужому и карман настежь, а своему и совет с оглядкой! Иди ужинать.

Уходя, он еще раз приложил бинокль к глазам, но там, на мысу, уже серела как бы осенняя пустота.

Догадки его пришлись впустую; скитчанам нечего стало прятать теперь. В эту ночь умер Евсевий, и смерть его была последней точкой в длинной и витиеватой книге скитского существования. Он начал умирать десятки лет назад и умирал по частям; за ногами окончились руки, потом, подобные октябрьской листве, стали отпадать чувства, и тогда братия решила посхимить его перед отходом из жизни. Темный и страшный обряд прижизненного погребения совершали как раз в тот час, когда Пронька усиленно протирал стекла фаворовского бинокля; надевали наспех

кукуль беззлобия, из-под которого уже никто не смел взглянуть на мир; опоясывали подмышками аналавом, и Кир, не умея нашить белые знаки схимы, собственноручно, мелом, начертил на кукуле адамову голову, а на плечах летящих серафимов. Евсевий лежал, откинув голову набок; глаза его были полузакрыты, а волосатое лицо исказила бессильная тоска: в последнее время единственной пищей ему была вода. Может быть, он понимал значение завершительного насилия, которому его подвергали старики, такие же бездомные в жизни, как он сам.

Его перенесли в трапезную и там ждали конца. Смерть никого не удивила бы, и Аза часто зевал, одолеваемый дремотой. Все устали ждать, а старец все жил; ему дали новое имя, непонятное живым, как магическое слово, — смрадил и жил. Тогда Кир пошептался с братом Ксенофонтом, и тотчас Ксенофонт принес с окна книгу, огромную и недружественную, как нежилой дом.

— Жития и страдания старцев соловецких благослови, отче, прочести... — возгласил он гнусаво и наклонил коптящую лампчонку над страницей, источенной жучком. Это было Денисовское сказание о первом соловецком разгроме, о Никоне и воеводах его; Ксенофонт читал его чуть сонливо и нараспев. Кир не зря выбрал именно это место летописи, способное укрепить решимость братии на будущее время. Подобные летучим мышам, порхали во мраке угасшие истертые слова.

«...повеле призвати Никанора, иже от трудов стояния молитвенных ходить не можаше, но на малых саночках послании вземши привезоша. Он же, воевода и раб царишкин, образа иноческа не устрашився, ниже седин столетних, тростию бияше блаженна по главе, по плещам, хрепту, устам, яко и зубы от уст изби...»

Свет еле пробивался сквозь закопченный стеклянный пузырь; чтец косился на Евсевия, боровшегося с демонами смерти, и потом, впустую шевеля губами, суетливо искал пальцем утерянную строку.

«...хотяше в пепел забытия обратити, повеле из караула иноки и бельцы, числом яко до шестидесяти, привести и, различно испытав, казни различно уготова. Овых завеща повесити за ноги и ребра, кажного на своем крюке, а овых под мещь клали и напятеро разымали, а юродивых в пустой бане огнем пожгли, кнутьем изби, вервием подавиша,

и иным, на скамью посадя, языка резали дважды и трижды, а иного за конем влачили, яко непогребеннова мертвеца, а инии главопосечени быша».

Ворочался Евсевий, и меловая отметина с кукуля осыпалась. Вдруг Кир поднялся с игуменского места, и следом встали все, шатаясь от усталости: рассветало. Евсевий поднялся, точно перед смертью хотел бежать из этого горького людского мрака; он распахнул свои дремучие ресницы, потому что не верил в тишину, его объявшую.

— Нету бога! — крикнул он голосом, хрустким, точно сломали щепочку, и упал навзничь, и все хотели бежать отсюда, и только один Кир, подойдя к нему, поцеловал его в мертвые уста.

Все молчали, и вдруг всем стало легче: самым существованием своим Евсевий тиранил братию, и когда распалась последняя связь, тут стояли лишь нищие да будущие бродяги, уже не соединенные ничем.

...Вассиан имел тетрадку, в которую без затей и выводов записывал все, что потрясало его незамысловатый разум. Там было:

«Лотос, символ отшельников, а у нас не растут».

«Фараон Аменготеп за десять лет царствования убил сто восемь львов».

«Уродился кочан в тринадцать фунтов, вонючий».

«Румыния объявила ультиматум большевикам».

«Кричали сороки, не дали спать».

«Умер Евсевий, тако и все мы исцелимся от жизни сея». Запись эта помещалась в самом конце страницы; больше записывать стало негде, да и не о чем.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Это началось неделей позже. Надежды на своевременное прибытие лесоматериалов не оправдались. Стремясь залатать хлебную пробоину в экспорте, страна кинула огромные количества леса за границу; по вывозу леса Советский Союз стал сразу на третье место. Дорога же отказывалась грузить то количество лесоматериалов, которое

удалось закупить Жеглову: везли машины, цемент, железо на крупнейшую гидростанцию, воздвигавшуюся в соседней губернии; гидростанция была важнее в государственном плане великих работ. Увадьевские телеграммы не производили никакого действия: под бронзовой девушкой на жегловском столе их скопилось до полусотни. Весть о сокращении работ проникала в рабочую гущу; ей не верил никто. Тем не менее председатель рабочкома ездил секретным образом в губотдел строителей, и там ему обещали снестись с центральным комитетом союза. Дело затягивалось, рабочие волновались, управление Сотьстроя молчало. В эти дни не было ни одного прогула.

Общественное мнение искало виновников, и как раз накануне дня производственного совещания этого виновника нашли; быть им мог, разумеется, один Филипп Александрович Ренне. С самого начала работ строители чувствовали в нем чужого, который если не навредит, то не принесет и достаточной пользы; все было ненавистно в нем — от сухой, лаистой речи до старой, с острыми полями фуражки. Стенная газета все чаще помещала злые запросы по адресу администрации, продолжавшей держать этого преждевременного старика. Фаворов стал невольным свидетелем того редкостного в пореволюционное время происшествия, которым завершилась сотинская катастрофа... Большая толпа рабочих, настроенных скорее весело, подошла к конторе строительства и вызвала заведующего лесозаготовками. Фаворов, выглянув в окно, увидел в толпе какой-то прикрытый рогожкой предмет и вдруг догадался, что сейчас произойдет скандал, каких еще не бывало на строительствах.

— ...не ходите! Я найду Бураго, он поговорит с ними, и все обойдется... — Скулы его дрожали, потому что это был первый случай в его инженерской практике.

— Вы молодой человек — надо быть разумно. Прогресс — в этой стране научились линчевать — до свиданья — молодой человек! — Однако Ренне еще минуту барабанил пальцами в подоконник, прежде чем покинуть помещенье конторы.

Его уже увидели снизу в окне и усердно манили руками вниз; страшней дубинки над головой был этот тяжеловесный юмор гнева. Фаворов схватился за трубку телефона, но Ренне не стал дожидаться. Без фуражки, как был,

он стал спускаться вниз по лестнице. Из канцелярии вдогонку ему потянулись безыменные руки, как бы стремясь удержать от неминуемого, но выходная дверь раскрылась с той стороны, и руки исчезли. Ренне стоял один перед толпой, заложив руку за борт пиджака. Ближайшие смущенно задвигались, но сзади напирали, и какая-то деловитая кучка людей уже продиралась к нему сквозь людскую гущу. Он знал, в чем тут дело, и сразу поднял руку, желая говорить:

— Запань верно — я покажу расчеты — выберите комиссию — я объясню — завтра!

Он смолк, но впереди толпы уже выкатился предмет, потрясший Фаворова. Это была одноколесная и вдоволь послужившая тачка, в каких возят строительный мусор. Худая женщина, тетка убитой девочки, хлопотливо и нервно уминала рогожку, на которую через минуту должен был сесть Ренне. Вдруг она указала пальцем на инженера, и палец был таким длинным, что почти достигал его сердца.

— На похороны тоже приходил!.. — крикнула она, и этого было достаточно, чтоб все поняли провинность Ренне.

Искусанные губы его брезгливо опустились вниз, а в уши стал вливаться насильственный румянец. Он глядел в землю и чего-то выжидал, потому что не самому же было садиться в позорную тачку! Тогда небольшого размера и щетинистый человек, — Ренне узнал в нем сразу слесаря из ремонтного цеха, — решительно выдвинулся вперед.

— Придется прокатиться,— сказал он зло и просто, кивая на одноколесную. — Пожалуйте!

Из толпы понеслись крики:

— Почему на запани подстрелов не было?

— Ты сколько, злодей, денег-то брал... и каких денег!

— Катался в машине, прокатись и на одном колесике, супчик...

Кто-то запел про знаменитое яблочко, которое, раз укатившись, уже не возвращалось назад. Тот же слесарь сказал угрюмее и настойчивее:

— Садитесь, гражданин. Не силком же волочь! — и, насмешливо вытерши руки о рубаху, сделал попытку взять

Ренне за рукав, а тот смятенно догадался, что это и есть то самое, горшее смерти.

— Я и сам — сам могу — сам... — отпихнул его руку Ренне и уже озирался, собираясь как бы бежать, но кольцо плотно обжимало его от стены к стене, и нигде не было спасительной щелочки в этой хляби враждебных глаз.

Его втиснули в тачку и повезли; слесарь ожесточенно придерживал его за плечо сверху. В почти похоронной тишине равномерно поскрипывало колесо. Иногда оно наезжало на камень, и вся тачка вздрагивала.

— Везите ровней, черти... ровней, — обмякшим голосом приказывал Ренне: он еще приказывал.

Толпа увеличивалась; лица у всех были серьезны, и можно было предположить в них раскаянье, что применили именно этот бескровный и потому неутоляющий гнева способ расплаты. Откуда-то в толпу протискалась жена Ренне; ее не узнали, так как, полуслепая, она безвыходно сидела в отведенной им квартире. Спотыкаясь и наугад наклоняясь к мужу, она тормошила его ускользающее плечо.

— Филипп, скажи им... Филипп, этого же нет в твоем договоре! Филипп...

Но тот делал нетерпеливое лицо и шептал поблекшими губами:

— Не мешай, дружок... не мешай.

Тогда она хваталась за соседей или умоляюще поглаживала руки двух бетонщиков, везших тачку, но безразличные их руки, окостеневшие от сознания долга, сохраняли свою цементную холодность. К концу пути, что-то уразумев, она посмирнела и шла позади мужа с каким-то полувдовьим лицом; ее не прогоняли. А впереди сотьстроевский милиционер предупредительно распахивал ворота.

...Увадьев, уезжавший в уком, вернулся только на следующий день, когда все было кончено. Ему передали историю с инженером, и оттого, что до производственного совещания оставался целый час, он решил навестить Сузанну. Она писала какое-то письмо и закрыла его листом пропускной бумаги, когда вошел Увадьев. Тот утомленно опустился на кровать, расположенную у самой двери, и озабоченно пощелкивал замочком портфеля. Сузанна привстала.

— Если вам не трудно, Иван Абрамыч, пересядьте на табурет. Я не люблю, когда сидят на кровати. Вон, рядом с Фаворовым...

Он только теперь заметил Фаворова, сидевшего в простенке с опущенным на руки лицом.

— Как съездили? — равнодушно осведомился Фаворов.

— Губком соглашается поддержать ходатайство Сотьстроя.

— А выйдет из этого что-нибудь? — спросила Сузанна.

Увадьев, ожидавший целого потока негодующих слов, взглянул на нее почти с укором:

— Боюсь, что придется ехать самому... — Замочек перестал щелкать, сломанный. — Чорт их знает, эти новые города. Приехал — поле, деревья растут, дома какие-то больничного типа. И очень глупо, потому что до крайности разумно. Спрашиваю: а где тут Усть-Кажуга? А вы, отвечают, в самом центре Усть-Кажуги! Очень смешно вышло... — Он говорил совсем не то, что думал, потому что смущался спокойствия Сузанны. — Слушайте-ка, я очень сожалею об этой истории... ну, вы понимаете? Хотя вряд ли я сумел бы помочь ему. Зачем, зачем ему понадобилось тащиться на эти похороны: ведь это демонстрация!.. и говорят, еще на клиросе пел.

Она с досадой тряхнула головой:

— А вы об этом!.. Этого надо было ждать от него. Кстати, он предлагал создать комиссию и ей показать расчет запани. Они отказались...

— Они даже не захотели выслушать его! — резко вставил Фаворов.

— Да, он растерялся перед новым... и ему поздно было перестраивать себя. Крушение старой техники для инженера есть и крушение психики... — очень спокойно сказала Сузанна, а Увадьев только плечами пожал на эту неожиданную жесткость.

— Да, он растерялся, — с облегчением согласился он.— Строительство очень дорожит вами, в особенности для будущего...

— Я не понимаю вашей дипломатии, Увадьев.

— Я хотел спросить, вы остаетесь?.. в связи со скандалом.

Она рисовала на бумаге то самое, о чем говорил Увадьев; путаные кривые линии, сколько их ни было, сбегались в одну центральную отсутствующую точку.

— Я ведь самостоятельно заключала договор с Сотьстроем, правда?

— Он хочет сказать, что завтра они подкатят тачку и к вашим окнам! — совсем несдержанно бросил Фаворов.

Увадьев взглянул на него со строгим удивленьем; ему не понравился на этот раз Фаворов, которого впервые наблюдал таким. «Краснощекий, с конфетной коробки красавец... пасмурной погоды не любит. Он думает, что ротой солдат можно было бы охранить ее отца!» — усмехнулся он про себя, и вот уже не хотелось сдерживать неприязни к этому молодому инженеру.

— Ты любишь жить, Фаворов? — спросил он тихо, следуя извилистому течению мысли.

— ...потому что принято бояться смерти. Но к чему это?

— А ты в тюрьме сидел?

Тот удивленно подмигнул Сузанне, но та не приняла намека.

— Нет, не довелось.

— А тифом болел?

— Нет.

— А стреляли в тебя?

— Нет... Кстати, почему вы зовете меня на ты? Я, право, не заслуживаю этой чести!..

«Ты прав, брюнет!» — подумал Увадьев, поднимаясь уходить, и потянулся за портфелем. Вдруг он искривил губы:

— Где он сейчас, ваш отец?

— Я позвоню матери, если хотите... — Он не возражал, и она позвонила на коммутатор. — Мама?.. Что отец, он вернулся домой?.. как, совсем? Слушай... а ты не боишься за него? — Она еще постучала по рычагу, потом положила трубку.— Он не приходил домой.

— Что она ответила? — спросил Фаворов.

— Она сказала — глупый вопрос.

Перемолчав паузу, Увадьев сказал глухо:

— Я повторяю: строительство очень дорожит вами обоими. — И ушел не прощаясь.

Ушел он со скверным предчувствием еще больших скандалов впереди, но за самого Ренне он был более чем

спокоен: «Ерунда, я видел, с каким смаком он влезал однажды в трестовский автомобиль. Не решится, не посмеет... это прежде всего больно!» Пугало его и не предстоящее совещание, где ему нужно было доказать, что сокращение работ — вещь почти естественная в общем строительном размахе: там были только цифры, а цифрам не возражают! Тревожили те печальные возможности в будущем, когда внезапная тысяча безработных осадит биржу труда. «Надо ехать, надо добиваться увеличения сметы, надо реализовать внутренние ресурсы Сотьстроя, надо...» Но близилась осень, и рабочие штаты были везде заполнены; сокращенным посреди сезона податься становилось некуда. Выдача полуторамесячного заработка, на чем настаивал рабочком, затруднялась урезанной сметой... Оттого-то, желая смягчить напряженность положения, Увадьев в речи своей на совещании смутно намекнул, что затруднения носят временный характер и что якобы приняты все меры к возобновлению работ.

Аудитория грозно безмолвствовала, когда Увадьев покидал трибуну. К столу президиума, точно притягиваемые магнитом, полетели хлопья записок. Все вопросы в них — сколько получал Ренне, какова стоимость унесенного леса, много ли сэкономят на сокращении — носили намеренно ядовитый оттенок; кто-то потребовал, чтобы исчисление велось не в рублях, а в пудах хлеба: так было понятней этим вчерашним мужикам. Никто не верил в случайность сотинского прорыва, с помощью которого, дескать, прикрывался прорыв более существенный. Увадьев снова выходил на трибуну, когда с балкона назвали имя Потемкина; слово это и подожгло скопившееся отчаянье строителей.

— Даешь Потемкина! — орал зал, и топочущие ноги грозили искрошить полы.

— Без денег вздумал строить... омман!

— Гляди во-время, хлюст!.. На тачку!

— Потемкинское строительство!!.

Это последнее оскорбление, брошенное в мгновение тишины, перекрыло все остальные вопли. Кто-то из ячейки прислал Увадьеву записку с предложением закрыть прения, но это не угомонило бы тех, кто требовал сюда на расправу главу строительства. Буря эта весьма походила на ту, которая месяц назад шумовала в макарихинском клубе, но тогда налицо было признание героя, а теперь

побивали камнями виновника обманутых надежд. Сообщение об отъезде Потемкина в Москву на лечение лишь усилило грохот гнева; в зале понеслись хохот и вой беспорядочных свистков. Этим воспользовалась та часть собрания, которая рада была случаю продемонстрировать свою враждебность к администрации.

— ...двигайтесь куда-нибудь. Побеждайте или...

Двое из рабочкома мгновенно кинулись в зал, чтоб узнать имя тотчас присевшего крикуна, но передние, смущенные возгласом, задержали... и потом в проходе, работая локтями, появился макарихинский завклуб. С сердитым и взволнованным лицом он пробрался к президиуму и крепко приник к увадьевскому уху. Собрание затихло и, поднявшись со скамей, устремило на них свой тысячеглазый взор. Тем отчетливей прозвучал в тишине возглас кучерявого комсомольца:

— Почему Ренне не арестован до сих пор?

Председатель собрания Горешин поднял руки, тщетно пытаясь остановить новый рев и топот; ему не давали говорить:

— Головотяпы...

— Под суд его.

— Предательство!

Горешин подскочил к самому краю подмостков и взмахнул рукой так, что она лишь чудом не вырвалась из сочленения:

— Товарищи, порядок... Эй, не курите там!

— Даешь предателя!

— Товарищи... — из последних сил хрипел Горешин. — Молчание!.. ребята нашли в лесу... ходили по грибы. Ренне... под деревом застрелился. Вот товарищ Буланин только что...

— К прокурору... — неслось с балкона.

Шум стихал по мере того, как известие проникало во все углы зала. Догадались открыть двери, и в духоту ворвался влажный сквозняк; сразу стало еще серей и неприглядней. Уже при полном молчании бухгалтер прерывающимся голосом оглашал процентные сокращения по каждой отдельной отрасли строительства; цифрам не возражали, их встречали озлобленным безмолвием. Фамилии пока не назывались, и одна только машинистка Зоя, перестукивая на машинке роковые списки, уже знала свою

печальную участь. Увадьев сосредоточенно разбирал записки, сортируя по содержанию или умыслу; ему стало не по себе; кто-то смотрел на него со стороны. Скосив глаза, он заметил Виссариона. Скрытый за складками клубного занавеса, он пристально наблюдал за торопливыми увадьевскими руками; левый, немигающий глаз его, где застыл тусклый электрический блик, неуловимо улыбался. Легко было понять, что тот злейший выкрик принадлежал именно ему. Решив не пугать его до срока, Увадьев дружественно подмигнул своему питомцу. Хитрость пришлась впустую: спокойное лицо Виссариона не изменилось, и Увадьев испытал приступ бешеной тоски, словно кто-то и впрямь мог глядеть сквозь него, как сквозь временное и достаточно прозрачное стекло.

2

Сообщение о Ренне помогло упорядочить собрание. Шумы стихли, хотя еще сотни рабочих, не вместившихся в клуб, теснились у наружных дверей. При полном бесстрастии собрания Увадьев отвечал на записки; голос его звучал без прежней силы. Он призывал к выдержке, достойной строителей социализма, а в заключение предложил выбрать комиссии по цехам, которые сами наметят подлежащих сокращению. Лица оставались холодны, точно в зале сидели *глухари,* те самые, работа которых применяется при ручной клепке котлов. Такая же внезапная глухота пришла и на всю Соть. Увадьев возвращался на место с чувством неисполненного долга. Собрание закрылось рано. Ночь прошла в напряжении, подобном тому, какое было в канун сотинской катастрофы.

С утра у клуба расклеили списки уволенных по сокращению; у этих длинных бумажных полос за час перебывало все рабочее население строительства. То были первые списки, куда попали лишь связанные с местными крестьянскими хозяйствами. В полуденный перерыв на постройке развесили добавочные сведения о сокращенных. У мостков на леса, вокруг которых сгрудилась основная масса строителей, какой-то добровольный грамотей вычитывал вслух фамилии увольняемых. Самого себя он не отыскал в списках и потому, выполняя свою повинность, сохранял почти начальственную невозмутимость.

— Журавлев Миколай! — вызывал он, ведя пальцем по строке.

— Я... — четко откликались из толпы.

— Журин Лука... Лука Журин! Чего молчишь, аль вздремнул с устатку? Отдыхай теперь!

— Я!

— Баранов... — И дюжина Барановых продиралась из толпы, чтобы узнать, на кого из них упал черный жребий.

Это походило вполне на солдатскую перекличку, с той единственной разницей, что отзывались выбывшие из строя.

К полудню же в контору пришел кассир выдавать трехнедельное пособие, выхлопотанное рабочкомом: он сидел долго, выпуская наружу папиросный дымок, но у открытого окошка так и не побывал никто. Рабочие кучками ходили по строительству, ища прорабов, а те прятались от напрасных просьб и уговоров; старший производитель работ просто заперся у себя и, изнеможенно отвалясь на спинку стула, в больших количествах поглощал воду. Люди толкались в дверь, виновато выкрикивали его имя, и он, не выдержав, открывал им вход. Они проходили перед ним серой вереницей, дружелюбные, бородатые старики и молодые, с которыми он успел сработаться за лето. И каждый одинаково мял шапку в руках, и у каждого в лице стоял одинаковый упрек. Очумелому вконец, ему представлялось, будто один и тот же Фаддей Акишин, милейший человек, разнообразно стоит перед ним, то одеваясь охровой бородой, то чудесно молодея, то становясь на чрезмерно высокие каблуки, то шамкающий вологодским наречием, то тусклословый, то речистый по-костромскому... И вся эта пестрота лишь от деликатного опасения не надоесть однообразием своему человеку.

Инженер молчаливо качал головой, и тогда они шли к Бураго, полагая, что в его власти и милости не гнать их с Сотьстроя обратно, в исходную мужицкую ступень. Когда их набиралось много, Бураго выходил к ним в рубахе с расстегнутым воротом, с потным лбом, в котором желтовато отражалось окно. Словно выполняя обряд, он повторял все то же: об урезанных сметах, о необходимости временной задержки работ, о сокращении, коснувшемся и административной верхушки. В доказательство он приводил все того же Увадьева, совместившего целых три

должности в одном своем лице. И хотя они верили этому тучному и требовательному инженеру, которого многие знали еще по предыдущим строительствам, каждое слово его прощупывалось с пристальной подозрительностью. И опять, глухие глухотою горя, безнадежно мяли картузы, кряхтя от умственного напряжения и скуки.

Всех их ждало преждевременное возвращение домой и бездельная осень. Шли дни, а они по молчаливому сговору не уезжали с Соти; теплилась смутная надежда, что поездка Увадьева, о которой уже шли толки по баракам, завершится успешным концом. Легче было сидеть на сокращенном пайке, чем тащиться с пустой котомкой в неизвестность урожая и предстоящей зимы. Они знали, что, даже отобрав у них пропуска на территорию строительства, администрация не порешится на принудительное выселение. Целыми днями они шатались мимо колючей изгороди, с завистью наблюдая оставшихся на строительстве. Работы велись в пониженном темпе: так же, прерывисто и неравномерно, дышит больной. Иногда старомодный паровозишко притаскивал длинный состав с лесом; настроение поднималось, платформы разгружались с любовным нетерпением... но паровозишко уходил, и в рельсы, если приникнуть ухом, вливалось прежнее безжизненное оцепенение. Одна только сновала челноком по пустой сотинской ветке почтовая дрезина.

Однажды с ней приехал чрезвычайно молодой человек в квадратных и с инкрустацией очках — сотрудник губернской газеты. До того времени его, кажется, не манили размеры строительства; теперь привлекал размах бедствия. В прогулке по строительству его сопровождал сам Бураго, и молодой человек, волнуясь от неиспытанной еще почести, усматривал в этом некую административную хитрость.

— Вам как представителю печати... — неизменно начинал тот.

— Ага, так?.. Очень, очень интересно! — отстранялся неподкупный молодой человек.

Стремясь вникнуть во все подробности сотинской истории, в особенности постигнуть причины неудачной мобилизации деревень, он не преминул побывать и в Макарихе. Целые толпы ребят ходили за ним, вернее, за его необыкновенными очками, и мешали ему предаться

уединенным расспросам. Кроме того, по неразумию завел он беседу с остатками васильевой банды, и уже Мокроносов вытаскивал его из мешка, в котором собирались его искупать на радостях первого знакомства. Журналист уехал несколько расстроенный приемом, а через неделю появилась первая сигнальная ракета того пресловутого похода дураков, который новой печалью опустился на Сотьстрой. Статья содержала в себе прозрачные намеки на вредоносное происхождение некоторых инженеров, причем явно подразумевался Фаворов; Сотьстрою ставилась во грех недопустимая роскошь в виде цветочной клумбы, устроенной в середине недостроенного рабочего поселка; про Бураго было помянуто, будто он ходит на похороны всех мужиков и сам подпевает им «вечную память», и, в довершение всего, смерть Ренне разъяснялась как результат намеренной и безрассудной травли за прямоту и честность. Лирика статейки искусно сочеталась с неумолимой иронией: журналист сразу выдвинулся. Увадьев сел было отвечать, но случайно взгляд его упал на только что полученную газету, и он справедливо решил, что письмом тут не разделаться. Там нарисован был пузан с лицом Жеглова, но с утробой, в которой поместился бы целый десяток Жегловых; на нем был цилиндр, по животу висла цепка, глаза были дурацки выкачены вверх. Пузан гладил себе утробу и, почти как Ягве после жертвы ноевой, говорил *вкусно;* эпиграфом к поношению служила пущенная кем-то молва, будто *Бумага* перетратила миллион на переоборудование бумажных фабрик. Только по этой заметке, набранной к тому же нонпарелью, Увадьев и догадался о причинах долгого жегловского молчанья.

Опытный в делах такого рода, Бураго твердил Увадьеву о необходимости соответственного нажима сверху; сам он в тот же вечер написал пространное письмо в газету, требуя объективного подхода в интересах самого дела. «Предупреждаю, что подобное умаление авторитета администрации, случившееся на самом опасном перегоне, может иметь чрезвычайно вредные последствия...» — писал он; копия направлялась губисполкому. Увадьев качал головой, а Бураго сердился:

— Я не желаю быть в этой ежемесячной норме головотяпов, отдаваемых на съедение...

— Дураку бегать по улице не воспретишь!

— Да ведь дурак-то с топором бегает, он зарубить может!

Уверенный в себе, Увадьев посмеивался:

— Езжайте, сделайте доклад, а я созвонюсь с кем надо.

Разговор происходил в среду, а в пятницу появился новый фельетон о сотинских делах, достаточный, чтоб и развлечь обывателя и послужить материалом прокурору. Говорилось об усиленной выдаче спецставок, премий, нагрузок и всяких сверхмаксимумов; подчеркивали преступное невнимание к посредбюро рабсилы; подмигивали на подозрительные отношения главы Сотьстроя с местными лесными заправилами; сообщали, что бутовый камень десятники при сдаче подсчитывали меньше, а остатки переводили на другую артель и за нее получали; заканчивалось сообщением о роскошной жизни иностранца-инженера в квартире с ванной и фаянсовым горшком под кроватью, в то время как рабочие ютятся в бараках полутюремного стиля. Следующая статья имела уже документальные данные об упущеньях: приводился тип арифмометров, цена трех тысяч пудов овса и количество кипятильных баков, которые были закуплены у частников.

Дальше начиналась неразбериха и метель сенсаций; молодые журналисты пробовали свои силы и остроту пера на Сотьстрое; тираж газеты повысился. Обыватель, перекликаясь из окошка в окошко, выработал новую форму приветствия: «А Увадьев-то что натворил!» В губернских пивных делал головокружительную карьеру какой-то чечеточный шут, выступавший с куплетами о советском строительстве: его нехватало на все пивные, появились подражатели, которые тоже неплохо кормились возле этой преувеличенной неудачи. В мещанских анекдотах неизменно действовали инженер Белаго и коммунист Шоколадьев, и оба они выставлялись еще глупей самого рассказчика; Потемкину кстати припомнили ту пирушку, которую он устроил после написания сотьстроевского проекта.

Сенсации вырастали до общесоюзного размаха. В губернии сидел безработный профессор Мадридов, который выдумывал письменность несуществующему племени, якобы затерявшемуся в лесах. Негаданно появилась его статья, напечатанная, правда, в дискуссионном порядке и ставшая образцом ученого слабоумия; основываясь на го-

довой потребности Сотинского комбината в шестьдесят две тысячи кубосажен балансу плюс сорок семь тысяч кубосажен дров, он вычислял, сколько ежегодно пропадет лесов на земле, а следовательно, и кислорода. «Дышите, дышите, — исступленно заключал он, — пока не задушила вас углекислота. За каждую десятину лесов вы получите сорок три тонны целлюлозной похлебки!» Ошеломленного редактора на другой же день послали учительствовать в глухой уезд, но уже через три дня появилась новая статья. В этой осторожно высказывалось мнение, что Сотьстроем отныне портится навсегда вид этой древней, искони русской реки, поминавшейся даже где-то в былинах как место женитьбы славного новгородского ушкуйника В. Буслаева. Судя по романтичности описаний, у самого автора статьи были связаны с Сотью какие-то семейные воспоминания... Все это чрезвычайно подымало и укрепляло дух макарихинского завклуба.

Род эпидемического сумасшествия охватывал некоторые круги; оно начиналось с гражданской слепоты. Упускались из виду истинное значение Сотьстроя, его героическая борьба со стихией, история его возникновения. Предсказания Бураго, расцененные в свое время как угроза, сбывались: зашевелилась кулацкая Соть, а минута благоприятствовала нападению. Увадьев еле справлялся с делами, а Потемкина уже месяц безуспешно рентгенизировали в Москве, пробуя вернуть жизнь человеку и человека жизни. По материалам, собранным много позднее, в августе у Алявдина состоялось негласное совещание, где главную роль играл Виссарион Буланин; это ему и принадлежала неясная формула «пользуйтесь случаем, в Азии живем!» Собрание, созванное по имущественному признаку, постановило ходатайствовать о переносе Сотьстроя куда-нибудь подальше, на Печору, например, учитывая вред целлюлозного производства для крестьянского здоровья; на Соти же устроить заповедник, в коем сохранить леса, людей и прежнюю дикость в неприкосновенности, что должно стать непременной приманкой для иностранных туристов. В письменном акте совещания, где плоская эта выдумка была умело задрапирована в российское простодушие, имелись еще две существенные предпосылки для такой перемены. Первым стояло заявление одного кооптрактира, где указывалось, что посетители ругаются: чай

хуже стал, и вкус не тот, вследствие чего население стихийно переходит на домашнюю брагу. Вслед за этим гомерическим рассуждением шло второе, заключавшееся в ученом исследовании одного начинающего биолога. Выходило, что сотинская вода все равно не годится для отбелки целлюлозы из-за высокого процента гуминовых примесей, а придется рыть артезианские колодцы на великую глубину. Кстати, согласно ученой записке, построенная ветка могла бы пригодиться для устройства курорта, например, в этом месте, так как целительная вода федотова ручья не только не вредит здоровью, а даже чрезвычайно помогает, хотя бы, например, при протрезвлении.

Так и было: ввалились ходоки к замнаркому в переднюю, жали картузы, не щадя жалобных слов о великой сотинской скудости. Да еще тут у старого Мокроносова, самого рваного из всех, упал сверток плакатов, как бы ненароком, и развернулся на полу, а сверху оказался портрет самого замнаркома, в толстовке и с прочими знаками официального положения. Сопя, елозил Мокроносов по полу, сбирая разлетевшееся имущество, а начальник как-то сразу и строже стал и милостивей, почти как на портрете. Тут же отдано было распоряжение поддержать ходатайство, и шальная эта шхунка с новым бумажным парусом понеслась по волнам инстанций. Дело приняло необходимое для жизни вращение, а вращение придало ему теплоту, а теплота и бюрократические дрожжи стали раздувать его до неестественных масштабов. Мокроносов, не веривший вначале в успех, теперь только диву давался, наглея сообразно удачам.

— Хибнем, хáзы детям нехорошо. Чай, не овцы! — привычно говорил он в высокой канцелярии, готовясь уронить на пол соответствующий портрет. — К тому же щелокá!

— Да ведь там уже уйму денег всадили, — нерешительно возражала жертва, вспоминая газетные сведения о Сотьстрое.

— Тогда мужику хроб. Тогда канальизацию надоть! — Он нарочно искажал слова, отвлекая внимание на свое ловко подделанное невежество. — От хазóв инда лошади заикаются...

— Но канализация будет стоить тоже пару мильонов!

— Тогда рой нам, браток, колодцы на пятьдесят верст, взад и вперед по реке. Щелока, лошади заикаются,

хибнем! — И все остальные повторяли дружным хором мокроносовский припев.

Мокроносов веселел, и уже самого его одолевало любопытство, до какого крайнего безрассудства можно добрести по вонючим канцелярским коридорам. Никому не приходило в голову, что Сотьстрой еще далек от пуска, что о сернистых газах пока не может быть и речи, а для сточных вод строятся специальные коллекторы. Первоначальная идея присоединения Соти к всепролетарскому ядру грозила окончательно затмиться. Доклад Бураго в губернском совнархозе был принят с глубоким удовлетворением, но на другой же день в отделе загадок и ребусов была помещена задача: какова общая сумма расточительства на Сотьстрое, если двугривенными можно выложить расстояние от Москвы до Усть-Кажуги? Имя Соти приобретало нарицательное значение для всякого гиблого места; в пословицу она вошла скорее, чем в учебники экономической географии... и вот тогда-то пришло, наконец, письмо от Жеглова.

Оно начиналось раздраженным осуждением попыток Увадьева закупить лес у частных лесопромышленников, объяснением небывалых нападок на Сотьстрой и смехом над примечательной делегацией сотинского кулачества; кто-то уже турнул во-время мокроносовскую саранчу. «Пока все смутно,— писал он,— на мою записку с требованием расследования сперва ответили выговором, который почему-то вскоре отменили. Как бы то ни было, общественное мнение, с которым ты собираешься драться, во многом право; постройка завода должна иметь тот политический коэфициент, который избавил бы тебя от упрека в делячестве. И потом, раз дело начинается со смертей, значит, что-то у тебя плохо организовано...» О Геласии, которого ему удалось устроить на курсы, он сообщал также в повышенном тоне досады. «Плохо не то, что тотчас по приезде, видимо, в пику господу богу, переименовался он в Роберта да еще Элеонорова; не то, что, оголодав в некоторых смыслах, крещенье в новую жизнь, так сказать, начал с триппера; плохо, что ты перегибаешь потемкинскую затею о сотинском устроении, которую я не вполне разделял с самого начала. И еще раз повторяю: не загружай Сотьстрой только местными задачами, не в Америку идем!» В заключение он советовал Увадьеву

приехать самому, чтоб договориться по всем организационным вопросам сразу.

Увадьев уезжал на другое же утро. В ожидании дрезины он ходил вместе с Горешиным вдоль заводского пути, задевая портфелем за седые головки какой-то сорной травы. Зная что-то, Горешин намекал на несвоевременность отъезда, а Увадьев сердился и не понимал, потому что принимал его за паникера. И опять Горешин наводил разговор на неспокойствие окрестных деревень, на опасное безделье безработных, на десятки мелочей, грозивших разрастись в отсутствие управляющего Сотьстроем.

— Ты что-то мямлишь... Не то рвет тебя, не то от тесных сапогов страдаешь. Вот и дрезину подают. Может, проводишь меня?

Тот уклончиво пощелкал языком и вдруг, решась, полез в боковой карман.

— Нет, мне в другое место пора... Слушай, Иван Абрамыч, я кое-какой материал из стенгазеты прихватил. Посмотришь?

— Стишки?

— На этот раз картинка.

— А ну, повесели перед отъездом!

Неумелый, но бойкий рисунок изображал место строительства, торчал подъемный кран, правдоподобная копия германского подъемника, только что смонтированного на Соти, и очень убедительно валялась разбитая цементная бочка. За колючей проволокой, чуть не повисая на ее шипах, толпились худые, рваные люди, бесчисленное множество людей, а среди них женщины с ребятами на руках,— посреди же трудился над каким-то ящиком Увадьев, весь в поту и один-одинешенек; его легко было узнать по взбежистым бровям и по скупым, в обтяжку, сапогам. Подпись разделана была цветными карандашами: «Социализм по Увадьеву».

— Очень неплохо намалявил! Это тот самый, чернявый такой? Как, как его фамилия? — говорил Увадьев, и в лице его не прочесть было ни улыбки, ни досады.— Очень похоже. Надо его выдвинуть непременно!

— ...за ворота, что ли? — прищурился тот.

— Зачем же, в работу пускай его! Чего таланту на картинках пропадать. Хотя бы на твое место выдвинуть,

очень недурно.— Он сложил бумажку пополам, ногтем провел по сгибу и глянул прямо в глаза Горешина.— Ты зачем мне это суешь? Стращаешь, что ли? На поводу у крикунов плетешься...

— Я, погоди, еще баб на тебя напущу... жен. Это ты, ты урезал пособие. Они тебя порастрясут!

— Кстати, парнишка этот партийный? Надо, надо выдвинуть...— задумчиво произнес Увадьев, поднимаясь в дрезину.— А за Ренне, что не досмотрел, ты мне потом крепко ответишь!

Ворчанье мотора стало злей и порывистей. Вдруг к дрезине подошла неизвестная старуха в очках об одном синем стекле. Увадьев не сразу догадался, что это вдова Ренне. Она тащила большой фибровый чемодан; соломенная шляпа сбилась от спешки набок; вся правая сторона ее пальто была в грязи.

— Товарищ Увадьев?.. Я плохо вижу, — сказала она сухо. — Вы довезете меня до станции?

— Конечно, я же обещал,— заторопился тот и, распахнув дверцу, принял чемодан, до удивления легкий.

— Я упала, боялась опоздать. Упала, и стекло вылетело.

Увадьев спросил, стараясь не глядеть в зияющий провал очков:

— А Сузанна Филипповна?

— Она занята, работает.

Шофер задвигал пусковые рычаги. Увадьев развернул газету, ветер зашуршал в щелях брезентовой покрышки. Минут через пять Увадьев выглянул поверх газеты. Старуха сидела прямая и строгая, прикрыв ладонью глаза. Ему показалось, что она плачет, и рука его с тоской погладила кожаное сиденье. Почуяв какую-то неопределенную человеческую обязанность, он зашевелился.

— Куда же вы теперь? У вас есть кто-нибудь еще... кроме дочери?

Она спокойно устремила на него единственное синее свое окно:

— Нет, но я умею делать туфли... мягкие, для ночной ходьбы.

Тогда он успокоенно занялся газетой: в мире все обстояло благополучно.

3

С его отъездом неизвестность усилилась. Сотьстрой стал крохотным зеркальцем, в котором с местным искаженьем отражалось все сложное распределение сил в стране; это было верно, поскольку во всем отражается все. Так в застойной воде заводится тухлая плесень: неделю спустя на Соти появились пьяные. Нешумная их стайка бесскандально прошла по поселку и скрылась в крайнем бараке; в течение всего того влажного и затянувшегося вечера неслась из раскрытого барачного зева дрожащая гармонная печаль. Во исполнение новой потребности в деревнях оживились шинкари, и вот заглохшее было самогонное производство возродилось с силой, достойной особого описания. Широко был поставлен опыт; гнали не только из картошки, и даже из гриба, сенной трухи и свежих березовых опилок. Результаты этих исканий хранились в секрете, но, судя по увеличению количества больных в околотках, многие из попыток оправдали себя. Из предосторожности гнали не на задворках, а в лесу, сажая у пьяной капели старух, а сами уходили в ближние поля сбирать недогнившие сокровища; так старухи и сидели в чащах, подобные ведьмам, у колдовских своих очагов, хмельные от одних испарений.

— Теперча нашла на нас всемирная танцуха. Будем с сей поры, сед и млад, танцовать три года...— вещал Лука Сорокаветов, но слово его уже не имело прежней пророческой силы; деревня чуждалась старика, ступившего одной ногою под смертную сень: нехорошим холодком веяло от него в эту пору.

Управление Сотьстроя снеслось с волисполкомом о совместной борьбе против шинкарства; два дня всеуездный милиционер рыскал с комсомольцами по чащам и набрел, наконец, на мальчишку десяти годков, который, сгибаясь под тяжестью, тащил в мир четвертную бутыль цветной отравы. Преступнику дали пятачковую конфетку и стали допрашивать; преступник шоколадку съел и тотчас принялся реветь с такою силой, что у милиционера даже мелкое колотье пошло по запотевшей спине.

— Экой звук! — выговорил он, наконец, почтительно и суеверно.

Так воевал враг Сотьстроя, прячась по ту сторону сотинской баррикады... Ежедневно члены рабочкома обходили бараки в поисках нарушителей обязательного постановления, но все оказывалось в порядке, а к ночи, едва роса, снова нетрезвая песня гнусаво неслась над поселком. Угрозы выселенья не помогали; тревога за будущее пожирала все. Опять гулял по округе Фаддей Акишин, таская подмышкой пестроватенького конька, который порядком пообносился и полысел за это время. Часами он простаивал на макарихинском перевале, откуда были одинаково видны и Сотьстрой и деревня, а в лице его ночевала тоска. Иногда он заходил в казарму к землякам и долго чугунным взором глядел на топор, валявшийся под соседней койкой. Потом он брал его и пальцем пробовал звонкое острие, на которое уже капнула ржавчина.

— Эх, никому в целом свете не нужна боле эта рабочая рука,— замахиваясь, начинал Фаддей.— Ступай, рука моя, в могилу! — и, по всей видимости, собирался рубить руку, но почему-то не рубил, а только замахивался.

Земляки стояли кругом, качая головами на фаддеево затменье:

— Чудно ты, дядя Фаддей, говоришь, все не в путь,— укорял кто-нибудь из кучки.

Акишин откидывал топор и шел к выходу, а тут-то и караулил его Горешин:

— А ну, дохни в меня... всей грудью дохни! — Он принюхался и смутился. — Чего ж, раз не пьян, лошадку таскаешь в такое время, на посмешище себе!

— У него, товарищ Горешин, внучек за отца хочет итти отомщать, а коня нету. Вот картонного и купил у Фунзинова!

Горешин уходил, и ему казалось, что всему виной вредное соседство Макарихи: оттуда и пьянка, оттуда и темные всякие ветерки; частично он был прав. К этому времени воротилось мокроносовское посольство, и лишь тогда стало известно, что и Пронька с Лышевым уезжали куда-то, а вернулись в небывалом веселии и с предписаньем досрочно произвести перевыборы волостного совета; председателем заглазно называла молва молодого Мокроносова. Так и произошло, и тогда подметнули письмо Егору, чтоб сидел тихо на высоком и сухом своем месте, если не хочет лежать где-нибудь в низком и сыром. Обозленный угрозой,

Егор в то же утро повел людей к отцовскому дому и, оттянув одну заветную тесинку от домовной обшивки, выцедил оттуда, как из бочки, изрядно зерна. Выдоив закром до конца, Мокроносов побывал и у других зажиточных сотинцев, всюду обнаруживая большое знание дела и крутой свой характер.

В тот же вечер загорелось у Егора на гумне; пожар притушили в самом начале, только подтелок малость обгорел, а утром Егор сам пошел арестовать тех, на кого указывала молва и собственная догадка. Были то все «богатеньки грибки-боровички», как сказалось у Савихи: никого из них Егор не застал, не словил и вечером, не нашел и в полночь. Зато грибники рассказали, будто видели у огнища в лесу четырех дюжих детин северного роста, а в сторонке паслись стреноженные кони. Теперь следовало ждать нападений от людей, ушедших из-под закона, и Мокроносов мобилизовал три окружных ячейки на облаву. Цепь двигалась к северу, на Уртыкайские болота, а с юга нищие принесли весть — свели двух коней из Ильюшинского колхоза. Тогда совместно с тем же милиционером кинулся Егор на юг, а на востоке неизвестные люди, обвязавшись тряпицами, ограбили в то же самое время почту. Распечатанные конверты понес вместо почтальона по дорогам осенний ветер... И вдруг в памяти у мужиков зловеще встал во весь рост покойник Березятов.

Если б сумели обобщить все эти разноличные явленья, стало бы ясно, что во всем, от неудачной летней мобилизации до образования банды, был один четкий план. Ясно, что к этому сроку завклуб из Макарихи окончательно овладел Лукиничем, а когда того сняли, именно им был организован кружок содействия хлебозаготовкам. По его настоянию истинные бедняки исчислялись на Соти всего лишь десятками, и оттого кружок еле справлялся со своей работой. Вдобавок, установился обычай определять доходность двора *по спичке;* входил в амбар милиционер, зажигал спичку, и, пока она горела, на глазок прикидывалась сумма налога на местные нужды. Этим и выражалось участие Виссариона в той игре больших козырей, которая началась на Соти; этим он приоткрывал дверь волковатому сотинскому племени на широкую бандитскую дорогу. Мокроносов же, стремясь оправдать доверие бедноты, еще более подкрутил гайки.

Пронька, сколько ни приглядывался к деятельности неукротимого Виссариона, так и не умел постигнуть его до конца. «Чудной ты, жарко говоришь, а на два смысла действуешь!» Виссарион ни в чем не признавал половинчатых мер, начиная от безбожной пропаганды до ликвидации неграмотности, и буквы циркуляра придерживался во всем. Он произносил страшные слова, которые пугали и самого Проньку и Мокроносова, а банда росла, и черный туман двигался впереди нее на мужицкие селенья. Положение Буланина укреплялось; фотография его попала в губернскую газету,— он был изображен с откинутой головой, полным задора и крика, но никто не знал, что этот крик был: «Назад к тезису!» Это была пора его расцвета, он уже не боялся ничего. Перед самыми воротами обетованного города, полного великолепной социальной архитектуры, он затевал последний бунт. Его не огорчала незначительность его плацдарма; артиллерист, он знал законы детонации взрывчатых веществ, а честолюбивое воображение усиливало ему образ его самого — хромого предтечи Аттилы, шагающего по пустыне.

В захваченном манией мозгу его слагалась героическая феерия, цветные вихри плескались в ней, двигались полчища безыменных бродяг на материки и народы, ветхие сивиллы раскрывали пророческие и беззубые рты, начиналась как бы флуоресценция стихий, мир раскрывался в первоначальном своем смысле, загаженном трудолюбием гениев. Он глядел и находил, потому что искал и хотел. Каждая мелочь этой временной заминки утраивала его силы, и вот наступил день, когда зашептали, наконец, домодельные макарихинские сивиллы. Сказывали, будто Савиха, бродя за грибами, встретила дубоватого коротконогого старичка в дальней заозерной стороне; и будто бы кинул старичок щепотку праха в коровьи глаза старухи, и Савиха увидела дикостные, могучие пламена, застывшие над землей и ее городами. Задрав одежды, раскидав грибы, якобы неслась старуха целой скирдою по незнакомому полю, а старичок кукарекал ей вслед. Лука, эта бородатая сивилла мужеского пола, видел, как из трухлявой сосны выскочил заяц с красной головою, и теперь на Луку не смеялись. По уверенью некоторых, в округе стал прохаживаться незнакомый господин в волосах и с подпаленной бородой, который разыскивал покраденную у него

медаль; в нем не трудно было узнать недобитого купца Барулина. Древняя языческая космогония оживала на глазах у всех; мертвые искали себе дружбы у живых. На поселенья поползли крысы, клопы и какие-то летучие тараканы, а в довершенье смехот выполз из болотной дебри необыкновенный микроб и стал есть матицы в новых избах. Зародился он, наверно, еще в пору проливней, и месячная сырость помогла ему приспособиться к сотинскому бытию. Кажется, все та же Савиха встретила его однажды, а тронуть не порешилась: черноват, усат, с востреньким хоботком, а размером с небольшую жужелицу. Мазали старухи керосином почернелые матицы, но не переставали те трухлявиться, а дранчатые крыши замшели, а в просторной макарихинской бане сруб маленько присел на уголок и стал походить на шапку, робко посдвинутую набекрень... Какая-то женщина со строительства, рыжеватая чуть, наскребла в бутылочку избяной плесенцы и все искала таинственную жужелицу — не то на казнь, не то на исследование науки; бабы едва глаза ей не выцарапали за злодейство. Подразумевали, что микроб нарочно пущен Увадьевым на жилища мужицкие и сердца, чтоб источил вконец, а опустелое место застроить фабриками с новыми людьми, безотличными от православных, с той лишь разницей, что спят без храпа и без дыхания — на манер, как молотилки спят. Барулин, сказывали, пополнел и, примирясь с утратой медали, выдумывает новую штуку под советскую власть. Глупость мешалась с дикостью, мертвое с живым, нищета с неистребимой нечистью... гуляла человеческая метель, и уже под шумок выходили на добычу воры.

А началось с того, что на свадьбе у Феди Селивакина выкрали лапшу из печи. Тут праздник случился, и Макариха полна была наезжих гостей, из которых половина прогуливала на улице свой свадебный хмель. В селивакинском дому шел своим чередом пир, и жених уже дважды выбегал на двор помочить в пожарной кади пропитую свою башку. В открытые окна летели звуковые клочья гульбы, а чаще всего повторялось:

— А ну, перед лапшой по большой!

— Ой, пирог подгорел... ой, смочить малость!

Гости томились и потели, а лапша все не шла; ядовитая сваха шутила, не примерзла ли заслонка; жених, в по-

мраченье от такого срама, со стоном искал сбежавшую лапшу, а веселье замирало на высокой ноте, как неоконченная песня. Пока женихова родня ловила на огороде кур на новую еду, гости высыпали на улицу поразмять затекшие животы. Тут и встретили они сотьстроевских людей, притащившихся сюда со своей горемычиной. Пришли они с собственным гармонистом, и оттого, что у каждого имелся свой грошик на угощенье, показались им особенно гостеприимны макарихинские околицы. Селивакин, а с ним и гости, как только завидели их сидящими на бревнах, так сразу и решили, что котел с едовом выкрали они. Глубоко затаив обиду, они смешались с пришельцами, и сразу завелась беседа про всякие мужиковские скорби, про окаянного жука, что питается древом, про колхоз, за который с особой настойчивостью ратовал теперь Мокроносов. Между прочим, укорили строителей за их сотьстроевское расточительство:

— Все строите, на последние крохи... кто жить-то в вашем дому станет!

А уж тем и отступать некуда:

— И построим. И народу найдется... плодовитый у нас народ.

— Черти вы, черти... обеднили нас до лоскутка!

— Бедные, а пить имеете... Эко рыло, шире маминой задницы! Почем за молоко-то дерете?

А гостей уж и вправду разнесло от селивакинского обеда.

— Сами мужики, а мужику на пороге ложитесь, черти неправедные!

— А вы контрики, собак вами кормить.

Тут бы и разойтись, но в соседней кучке заспорили о святых, и один, простодушный Миколаша из акишинской артели, выразился в том смысле, что вологодскому святому супротив череповецкого не выстоять. Этого стерпеть стало уже нельзя; так Миколаша и не кончил, а стоял потерянно, облизывая внезапно осолоневшие губы. Ударил его пучеглазый мужичонка, женихов дядя; ударил не столько за сочувствие советской власти, не столько в защиту святого, сколь за покраденную лапшу. Ударив же, он и сам струсил и юркнул было за Лукинича, который случился возле, но тут все строители увидели расплывшиеся миколашины губы, кровянисто дрожавшие, как студень.

— Кого бьешь, дитю бьешь! — закричали земляки. — Дружок, утрись... ведь тебя обидели! — и тотчас пустились ловить увертливого обидчика.

Произошла небольшая свалка, а когда глаза привыкли к суматохе, многие увидели, как Фаддей Акишин, отставив в сторону картонную конягу, прилаживал на себя старенький картузишко и готовился выступить в подмогу землякам. Несмотря на обоюдное возмущение, побоище началось по древним правилам кулачного соревнования: снимали пиджаки и тем дружественней пожимали руку врагу, чем сильней кипело сердце. Не дорезав своих кур, высыпала откуда-то жениховская родня, и тотчас навели на них печальную красу огорченные сотьстроевские ребята; пучеглазый дядька украдкой уползал по канавке домой, волоча за собой располосованный пиджак. На стороне сотьстроевцев оказался и тот рослый мариец, памятный собеседник инвалида; стремясь остудить дикарский пыл расприи, он принялся разметать бойцов по сторонам... и вот долгоногая куземкинская халда понеслась по деревне, стуча в окна и трубно крича:

— Бяжите, люди, бяжите... хреновья старые, бяжите... все бяжите! Татаре наших бьют...

Количество сражающихся сразу увеличилось на треть, и ячейке ничего не оставалось, кроме как вызвать конную милицию с Сотьстроя. Тут вернулось макарихинское стадо; напуганный скот шарахался в проулки от суматошного людского клубка. Тем временем конники с лихостью бури наскочили на деревню, но, не имея точных предписаний: разить ли, уговаривать ли, растерянно внимали хрипенью бойцов. Вдруг раздался странный скрип, точно на всем ходу остановилось маховое колесо; было так, словно выстрелили в толпу толстым чугунным словом: «Убили!..»

Был жалкий всхлип:

— Всем отвечать, всем... граждане, всем!

Толпа пятилась и расступалась от места, где должен был лежать поверженный человек, но ничего там не было: только рядом с раскрошенным фаддеевым коньком чертил пыль сереньким крылом затоптанный куренок. Ужасная трусость охватила всех, и тогда-то Мокроносов, пользуясь временным замешательством, приступил совместно с милицией к арестам; предоставляя суду впоследствии разобраться в виновности каждого, он брал почти без

разбору, — только вглядывался в лицо подозреваемого и по какой-то сокровенной дрожи в глазах угадывал преступника. Никто не возражал ему; временно, до расправы, их отвели в клуб, дали воды и хлеба, а пол застелили соломой, чтоб спать.

Свечерело, а на бревнах остался сидеть только один Виссарион, свидетель происшествия, так с самого начала и не замеченный никем. Должно быть, не утомясь еще зрелищем дикости и крови, он подобрал с земли куренка, эту первую жертву своей игры, и, держа на ладони, долго глядел, как затягивали его глаза два смертных бельма. Потом, когда надоело, он поднял отяжелевшие веки и стал смотреть на остывающее небо и далекие, как бы углем начерченные на нем купы деревьев. Пустынная незатейливая графика пейзажа напомнила ему затрепанную фразу из учебника: «Мезозойская эра изобиловала...» Он сам видел, чем изобиловала она; на его глазах длинношеие черные животные, лоснясь глянцовитой кожей, сходили с меркнущего горизонта в сотинскую ночь. Бесплотную пяту чудовищ уже не обжигало полузатихшее уголье и жемчужная зола заката. Все было очень просто и значительно; только перила деревянной трибуны, черневшие в небе, мешали целостному восприятию мезозоя; была досада, точно богатый нерасчетливый художник перемудрил, поставив ее именно здесь. Он поймал себя на мысли, что Аттила еще не конец, а конец там, за пределами сущего, но он не понял, что, только будучи мертвым, можно шагнуть туда, назад, к Началу.

Глаза его смыкались, когда он услышал шорох позади себя; он скорее удивился, чем испугался. Неслышно взобравшись босыми ногами на бревна, сзади стоял Лука; застигнутый на месте, он хмыкал, слюнился, а насекомое лицо его поминутно менялось, как тесто, которое месят.

— Куреночек-то, а?.. Куреночек-то! — шептал он и все тянулся назад, грозя рухнуть на Виссариона. Руки он прятал за спиной — сорокаветовская привычка, и стоило взглянуть на него, чтоб понять его нынешнее намеренье, но у Виссариона как бы пропало сопротивление к смерти. Подобно стеариновому огарку, что-то таяло в нем и застывало у собственных ног. Он смотрел на Луку до тех пор, пока старик не отступил назад, в крапиву, из которой выбрался на бревна. Никто не видел их вместе...

4

Длинная телеграмма Бураго о событиях на Соти пришла к Увадьеву за сутки раньше газетных сообщений. Местный корреспондент, сообщая подробности бесчинств, очень уместно приводил количество дворов в волости и выручку шонохской винной лавки за один тот праздничный день. Совмещая это с добавочными известиями, полученными в тресте, о каких-то беспорядках у биржи труда, можно было получить широкую и ложную картину волнений на Соти, хотя в сущности то было обычное при безделье брожение, вызванное заминками на Сотьстрое. В последующей секретной телеграмме от строительской ячейки сообщалось о непрерывных попытках рабочих освободить товарищей, которых из общего числа арестованных сорока двух человек приходилось чуть меньше половины; ячейка настаивала на освобождении и крестьян, чтобы не обострять создавшихся отношений. Той же ночью, посоветовавшись с Жегловым, Увадьев отправил в уезд телеграфное требование немедленно освободить всех, задержанных по случаю побоища. Беря все это на личную ответственность, он действовал противозаконно, но закон и не предвидел подобных заострений в действительности. В душе он готовился ко всяким переменам, вплоть до смещения своего с должности, так как почти все, с кем ему приходилось встречаться, смотрели на него как на истинного виновника сотинской заварухи.

В эту ночь он совсем не спал, вместе с Жегловым мучаясь над докладной запиской в Бумдрев; надо было доказать, что не замедление, а лишь убыстрение темпа работ способно выправить положение на Соти. Когда машинистка поставила последнюю точку, в окнах белесо пучился рассвет. Мельком взглянув на часы, — и сперва ему показалось, что на циферблате вовсе нет стрелок, — он вскочил и принялся собирать бумаги.

— Куда экую рань?

— Надо на аэродром поспеть. Сегодня Потемкин летит... неудобно.

— Куда?.. Да, я и забыл. Ну что ж, кланяйся ему, Потемкину, желай! — Жеглов покрутил шнурочек пенсне. — Кстати, поедешь на Соть — забирай с собой этого, Роберта твоего... пока он вконец не разложился.

...Город, зевая и стеня, распрямлял невыспавшиеся члены; в жилах его опять заструилась дремотная кровь. Небо было пусто, точно вылизанное. Стоял ранний час; посреди безлюдной улицы лежала дворницкая метла, и все ее торжественно объезжали; этот час принадлежал ей. Заспанный шофер переспросил адрес, и Увадьев вторично назвал ему гостиницу, где временно проживал Потемкин. Дряхлый мотор кашлял, заставляя вздрагивать седока, и тем злее лаял на новехонькие машины, которые встречал на перекрестках. Отражаемый домами, то голубой, то розовый прополз по рукам Увадьева утренний свет. Вдруг отражения потухли; серая плоская громада надвинулась из-за последнего поворота. Увадьев побежал вверх по лестнице. Пропуска выдавала женщина в красном платке. Швейцар тащил урну для окурков. В номере плакала девочка. Потемкин сидел один, в старом прорезиненном пальто и в кепке; он походил на просителя, дожидающегося аудиенции у высокого и грозного лица. Кресло поглощало его наполовину, а снаружи на него напирала бронза зеркал и плюш богатых гардин. Увадьев заметил, что рука Потемкина лежала на кнопке звонка.

— ...кому так названиваешь?

Потемкин иронически дернул плечом:

— Надо же снести вниз чемодан, я даже ходить разучился... минут пять звоню. Чудаки, они думают, что я уже умер... — Он говорил совсем тихо и так, словно ему было неловко разубеждать в этом Увадьева.

В комнате пахло погребом, но на столике в длинной вычурной вазе стояли блеклые флоксы, напоминая об осени; цветная осыпь лепестков отражалась в красном лаке стола. Пузырьков аптечных нигде не было видно, они стали ненужны. Увадьев раскрыл окно и высунулся наружу.

— Э, воздух-то... ровно сельтерская вода, хорошо. Завидую тебе, едешь в самую кавказскую гущу, в цветы, а меня сегодня пороть будут. Кстати, кто тебе цветы-то преподнес?.. амура завел втихомолку, а?

— Нет, это дочь у меня. Она любит.

— Она поедет с нами на аэродром?

Потемкин взглянул с удивлением:

— У ней уже кончился отпуск, она уехала третьего дня. Со мной едет Крузин такой, он у меня в исполкоме... А с дочерью мы распрощались, да.

— Ах, вот как... очень любопытно. Ну, что ж, едем!

Держа одной рукой чемодан, другой придерживая друга, Увадьев спускался по лестнице; Потемкин виснул на руке, мешая итти, и Увадьев уловил в себе стыдное желание схватить Потемкина подмышку покрепче и нести, как вещь. Он вспотел, прежде чем добрались до выходной двери, и швейцар, единственно из сочувствия Увадьеву, подбежал взять у него чемодан.

Снова чихал мотор автомобиля, и сточившиеся внутренности гулко сотрясались в нем; снова сдвигались, раздвигались и падали позади цветные плоскости стен; бежали под колеса знакомые улицы — Моховая, Никитская, Тверская, а Увадьев изучал приятеля украдкой и находил, что у него похудела даже голова.

— Тебя не трясет?.. Вообще, ты как чувствуешь себя?

Тот испугался вопроса:

— Нет, совсем неплохо, совсем. Мне предлагали кровь перелить... есть такие студенты, продают кровь. Не могу, стыдно... — Он взглянул на Увадьева и быстро отвел глаза. — Ведь они со мной целый месяц возились: все-таки вроде губернатора был, нельзя. Чудаки, одного электричества рублей на пятьдесят извели. А я сижу и хитрю: дело-то ведь ясное! — Он помолчал. В улицах вслед за дворниками появились газетчики; Увадьев остановил машину и купил газету, но прочесть так и не смог. — На-днях выхожу... то есть выводят меня из лечебницы, вот где электричеством-то меня пичкали... и подкатывается нищий, в разлетайке такой... «Вы тоже резонер, коллега?» — спрашивает. «Нет, — отвечаю, — я — комик».

— Ну какой же ты, к чорту, комик! — усомнился Увадьев.

— Нет, это я пошутил ему, что комик. Ты не опоздаешь со мною, а?.. Вот уже полчаса вижу я тебя, а все боюсь спросить про Соть. Боюсь, понимаешь?

— С Сотью справимся! — махнул Увадьев.

— ...справимся, а в газетах-то ругают!

— А ты, что же, триумфального шествия хотел?

Больше они не говорили до самого аэродрома; да и там, подходя к самолету, они обменивались лишь самыми скудными и обычными в этих случаях словами. Крузин, спутник Потемкина, этакая белая булка с колбасой, хохотал, с оживлением щупал себе карманы и дважды пытался

рассказать анекдот про человека, который ехал без билета; кажется, только природное добродушие заставляло его делиться с друзьями всем, даже услышанной пошлостью. Увадьев строго поглядел на него, и тот, покорно отойдя в сторонку, завозился над багажом.

— А смешно, наверное, там наверху; видеть землю, понимать ее и не уметь прикоснуться к ней... — не утерпел Потемкин и в это малое вложить свой особый смысл; он сидел на чемодане, пока летчик с бортмехаником пробовали мотор. — Знаешь, никогда там не бывал, на Кавказе, а всю жизнь хотелось.

— Зачем ты не поехал по железной дороге, а полетел? Тебе, может, вредно!

— Не люблю это в дороге... умирать. Хлопотливо и както противно. А на полет меня еще хватит. Ты не пугайся, я давно это понял... я очень много, знаешь, примечать стал: все теперь вижу. Раз там, на Соти, шел, а на дороге лежит сапог вот с таким лицом... — Он показал, с каким лицом лежал сапог, а Увадьев смущенно отвернулся. — Я тогда и понял... здоровый человек этого не видит.

Увадьев нерешительно кашлянул.

— Эх, хоть бы снять тебя на память! — вырвалось у него невольно. — Все-таки потом, когда все построится, должен твой портрет там висеть. Ты начинал...

Того как-то сконфузила неуклюжая откровенность друга:

— Да-да, надо построить. Я скажу тебе секрет: свяжи свою судьбу с удачей предприятия, и если гибель — то и тебя нет. Тогда победа. Ты еще любишь вверх глядеть... понятно? а ты вниз гляди, вниз, откуда миллионы глаз на тебя смотрят. Ты внизу справляйся, ладно ли идет. Еще несколько таких промашек, и у них поколеблется доверие! — Увадьев покорно слушал его поученье, потому что оно было последнее; и вдруг, заметив гримасу Увадьева, Потемкин принялся совать ему свою холодную, сыроватую руку. — Ну, вали, действуй. Кабы люди каучуковые были, а? Сломался — моментально его в машину, и все к манометрам... и вдруг выбегает через полчасика свежий человек в трусиках, а? Ты как думаешь, будет так, а?

Мотор уже работал. Увадьев подсадил Потемкина в кабинку, а оттуда высунулись ухватистые руки Крузина, красные, как клешни рака, и покровительственно обняли

больного. Стартер дал знак, пыль и ветер ударили остающимся в лицо; когда Увадьев протер глаза, уже получили свое оправданье длинные и такие нелепые на земле крылья. На ходу просматривая записную книжку, Увадьев вышел на улицу; в книжке было помечено: Варвара... но ехать к матери было как-то неприятно. Ему все казалось, что вот он входит в знакомую полуподземную каморку Варвары, а на стене висят брюки отчима, а матери нет — ушла за керосином, и он должен сидеть наедине с брюками материна мужа. Он ехал в вагоне, переполненном утренним людом, и уже собирался развернуть газету, но вдруг вскочил и, расталкивая публику, метнулся к выходу: он увидел Варвару, мать... Чадили асфальтовые котлы, ползали чумазые тротуарщики, проносились автомобили, а она возвышалась на железном табурете посреди, почти монумент, с довольным и спокойным лицом.

Ее трудно было бы узнать со спины по одной лишь дородной фигуре, по красной косынке, по той тяжеловесной небрежности, с какой она передвигала стрелку: нужно было еще внутреннее желание и готовность самого Увадьева увидеть ее хозяйкой улицы, на прежнем месте. Выскочив на ходу, он едва не свалился к самым ногам Варвары; она посмотрела на него с неодобрением, останавливая одним взглядом, как остановила бы и автомобиль, выскочивший на нее из-за поворота.

— Вот оштрафуют тебя на рупь, станешь спрыгивать на ходу! — пригрозила она, а у самой под синеньким ситцем резвились бесенята зыбучего бабьего смеха.

— Здорово, мать! А я думал... — Он не досказал и, тиская ее жесткую, шершавую руку, пошел напрямки. — Спешу, мать, спешу... Нэпмана-то прогнала, что ль, своего?

Она снисходительно усмехнулась:

— Слава те, не паяные!.. пусти, руку выломаешь, — и ударила его по руке. — Откуда экую рань, с гульбы, что ли?

— Нет, приятеля провожал одного. Полетел умирать в цветы... Ну, рад, мать, рад за тебя! Знаешь, а я притти боялся. Ну как, что нового? Барыня-то жива еще... вот, что с тобой жила?

— Ноне советские духи под заграничные продает... Чего ж про Наталку-то не спросишь?

— А что ж мне Наталья! Тоже не паяные...

— Вот скрутился с другой, вот и дела другие пошли. Скоро тебя под суд-то отдадут? Небось, инженерша передачек-то не понесет. Ты чего там, на Соти твоей, нашкодил?

— Ого, а ты и газеты стала читать? Молодец, мать, молодец! Слушай, поедем со мной на Соть, а?.. а то живу чортом, прибраться некому. Изба у меня вроде бани, такая, в ней и живу. — Он мельком вскинулся на большие уличные часы и опять схватил ее за руку; было крепко пожатье, точно сцепились якоря. — Пора мне... время, надо домой заехать. Слушай, приезжай... станция Соть, а там спросишь! — прокричал он уже из трамвая, в который вскочил на бегу.

Она махнула ему своим совком, которым сбирала грязь с рельсового пути; потом пузатая церковь заслонила и ее красную повязку, и железный табурет. Кондуктор вторично, уже настойчивей, предложил ему взять билет; он вынул горсть медяков и отдал без счета. «Эка бабища, правительница на площади, хорошо. Тут ее когда-нибудь и удар трахнет, а хорошо!» Потом он раскрыл газету, но дочитать снова не удалось; кондуктор прокричал название какой-то совсем неподходящей площади: он сел не на тот номер. Лишь минут через двадцать он вошел в белые ворота древней московской стены и вдруг испытал волненье, потому что от разговора в этом длинном без украшений доме зависела конечная судьба Сотьстроя. Сразу сказалась бессонная ночь; образ Варвары сплелся с Потемкиным; он вспомнил тот особенный взгляд, которым обнял его Потемкин на расставанье, и почувствовал тяжесть в ногах...

— Вам каких, гражданин?

Он угрюмо глядел на тощие руки папиросницы, перебиравшие свой товар.

— Нет, не то... я не курю.

Забыв про лифт, он по лестницам втаскивал свои громоздкие тревоги и все прислушивался к шумам вокруг себя, как в молодости когда-то проверял на стук работу машины. Сюда пригнала его волна, поднявшаяся снизу, и он не умел побороть в себе опасения, что все уже напуганы этой непредвиденной бурей. Здесь, в рулевом управлении корабля, стояла благополучная тишина, разграфленная четким стуком машинок, расцвеченная гулким,

разноязычным говором. Вдруг какой-то человек, лицо которого показалось Увадьеву знаменательным, панически пробежал мимо; Увадьев пристально проследил его и даже сделал за ним шага два по коридору, но человек спешил в уборную, и увадьевские скулы зарделись... Он был заранее записан на прием, и оттого, едва успел развернуть газету, назвали его фамилию; тогда, сдвинув свой портфель, отяжелевший до сходства с ядром, он переступил порог кабинета.

С первых же слов стало ясно, что здесь достаточно осведомлены о положении Сотьстроя; в этой папке на подоконнике немало имелось, повидимому, сведений, о которых не имел представления и сам Увадьев. Человек, сидевший за столом, указал место сесть и вымерил посетителя коротким взглядом. «Хребет прощупывает, крепок ли, выдержу ли...» — подумал Увадьев и сел так, что место хрустнуло под ним; тотчас он приподнялся и удивленно поглядел на стул, но тот стоял как ни в чем не бывало. Через несколько минут пришел Жеглов и новый, только что назначенный заведующий Бумдревом. Все здесь было известно, от прорыва запани до самоубийства инженера, и потому разговор принял сразу узко производственное направление:

— ...у вас там, на лесозаготовках, было закуплено тысяч до семидесяти кубосажен пустоты. Так?

— Вроде того.

— ...делянками по четверть десятины да еще километрах в сорока друг от друга!

Увадьев покосился на Жеглова, ища поддержки:

— Мы не производственники, а строители. Мы не заготовляем, а покупаем. И виноват был Гублесотдел, который, ставя лесосеки на торги, дал неверные цифры о них... ну, о количествах деловой и дровяной древесины, — напамять прочел он из докладной записки, лежавшей пока тут же, в портфеле.

— И оттого покупали у частника?

— Овес?..

— Нет, я все о лесе.

— Куплено было некоторое количество дубовых кряжей, лиственницы и бука. Мы предлагали местной кооперации, но она обещалась в восьмимесячный срок... За это время новый человек успеет родиться!

Человек за столом достал из папки какое-то письмо; лицо его стало холодно и требовательно.

— На, почитай. Верно это?

Письмо, писанное Горешиным, носило следы самой усердной конспирации и, судя по надписям в уголке, успело побывать в губкоме. Горешин, давясь от секретности, извещал, что на строительстве неспокойно, что по баракам поговаривают об «Еремеевской ночи», если не произведут во-время значительных перемен в управленье. Увадьев читал, и пальцы его прилипали к бумаге; потом он сложил письмо и брезгливо кинул его на стол.

— Чушь, у меня все костромичи да вятичи... И слово-то такое откуда вынюхал!

— Мы запрашивали, — сказал тот, не отводя глаз от увадьевских ушей. — Слово это слышал от рабочих завклуб из соседней деревни.

— ...Виссарион? — быстро спросил Увадьев и вот зашелся злым, беззвучным смехом, походившим и на конвульсию; кажется, смеялся он над самим собой, которого считал испытанным ловцом человеков.

Он вспомнил, что при сообщении о каждой неприятности на Соти непременно упоминалось имя Буланина; ему пришел в память давнишний донос Лукинича и совсем недавний рассказ Сузанны, которому не поверил в суматохе, почитая его следствием их личных отношений, — Сузанна не была точна в передаче ночной их встречи; ему вдруг стали понятны некоторые потайные пружины, которыми изнутри распиралось сотинское дело. Неожиданно для самого себя он сжал под столом увесистый свой, с металлическим пушком, кулак и погрозил, как кувалдой, воображаемому Виссариону.

О том, что он грозил уже наполовину мертвому, он узнал только к вечеру, когда удалось ему, наконец, дочитать утреннюю газету.

5

С этого высокого этажа, где он высидел долгий и нервный час, видней и понятней становилась сложная механика жизни. Пыльную суетню и грохот улиц значительно замедляла и глушила высота. Пять крупных уличных артерий сбегались в обширную площадь, и здесь,

в раскаленном круге, велась беззатейная карусель движенья. Ладные шумливые игрушки описывали часть предназначенной дуги, и потом центробежная сила снова откидывала их в боковые ответвленья. То, что с безумной скоростью неслось внизу, отсюда представлялось в тугом и закономерном вращенье. Полуденная дымка заволакивала задние городские кулисы, которых еще не успели сменить для нового спектакля; в блеклое золото крестов и куполов смотрелись лиловые студенистые облака, — к вечеру следовало ждать грозы.

Увадьев слушал, и ему мнился незамысловатый образ корабля, который потрясают ночь и буря. Нужно было чрезвычайное уменье и воля, чтобы вести его при перегруженных котлах через море, не помеченное ни на каких картах. Корабль кренился то в одну, то в другую сторону, и всякий раз волны свирепей вскидывались на покачнувшуюся вертикаль. Ломались рули, их заменяли новыми; только от мудрости капитана и выносливости самой команды зависел успех рейса туда, куда еще не заходили корабли вчерашнего человечества. Усилия, сделанные накануне, забывались, как забывались и имена их зачинателей; некогда было повторять эти стотысячные имена. Начиналась пора великого маневрированья, и, может быть, именно в этом заключалась истинная героика революции.

Участь Сотьстроя не могла решиться за один этот час, да и о судьбе отдельных работников строительства предоставлялось думать специальной комиссии, составленной из представителей общественных и государственных организаций. В Сотьстрое сгущенно отражалась вся экономика страны; участь его определялась теперь многомиллионным народным голосованием, и подсчетом голосов ведал Наркомфин. Решение гласило: кораблю пробиваться вперед, Сотьстрою быть, комиссии выехать на Соть немедленно. Сотинские события наводили кое-кого на мысль, что всемужицкий Аттила уже выстругивает свою палицу, рождающую руины.

Комиссия, однако, выехала на Соть лишь неделей позже и сутки спустя после того, как с Геласием и Жегловым воротился Увадьев. Вечер, точно спетый вполголоса, был удивительно тих, и тем более странно было встретить троих вооруженных рабочих на дрезине, которую выслали за начальником строительства. Увадьев заинтере-

совался было цементом, сложенным под открытым небом, но шофер заторопил с отправкой дрезины. Ветка становилась неблагополучной; еще действовал в виссарионовой машине старый заряд. Накануне нашли на полотне безгласного китайца Фунзинова, торговавшего по сотинским деревням всякими детскими игрушками; ходили слухи, будто копит китаец деньги, чтоб жениться на русской и на оседлое сменить свое кочевое житье; да не докопил, разграбили. В лицах охраны, когда проезжали соленгскую пойму, читалась та злая зоркость, какой не видано было с самых гражданских боев. Смеркалось; осенний закат полнеба окропил рдяной сукровицей, и оттого уместны были мысли о незаживляемой ране, нанесенной старой Соти.

Увадьеву пришлось сидеть рядом с одним из охраны, токарем из ремонтной мастерской; косясь на его морщинистые щеки, тускло мерцавшие в потемках дрезины, на ремень с патронами, с которым тот еще не вполне освоился, он расспрашивал его полушопотом о сотинских новостях.

— Крутимся мало-мало, вчерашнему нонешнего все едино не догнать, — неохотно отвечал тот, не спуская глаз с пути и тревожа Увадьева туманом слов. Кивком он показал на бугорок, мимо которого мчалась дрезина. — Вот тут и лежал китаез! В лоб ударили, а игрушки все конями притоптали. Чего, китаезная жисть!

— Что там с бандой-то?

Токарь, задумчиво и еле касаясь, провел пальцами по ложу винтовки:

— Да все недорезанные... рабочему делать нечего там. Монах один тож блудует. Решета рябей, а туда ж, на коня полез! В волсовете есть, ершистый такой: «Неча, говорит, ждать, пока к околице подойдут. Дозволили бы, говорит, мы бы их в неделю повывели».

— Нельзя! — строго сказал Увадьев.

— А чего ж!.. на Енге конокрада поймали, пятки закатали к голове да по пяткам-то, чтоб резвости убавилось... — Он с досадой подергал ремешок. — Разве можно такое во всем разбеге останавливать! — Он имел в виду Сотьстрой и случившуюся заминку. — Останови кровь, а она чернеть почнет, а там хоть и всю ногу напрочь рубай. Да еще Бураго войско хотел вызвать, а тут порохом не вылечишь... И ты тоже хорош, монахом советскую власть вздумал подпирать!

Повинуясь ходу мыслей, Увадьев обернулся и в упор взглянул на Геласия. Тот сидел прямо, весь в каком-то внутреннем полете, одинаково переряженный снаружи и изнутри, но еще не приросла к нему новая его одежда. «Подслушивает... и глаза как у ночницы, сквозь волосики огонечек, — подумал Увадьев. — Ничего, вникай, парень!» Может быть, Геласий и догадался о минутном сомнении Увадьева.

— Там человек за деревом... перебежал! — резко сказал он, и тотчас же Увадьев приникнул к прозрачному холоду стекла, плясавшему в брезентовой раме.

Он сразу различил его в синей мгле сосновья; человек стоял неподвижно, как бы висел на суку. Увадьев заискал его ног, но дрезина уже пронеслась, и в запотевшем стекле отразилось собственное его лицо, освещенное вспышкой чужой папироски. Мгновеньем позже что-то гремуче взвизгнуло в испуганном теле дрезины, и тотчас же железная дрожь ее перекинулась на людей; дрезина шла по шпалам. Втягивая голову в плечи, шофер тормозил машину, и еще до полной остановки ее Геласий выпрыгнул, упал и, поднявшись, побежал к лесу. Звякнули винтовки охраны, люди высыпали наружу, еще плохо соображая причины катастрофы.

— Гады, гады, гады... — бормотал шофер, поднимая из канавы толстый железный болт, второпях, повидимому, положенный на рельсы. — Машину портить, гады...

Пока кольями и случившимся под рукой домкратом втаскивали на путь соскочившую дрезину, Увадьев стоял в стороне, томясь стыдом и недоуменьем за Геласия.

— Эй, Элеоноров, чорт!.. — закричал он со сжатыми кулаками. Нелепое имя, еще не обтершееся в устах, прозвучало как издевательство над ним же самим, над Увадьевым. — Фу, похабство какое... — сказал он потом, стаскивая картуз.

В росной мгле из-за леса выходила недоделанная какая-то луна, и один ее бок был помазан как бы маслицем. Стал виден глубокий шрам, прорезанный на свежих шпалах колесом дрезины; задвигались тени. Люди ждали выстрелов или набега, но ничего не происходило, и болт в руках шофера стал принимать другое, смешное значение. Так прошло, может быть, полчаса; лунишка поднялась на локоть выше; тени почернели, стало прохладней. Дрезина

была готова к отбытию, а Увадьев, растопырив ноги, все глядел на голубые рельсы, прямолинейно убегавшие к опушке.

— Поедем, может, он тово... *домой* пошел? — еле слышно намекнул про Геласия тот же токарь.

Багровый гнев вливался Увадьеву в скулы; токарь дружелюбно потянул его за рукав. Вдруг Увадьев выхватил у него винтовку и, прыгая через шпалы, помчался к лесу; теперь уже и токарь различал двух, боровшихся на опушке. Помощь пришла во-время; Геласий лежал на траве, а на нем, извиваясь и хрипя, возилась бесформенная человеческая глыба. Рычал геласиев недруг:

— ...пусти, пусти!.. ага, ты духовника своего... кусать? — Он никак не мог освободиться от Геласия, державшего его за бороду, и забился еще сильней, когда добежали люди из дрезины.

Охрана едва вырвала Филофея из геласиевых рук, сомкнувшихся в мертвой хватке. Уже вязали пленника, уже уводили к дрезине, подталкивая прикладами, а Геласий все лежал, корчась и почему-то икая.

Увадьев наклонился к нему:

— Ну, вставай... руку, что ль, сломал? Ничего, починим... «Верность, верность доказать хотел...» — топтались на уме догадки. — Вставай. Чего ж ты на медведя да безоружный полез!

— Он меня ногой... коновал. Он в срам меня... жеребеночек! — бредовым голосом шепнул Геласий, и тогда сам Увадьев, взвалив на плечи, потащил его к дрезине.

Когда отъехали сажен сто, токарь зажег спичку и, водя ее вдоль лица пленника с риском поджечь бороду, качал головой: должно быть, он дивился размерам добычи. Тот не двигался; из-под расклокоченной рубахи, вся в волосах и ссадинах, лезла на глаза грудь; взгляд его полон был звериной муки; он был подпоясан в несколько рядов веревкой. Он был громаден; у таких стыд за то, что взят живьем, всегда превозмогает любую боль. Мало в нем осталось от монаха, еще меньше от человека. Не в меру узкие порты его лопнули на коленях; он водил тяжким взором по дырам, как бы стараясь хоть этим прикрыть свою голизну.

— Ведь вот, на делах тебя изловили, а ведь сколько еще на тебя денег потратят, прежде чем *решить!* —

раздумчиво сказал токарь и прибавил, поглаживая по плечу: — Сидеть-то мягко тебе?.. не трет?

— Шуми, муха, шуми... в шуму-т не так страшно быват! — проклокотал Филофей, и это были его единственные слова, которыми удостоил он мир.

Мотор замолк, в окнах дрезины заколебались огоньки поселка. Прибытие Увадьева всколыхнуло тишину Сотьстроя; к дрезине собирались рабочие, но Увадьев уже прошел. Носилки с Геласием вызвали меньше недоуменья, чем широкая филофеева фигура, на голову возвышавшаяся над конвоирами. При сдержанных криках толпы, уже разведавшей обстоятельства его поимки, Филофея провели в плотничий сарайчик и ворота приперли кольями, а возле поставили милиционера в полном вооружении, чтоб охранял не столько от бегства, сколько от возможного самосуда. Озлобление рабочих против ночного ворья достигло того последнего предела, за которым бессильны и власть и всякая охрана. К полуночи весть о поимке злодея распространилась по всему поселку, и тогда милицейскому пришлось применить все свое крепкое красноречие, на которое, впрочем, без особого надрыва ему отвечали тем же. Отдельные подозрительные милицейскому глазу кучки стали прогуливаться мимо сарайчика, всем хотелось видеть пленника, щупать его глазами, касаться его рукой небережной и справедливой. Теперь все несчастья на Соти возлагались на одного человека: так было утешительней сердцу.

— ...боров, отсель не выпустим! — кричали снаружи, и брань звучней булыжника летела в квадратное оконце, прорубленное в полутора саженях от земли.

— Пожечь его... и все место его пожечь, шершневую колоду!

— Эй, скольких людей разорил... Выглянь, мы в тебя плевать будем.

Милицейский, сам разделявший остервенение рабочих, еле поспевал следить за всеми, и потому людское кольцо то суживалось, то размыкалось вновь. Так длилась эта бестолковщина до самого рассвета, когда тонкий невесомый свет зари стал бороть отускневшие звезды; по травам легла тяжкая росная испарина. Вдруг кто-то заметил белесое пятно в окошке: Филофей решился выглянуть в мир. Люди замолкли, и тотчас же один молодой парень, плотник,

метнул в дыру комом ссохшейся глины. Все видели, что он попал метко, но лицо продолжало невозмутимо белеть в провале, и тогда парень, обозленный вконец, схватился за жердь, намереваясь хоть ею пропороть ненавистное спокойствие злодея.

— Товарищ, отступи!.. — кричал милиционер, готовый уже и кобуру расстегивать, а непримиримый все напирал, не помня себя.

Вдруг он сам выронил жердь и попятился, а милиционер так и застыл с поднятыми руками.

— Братишки... — вялыми губами сказал плотник, — ...а на чем он стоит-то? Верстак-то ведь у той стены, а тута... тута нету ничего!

Они совещались о самом невозможном, а Филофей все глядел на них из оконца, уже безразличный к тому, какое солнце побежит завтра над страной. Толпа поредела, и милицейский понесся в поселок будить тех, кого в особенности могло заинтересовать новое известие. Одно бряцанье милицейского снаряжения и гулкий его топот должны были вздыбить спящее население поселка.

Увадьев проснулся получасом раньше. Падала луна на стол, где стояла пустая консервная коробка; дробный жестяной луч тянулся через комнату в самый его зрачок. Полуголый, но в пенсне, Жеглов высыпал в бумажку какой-то порошок.

— ...ты что?

— Хина... завтра начнется, чувствую. Где у тебя вода? запить...

— Вон, в бутылке.

Жеглов выпил и, морщась, присел на лавку.

— Ты все кричал во сне... какую-то женщину поминал. Варвара, это мать твоя?

— Кто, Варвара? — Увадьев думал о другом. — Кстати, кто вошел в комиссию от бумажников?

— Морошкин... ты его встречал у меня, рябоватый. Фу, какая все-таки горькая!.. Тебе Наталья не писала?

— Нет... да и не о чем. А что?

— Я тебе сам хотел сказать, но все не удавалось. Я живу с ней.

Увадьев пристально взглянул на Жеглова; тот лежал с руками, закинутыми под затылок, и в лунном, значительно померкшем потоке четко торчал остренький его носик.

— Ничего, живи. Она, знаешь, неплохой человек... я припоминаю.

— Ты потерял хорошего человека, да. И вообще ты странный человек, Иван. Нет у тебя в жизни друга, при смерти которого ты сказал бы: и я умру.

— И не будет, — суховато подтвердил Увадьев и тут же покраснел, вспомнив Катю. — Давид, давай никогда больше не будем об этом!.. ты друг мне, но, может статься, что порвется наша дружба!

Он снял трубку с телефона и соединился с больницей. Заспанным голосом фельдшерица сообщила, что новый, Элеоноров, бредит, и сделать какие-нибудь предсказания на его счет нельзя; ей гораздо легче далось новое имя Геласия, потому что она не знала прежнего.

— Слушайте... — Увадьев замялся. — Там нет врача поблизости? Имею особый вопрос. Что? Хорошо: как вы думаете, сможет он жениться?.. ну, через год!

В трубке слышен был подавленный зевок:

— Нет, не думаю. Ткань размозжена, сильное кровотечение... утром оперируют.

— Ага, такой оборот?.. покойной ночи, товарищ. — И стал ходить по комнате.

Потом он вспомнил про порвавшиеся подтяжки и, отыскав в стене иглу, сел зашить их; после разлуки с женой чинился он всегда сам, употребляя самую толстую суровую нитку, которую иногда густо наващивал. В воображении ему представился поверженный и искалеченный Геласий; он смотрит в Увадьева и напоминает то первое слово о земном счастье, с которого началось геласиево преображение: «...а ты из дырки скитской убежишь, отыщешь себе труд по рукам, зазнобину заведешь первый сорт, и станет барышня твоя целлюлозный шелк...» Таилась какая-то хрупкая неправда в его тогдашнем уверенье, которое с такой легкостью разбил удар филофеева сапога. Он шил, протаскивая иглу плоскогубцами сквозь кожу, и все отыскивал поправку к идее, которая возместила бы геласиеву утрату.

Тут и прибежал милиционер сообщить о «самоповешении» бандита. Повествуя о том, как выпрашивал арестованный папироску сквозь воротную щель и как он отказал, памятуя наставления Увадьева, даже в окно к начальнику полез было милицейский; имелись у него секретные на этот

счет соображения. Но Увадьев закрыл окно перед самым его носом и, дошив, принялся одеваться.

— Давид, я все хотел тебя спросить... где она сейчас, Наталья?

Тот понял, что сообщение об их браке Увадьев принял за простую уловку.

— Работает на фабрике, а что?

— Вспоминает меня?

Жеглов пожал плечами.

— Прости, я не понимаю. Ревнуешь, что ли?

— Нет, а как бы это сказать... может, ей деньги нужны?

— Зачем же, моего заработка хватает. Да и сама зарабатывает, — холодно объяснил Жеглов.

Увадьев заглотнул воздуха столько, что чуть не отлетела какая-то пуговица с груди, и поднялся:

— Да-да, вы оба замечательные люди, — сказал он, с удовольствием потирая руки. — И вам нужно было сразу, тогда же... понимаешь? А я зря тут третьим замешался. Эко солнце-то, ровно ягода. Ну, пойду взглянуть... вали, глотай свою хину!

И он ушел, а Жеглов остался лежать. Начинался малярийный приступ; в непрозрачных потемках сознанья наступила бестолковая беготня мыслей; собственная рука показалась ему зеленой. Подобно опечатке, еще не обнаруженной в тексте, мучило его сообщение милицейского о монахе, попросившем закурить. Филофееву потребность он пытался объяснить десятками громоздких догадок, а дело было совсем просто: следуя путем Аввакума, Филофей хотел изойти из мира через огонь. В поисках завалящей спички он излазил весь земляной пол сарайчика, прежде чем порешился на иную, подлецкую смерть... Солнце, восходившее из-за ветлы, и впрямь показалось Жеглову ягодой, но незрелой и горькой, как та хина, за которой он снова потянулся.

6

Пока не пришли власти открыть сарай, милицейский недвижно сидел возле, на досках, и в служебном раздумье созерцал ноги, изобилие ног, топтавшихся перед ним. Сперва были тут только сапоги, порыжелые и бесстрашные

к засухе или слякоти, а попозже, когда весть о происшествии докатилась и до Макарихи, появились и лапти, и женские полусапожки с резинками, и даже чей-то щегольской сапожок. Все это было привычно, и только громадные валенцы, этакие войлочные стояки, на которых качаться бы великаньему тулову, чуточку развлекли милицейское оцепенение. Но валенцы переступили вдруг запретную черту, за которой любопытство становилось уже наказуемым, и ретивый страж вскинул голову на такого смельчака.

В валенцы вдет был некрупный старичонка в застиранной рубахе и, как сразу определялось по желтизне плешины, гробового возраста. Стараясь подкупить служаку последними улыбочками, остатками прежних богатств, просил старик дозволения заглянуть во мрак окошка.

— Удостовериться желательно, правда ли... — наползал Вассиан и весь, от плеши до валенцев, пахнул чем-то резким, кошачьим: теперь он ютился на задворках у благодетеля.

— Катись, пока я тебе колес не наточил! — загадочно пригрозил милиционер и гнал назад, точно от созерцания окна, где висел самый непримиримый, и мог произойти главный вред.

Он напрасно усердствовал: у сарайчика больше говорили о первом крупном транспорте лесоматериалов, прибывшем на Соть, чем о запоздалой гибели Филофея; к вечеру же у всех сложилось так на душе, точно после утреннего происшествия протекла целая неделя. Через два дня, одновременно с приездом комиссии, притащился второй транспорт, и тогда неуверенная надежда оживила людей, но строительство все еще стояло, как бегун на старте. Постепенно темп работ ускорялся, и почти в полном соответствии с ним тормозился ход сотинской смуты. Банда затихла, порох ее сырел, ржавела ее ярость. Мокроносову снова подметнули записку, что все воротятся на покинутые места, буде им даруется прощенье за нечаянные их шалости; Мокроносов отослал бумажку в уезд, так и заглохло. Приходил мужичок, требовал сто рублей с Увадьева за одну значительную тайну; сторговались на трешнице, но в последнюю минуту тот струсил Сорокаветова, пришедшего по какому-то делу, выкинул из кармана полученные сребреники и сбежал в молчаливую неизвестность.

Был как бы туман, а в нем тени, и что тут было всерьез, что от воображения — не разобрать. Виссарион совместно с Пронькой задумывал облаву на бандитов, и Увадьев подался на просьбу Мокроносова не трогать завклуба до ближайшей улики. Он недоумевал, допуская вредительство лишь в одну сторону. Во всяком случае, когда на Соть прибыл новый председатель губисполкома, дрезина выезжала ему навстречу без всякой охраны.

В продолжение трех дней комиссия не выходила из конторы, изучая цифровую действительность на текущие сутки. Как-то в конце дня туда пришел Акишин в сопровождении кучерявого комсомольца и, вызвав председателя комиссии, с делегатским достоинством вручил ему синюю тетрадку, полную ветвистых каракуль.

— От рабочих прими, — сказал Фаддей, прикрывая щеку, где еще красовалась двухвершковая царапина.

— О чем?.. — прищурился тот.

— Возьми, — чванно настаивал Акишин, меняясь в лице. — Не я, тыща с тобой говорит!

Тот взял, пожимая плечами, и тут же просмотрел ее. Первую страницу занимало требование рабочих продолжать строительство во что бы то ни стало; возможное подозрение, что массой строителей руководил лишь шкурный интерес, отводилось готовностью пойти на известные жертвы; остальные пятнадцать были заполнены подписями. Здесь и лежала разгадка непонятного оживления и беготни по баракам, наблюдавшихся в последние двое суток. Полистав их, председатель обещал принять к сведению акишинское поручение и тут не удержал улыбки.

— Где ты себе, отец, щеку-то рассадил?

— Это он в классовой борьбе... — вставил комсомолец, намекая на макарихинский скандал... Акишин хмурился:

— ...и еще велено на словах передать... хлеба-то нету! Пильщикам паек сократили... — Он оглянулся, нет ли кого вблизи, готового осмеять фаддеевы соображенья. — А чем меньше хлеба, видите ли что, тем больше бумаги надо.

— На хлебные карточки намекаешь, язвина? — усмехнулся председатель.

— Не мудри... а народу объяснить надо, почему хлеба меньше.

Тот, еле сдерживая смех, опустил глаза, но уже дружественней листал тетрадку.

— А ты хитрый, старик. Лиса ты, вот что...

— Тем кормимся! — даже и не мигнул Акишин.

— И в тебе есть это самое... соображение, — постучал он себя в лоб.

— Не стучи, взбултыхнешь! — И они расстались, вполне довольные друг другом.

На следующее утро комиссия открыла прием заявлений от рабочих, но за два дня поступило лишь одно — с просьбой о выдаче аванса на ремонт погорелой избы. Увадьев сам на заседания комиссии не заявлялся, да его и не беспокоили до поры; вел себя самостоятельно, был особенно нетерпим к сотрудникам по управлению, но то, что принималось за страх перед будущим приговором комиссии, было на деле лишь желанием сдать строительство будущему заместителю на полном ходу. Его вызвали в комиссию одним из последних, когда все ответы на возможные вопросы были давно готовы у Увадьева.

— У вас много фиников?.. — нежданно спросил председатель.

— Да кило два еще наберется... — с удивлением ответил Увадьев.

— У нас составилось впечатление, что завоеванье социализма стало для вас завоеваньем женщины...

Увадьев вздрогнул и строго уставился в вислый галстучек, стягивавший ворот черной председательской рубашки.

— Может быть, вы разъясните... при чем тут финики? — с кривым ртом спросил он, поглаживая себе шею; он был уверен, что речь идет о Сузанне.

Председатель протянул ему фотографический отпечаток:

— На!.. узнаешь? У своего же рабочкома невесту отбиваешь!

Секунду Увадьев не видел ничего, кроме лилового, захватанного пальцами глянца. На крыльце знакомой избы стоял он сам и с ним машинистка Зоя; особенно контрастно вышли белые бумажные чулки на коротких ногах девицы. Испуг проходил: они ничего не знали о его внутренней борьбе с Сузанной, длившейся целый год.

— Перепроявлено маленько, а ничего, смешно, — молвил он наконец, когда улыбка на его лице совсем

созрела. — Это ребята из фотокружка? А еще говорят, что клубная работа плохо поставлена. Больше вопросов нет?..

Успокоение было ненадежно; угнетала мысль, что все на Сотьстрое уже знают про обольщение финиками, а может быть, шутники показали отпечаток и Сузанне? Последние две недели он вовсе не встречался с ней, и тем растерянней была его злость на себя, когда ему напомнили о Сузанне. Целый вечер он боролся с собой и в сумерки не устоял перед искушением услышать ее голос хотя бы по телефону. В трубке происходило невнятное клокотанье; шорох ветвей, царапавшихся как бы о стекло, мешался с плеском осеннего ливня; похоже было, будто он подслушивал свою собственную осень.

— ...не разбудил вас?

— Нет, пожалуйста.

— Поздно ложитесь, это вредно.

— А вы что, в опекуны записались? Слушайте, я не из тех. Бывали случаи, в меня стреляли, и я стреляла сама. — Ему почудилось хвастовство этой неизвестной подробностью, но он не испытал раздраженья. Ему было так: будто курит толстую папиросу, и приятное онемение приходит в пальцы. — Вас вызывали в комиссию?.. они спрашивали об отце?

— Да, я объяснил, что он устал. А когда устают в наши дни — умирают. — Папироса его кончилась, а ему все еще хотелось продлить ее сладостный чад. — Слушайте, я прочел вашего Печорина. Встреться он мне в девятнадцатом году, я расстрелял бы его, да. — Он помолчал. — Знаете, осень пришла!

Кто-то засмеялся, и вот кольнуло неуместное подозренье, что не одна она, а двое, трое... весь Сотьстрой слушает по ту сторону провода его неуклюжие признанья, усиленные через громкоговоритель.

— Не смешите, это Увадьев... — шопотом сказала она кому-то. — Простите, я не слышала.

— Я сказал, что осень, — вяло повторил Увадьев. — Дерево под окном, осина, вся в круглых листьях, как в медалях... латунь, медь, золото.

— Иван Абрамыч, — сказала она просто, — с чего вы впадаете в такую плачевную лирику? Вы все сидите один,

вот вам и мерещится. Какая осень, просто циклон затянулся. Вы из дому? Ну, тогда приходите сейчас... у меня люди, и мы пьем чай. Придете?

— Ладно. У меня финики есть... — грубым голосом сказал он и ждал, потому что для этого в сущности слова и велся весь разговор.

— Отлично, будем с финиками!

Торопливо, точно боялся опоздать, он заворачивал в газету остатки липучих ягод, но когда одна упала на пол, он поднял ее и положил в общую кучу. Спрятав ключ в условленное с Жегловым место, он вышел на улицу и быстрым шагом двинулся по проулку, который вел к больничке. Именно оттого, что не было ему существенной разницы между тем, что он хотел и что уже сделано, он старался теперь помочь себе воображаемым разговором. Дело представлялось ему так: зима — бледный диск вокруг луны предвещает метель — бумажный зал возводится уже в тепляках — в такую ночь Сузанна прибегает к нему, накинув шубку прямо на рубашку, и остается навсегда: так происходит соединение двух концов вольтовой дуги. Они живут вместе, то есть в одной комнате, и будто утром он спешит на строительство, — там одна из колонн бумажного зала дала непредвиденную и скандальную осадку; он торопится выпить кофе и проглотить неминучую вчерашнюю котлету, волокнистую и безвкусную, как целлюлоза. «Ешь, пожалуйста, ножом и вилкой, если сумеешь!» — говорит она, и он ненавидит себя прежнего, который не остерегся решительного шага... Беседуя с фельдшерицей, он уже знал, что когда-нибудь соберется в больницу, к Геласию. Было несомненно также, что фиников нехватило бы на всю ораву техников и инженерской молодежи, которая обычно собиралась у Сузанны.

В палате было пусто; только один парень, ошпаренный накануне из паропровода, разделял с Геласием больничную ночь. С забинтованной до самого рта головой он все еще рычал, этот здоровенный малый, уже не от боли, а от животного страха перед обнявшим его мраком. Исполняя больничный распорядок, Увадьев на цыпочках прошел к окну, где с раскинутыми ногами лежал Геласий. Тот еще не спал; слегка сощурясь на молочный фонарь, сквозь который сочилась пахучая больничная скука, он осторожно

подвинулся в сторону, чтоб освободить гостю место на койке.

— Ну, брат, едва добрался до тебя! — бодро начал гость и немедленно стал выгружать на столик свои дары.— Это финики, замечательная штука... только вели, чтоб тебе их помыли. Что ж, скоро и на выписку! Ну как, все хорошо?

— Все хорошо, — с каким-то как бы накрахмаленным лицом сказал Геласий и кашлянул один раз.

— Я тебя кладовщиком зачислил на склад. Должность нешумная, но ответственная, брат! Души и сердца машин у тебя будут на сохраненье... и замечательных машин, понимаешь?

— Я все ждал, что ты раньше придешь, — сказал Геласий. — Хотелось поговорить обо всем.

— Ну вот и говори!

— Теперь не хочется, зарядка прошла. Там что, Филофей повесился?

— Да, брат, вертится колесо, и кто не умеет удержаться на нем, прочь летит. Все правильно, в мире всегда все правильно, но кое-что надо еще взорвать в нем! — Украдкой он прощупал взглядом своего приемыша, отыскивая в нем явных каких-нибудь перемен, но все как будто осталось попрежнему; длинная рука — каждый палец, согнутый коршуньим клювом, еще недавно предназначался когтить сообщих с ним, Увадьевым, врагов, — раскинулась по простыне, но рыжие космы, стекавшие с подушки, уже не обжигали взгляда. — Как, не болит теперь?

— Не-ет, все прошло. Зарасгает волосиками... — Он закрыл глаза, его утомлял разговор с Увадьевым.

— Вот и ладно. Выйдешь — поселишься пока у меня, и будем двое холостяков. Вот если только сместят меня да ушлют куда-нибудь на низовую работу...

— Ты не заботься обо мне, — с непостижимой одышкой перебил Геласий. — Я тебе не нужен, я и сам себе не нужен. — Лицо его сморщилось. Увадьев ждал худшего, но все обошлось благополучно. — Ступай и не ходи ко мне больше. Ступай, мне спать надо, я больной.

— Ну, как знаешь, тебе видней! — охотно согласился Увадьев. — Если деньжат понадобится, заходи без стеснения, я дам.

Ему было немножко стыдно того облегчения, с которым он покинул палату; вдобавок было такое чувство, будто где-то в укромном уголке его самого стоит Жеглов и наблюдает его жестокую, здоровую повадку. Ну, как геласиева пружина? — «Она умерла, — говорит Увадьев. — В каждом производстве бывает брак». — Слишком велик брак в твоем производстве, Увадьев! — «Впервые, друг, впервые. Все еще не ясно на этой фабрике новых людей. Станков толком расставить не умеем, правда твоя. А парня жалко...» — Ты машина, — и голос Жеглова звенит. — Машина, приспособленная к самостоятельному существованию. Ты самую природу почитаешь низменной... — «Цени во мне это!» — Но ты же не живешь, а исполняешь функции. Ты любишь Сузанну, а бежишь ее, потому что признание обозначит твою сдачу! — «Я не боюсь суда тех, для кого я сделал себя таким...» — Воображаемого собеседника он видел как бы сквозь дым папиросы.

В доме было темно; он пошарил спичек на столе и рукой наткнулся на острый край консервной банки. По липкости пальцев он догадался о порезе и мысленно улыбнулся Жеглову. «Вот-вот, и боли нет...» Через минуту он вспомнил, что липкость происходила от фиников. Не отыскав спичек, он ложился спать наощупь и вдруг опять поймал себя на сравнении — вот лежит в разобранном виде машина, делающая счастье для девочки Кати, страшное человеческое счастье. Потом стала мниться река из детства, на которой мальчишкой удил рыбу. На воде, леностно передразнивавшей гаснущие облака, качался сумасшедше пестрый поплавок; в теле возникло напряженное ожиданье. Вдруг поплавок нырнул вглубь, и все затрепетавшее существо Увадьева метнулось вслед, в зеленоватую тину сна.

Его разбудил грохот упавшей банки: вернувшийся с заседания Жеглов тоже искал спичек на столе.

— Спичек не ищи, нету, — приподнявшись на локте, сказал Увадьев. — Неделю, черти, обещают электричество провести...

Жеглов звучно зевнул:

— Большая драка была. Ну, ты остаешься... сам влип, сам и выпутывайся. Завтра сооруди нам дрезину, пора ехать.

В переломную эту ночь спали особенно крепко. Никто не видел снов, никто не просыпался среди ночи, хотя до самого рассвета мчались лаистые ветры над рекой. Это север облаивал осень, вступавшую в обладание Сотью.

7

Дрезина отходила в три, а за час до полудня, в обход установившихся правил, часть комиссии во главе с Увадьевым отправилась в Макариху на летучий митинг. В частности, Гуляеву, новому заместителю Потемкина по губисполкому, хотелось посмотреть соотношение сил на Соти. Надоумило его то обстоятельство, что накануне, почти одновременно с акишинской тетрадкой, в комиссию было доставлено такое же заявление от сотинских мужиков: подписей набрали близ сотни. Незначительность советского ядра, заставлявшая предполагать равнодушие или враждебность остальной массы, не пугала Гуляева; каждый новый успех Сотьстроя должен был неминуемо вербовать ему все новых сторонников.

С утра рябились лужи, ленивые капли непогоды уже не испарялись. Митинг перенесли в клуб, и так как представлялось невыгодным сразу поднимать обсуждение спорных и насущных вопросов, Гуляев начал с обзора международного положения. Его слушали с зорким вниманием, точно все сообщаемые им напамять цифры имели прямое отношение к мужицкому, на Соти, житию. Сидя во втором ряду с Мокроносовым, Увадьев вспоминал обстоятельства их первого знакомства и шепотком расспрашивал о всяких деревенских делах.

— ...а этот Милованов, что с ним?.. обошлось?

— Живет. Все очень хорошо. Коня ковать поехал.

Гуляев говорил о хлебе, и беседа прервалась сама собою. Минут через десять, приметив улыбку Мокроносова на какую-то часть гуляевской речи, Увадьев спросил:

— А завклуб как?.. Ты за ним присматривай.

— Действует. Заходил даве, больной лежит. Лютый мужик, еле сдерживаем... Мы его до дел порешили не допускать. Все о войне скучает. Лучше, говорит, поры не было: ветер кругом, и сам, говорит, как ветер...

И еще протекло не меньше получаса, прежде чем они заговорили опять:

— Женишься, сказывают?

— Пора... с Пронькой роднимся.

— Ну, а как вообще?

— Работа больно мелкостна... трудней не было.

Только и было их разговора за целых два часа доклада.

Потом пошли записки, и Гуляев торжествовал; пристальное любопытство к вещам, стоявшим вне круга мужицких интересов, сигнализировало ему о существенном, хотя и неясном повороте в настроеньях. Сам он обладал страшным даром бесхитростной искренности, и оттого его провожали дружбой; он уехал в твердом убеждении, что мирное завоевание Соти, начатое Потемкиным, завершится успешно. Пользуясь тем, что собрание не расходилось, Мокроносов сбирался лишний раз распространиться о выгодах коллективной обработки земли, и тогда-то новое событие переполошило сотинцев. Как ни докапывался впоследствии, кто принес дурную весть, так и не дознался правды Мокроносов... Лука подслушал о том от селивакинской молодки, а та яростно ссылалась на Савиху; бабища же указала на пятилетнего Гаврюшку Лышева, который якобы заплакал, увидев Луку, начальное звено этого неразрешимого кольца. Председатель принялся за мальца, но дитя лишь ревело на допросе, и по голому животу его катились горчайшие слезы. Как бы то ни было, кто-то третий, придя со стороны, сильным ударом нарушил непрочное сотинское перемирие. Тут бы и изучать Гуляеву сокровенные настроения сотинцев; никто не хотел войны, — всем еще памятна была давняя ночь, когда пал на простреленное колено непобедимый Березятов.

Весть о смерти передового на Соти советского человека охолодила сердце. Собрание мгновенно обратилось в толпу, которая, ломая и опрокидывая скамьи, ринулась вслед за Мокроносовым. Надо было удостовериться, что не Пронька убит; надо было уловить злодея и тем самым доказать кому-то, что только злая единоличная воля сразила Милованова. Часть отделилась от бегущих и, своротив у околицы, побежала за Васильем: в памяти у всех возгорелась с новой силой его сдержанная угроза на лугу. Тесной кучей, слепо тыкаясь друг в друга, толпа неслась по пни-

стой луговине, и опять не различить было в суматохе, кто именно вел ее к месту убийства.

— Ведь он с конем поехал... — на бегу визгнул кто-то про Милованова, но не останавливался, чтобы не затоптали.

— ...значит, и коня.

— Застрелен аль так?

— В хóлову, в хóлову!

По дороге к толпе пристала вся остальная Макариха: случись пожар — некому было бы и в набат ударить. Сбоку, тяжко громыхая, неслись дворовые псы. Там дощатая лава вела через ручей; мостик прогнулся, и сваи стали клониться на сторону, едва взбежала на доски грузная людская многоножка. Некоторые, торопясь обогнать, пошли в брод, и бабы задирали подолы, а мужики обжимали ладонями голенища. Ручей взмутился, красная глинистая кровь потекла в нем. Задние, ведомые собаками, так же как и чутьем, свернули в ольховник; отчаянно замахали желтые верхушки ломаемых кустов. Вдруг растерянный толчок прокатился по всему людскому потоку, и задние поняли, что впереди уже наткнулись на убитого Проньку.

Тотчас над головами и зарослью взмыл скрипучий голос долгоногой Надежды Куземкиной:

— Вот он, вот он... смирненькой!

Каталепсически вытянув руку, которую не сломать бы теперь и пятерым мужикам, она с каким-то застылым восторгом указывала в высокую траву, где голубела выгорелая, знакомая всей Соти пронькина рубаха. Толпа отступала; любопытство было напоено ужасом доотказа, а сердце уже свыклось с ледяными обручами страха. Мертвое тело лежало лицом вниз, и выкинутая вперед рука как бы тянулась к ржавой метелке конского щавеля, которую так и не довелось сорвать; рубаха задралась, и вдоль пояса, влача добычу, полз некрупный, деловитый муравей. Тут же валялся и *щупник,* которым было совершено убийство, — железная клюшка, какими проверяют на лесозаготовках, не осталось ли дровины под снегом после свезенной поленницы. Судя по траве, никакой борьбы не было; удар метко и сильно был направлен в шею; след почернел и вздулся.

— Разойдись... а то всех привлеку! О чем хлопочете? — произнес председатель, не сводя глаз с поверженного друга.

С серым, постаревшим лицом он решительно шагнул вперед, но что-то хрустнуло под сапогом, и он, наклонясь, вырвал из травы раскрошенную спичечницу; в осколках перламутра, обвитых травинками, еще тлела памятная всем блудливая радуга. Невидящими глазами он поискал в толпе.

— Побежали за ним... поди, уж вяжут! — несмело вздохнул Куземкин про инвалида и прибавил совсем тихо: — Экой род погибает на Соти!..

Торжественно и с колен Егор приподнял за волосы голову друга и заглянул в лицо. Растерянный его взгляд обежал толпу; он разжал кулак и с невыразимой тупостью созерцал радужные осколки; сбивали его с толку противоречивые обстоятельства убийства, и сопоставить их воедино было еще трудней, чем восстановить спичечницу инвалида.

— Кто сказал, что Пронька убит?.. — виновато спросил председатель, и тогда, осмелев, все стали подходить и всматриваться в мертвого.

Теперь его узнавали даже с затылка. В траве лежал макарихинский завклуб, Виссарион Буланин; полуоткрытый рот его, казалось, вопил безгласно, но уже никого не оглушал этот крик. Стали вспоминать, что еще месяц назад Пронька наголо выбрил голову, что уезжал он по другой дороге, что никогда не носил он городских ботинок. Не голубая рубаха ввела всех в заблужденье, а общее и неуверенное ожидание, что и Проньку когда-нибудь убьют; и прежде всех опасался этого сам Мокроносов. Еще труднее было поверить, чтоб у инвалида имелись поводы умерщвлять неповинного завклуба. Но Василий самолично признался в этом на следующее утро, и не поверить ему теперь было бы преступлением по должности.

Еще толпа не воротилась в деревню, а егоровы посланцы уже разыскали преступника на маслобойке. Спотыкаясь и чванясь от сознания исполняемого долга, они тащили Василья под руки, как ушат; сам он шел бы слишком долго, невтерпеж правосудию. Он не бился, а лишь покорно покачивался промеж рослых своих конвоиров да все косился на рыжую свою собаку, бежавшую рядком: с некоторых пор она замещала ему изменивших друзей. Вся деревня с удивлением узнавала, как он испросил у них позволения привести себя в порядок; дрожавшими от

долгой пьянки руками он наколол на грудь все царские военные отличия, расчесал пробор на голове и так жирно смазал его пахучей мазью, точно надеялся закрепить свою красу на долгие века тюремного сиденья; баночку с остатками он сунул в карман. Вместе с собакой заперли его в сарайчик, ходивший под ссыпным пунктом, и повесили самый большой, какой нашелся в Макарихе, замок.

— Отдохни, Вася... — веще сказал Мокроносов, уходя.

Красильников смеялся и, пока не померкли щели в стенах, безобидно играл с собакой; позже, единственно от праздной скорби, пришло ему в голову расчесать и собаку; это повеселило немножко его участь. Но на рассвете, пугаясь нового солнца, Василий стал биться, а собака выть.

— Отдайте... отдайте мне мои ноги! — безумствовал он, но даже и часовой не слышал, потому что за одну сырую эту ночь Василий охрип окончательно.

Через час, однако, он смирился, и когда пришел Мокроносов везти его в город, перламутрово и потаенно играли васильевы глаза: осеннее утро было розово, а зелень травы еще не утеряла своего летнего блеска. И опять не поверил Мокроносов.

— Шибко плохо твое дело, Василий, — сказал он, теряясь в догадках. — А ведь не ты завклуба уложил! Как ты мог его щупником достать... не на табуретку же становился!

Тот что-то отвечал, беззвучно шевеля губами, а Мокроносов, склонясь, вдыхал удушливый аромат его прически.

— Охрип он, — подсказали со стороны.

— Громче, громче кричи... себя спасешь. В ухо мне кричи, ну!

Лицо инвалида побагровело от натуги:

— Становись... давай клюшку... попробуем.

Егор внимательно посмотрел на его изжеванные пальцы, на обуглившееся в одну ночь лицо и понял, что если и не убил, то непременно убьет в будущем; непостижимое томление испытал он в коленях. Он так и понял, что, жертвуя собой, калекой, тем самым оберегал Василий своих неоткрытых, но сильных друзей.

— Не человек ты, а заусеница, Васька... — молвил напоследок председатель, гадливо покачивая головой. — Ну, разувай, парень, свой иконостас, — прикрикнул он. —

Не на маскарад едем! — и пхнул ногой расфиксатуаренную собаку, скулившую за хозяина.

Его увезли, и ни вдова, ни друг, которых и не было, не вышли провожать в дорогу; в сущности род погибнул гораздо раньше. Недолго помнили и об Виссарионе, — помнили, пока хоронили; даже и шрама не осталось на памяти людской. Никто, к слову, не догадывался, *кого* хоронят. Провожатых пришло немного, но все это был сплоченный отряд, готовый к любому бою. Впереди всех, тотчас за приспущенным знаменем, шли гармонисты, трое, и, не умея играть грустных мелодий, старательно переиначивали на скорбь всем известную лихую песню. Скрипели колодезные журавли... и потом галки, — целое небо летучей черноты! — бесстрастно поднимались с поля, пустого, точно вывернутого наизнанку.

Его закопали, как чурку, на развилине шонохской дороги, чтоб все, кто уезжал или возвращался, видел и этот печальный столб с дощечкой, а на ней кратчайшую повесть о днях макарихинского завклуба. Осенние дожди посмыли непрочную надпись, а подновить ее все недоставало рук. По весне, когда окончательно истерлась память об этом неудавшемся предтече Аттилы, блуждал тут хозяйственный мужичок с Нерчьмы и, чтоб не пропадать столбу задаром, начертил на дощечке черную стрелку химическим карандашом, а под ней — тридцать две корявых буквенки: «Отсоль до сотьстроя Километров шесть...».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Нагоняло ветром воду в Соть, наплывали слухи на деревни. Первее всех набежал шепоток, будто замиренье все-таки не состоялось, потому что воспротивился тому сам Березятов. Приговаривали, будто и не убит вовсе, а прострелена лишь тень его; сам же просидел все советские годы в погребу у шонохского старовера и, гадая по подземным звукам, ждал лишь поры, когда ему вернуться к прежнему ремеслу. Кстати припомнилось темное пророче-

ство одного колченогого бродяжки, который, шагая с Волыни на Печору, вздумал навестить и тишайшую Соть. «Отрождаетсе овес на девятые шутки, а рабенок на девятый месяц, — извещал бродяжка, почесывая вшивый затылок под своим собачьим малахаем, и все благоговейно находили, что похожи на диковинные стручки иссохшие его пальцы. — Воротитсе сынель шолдатская на девятый год, и тоды будет больсая кровь». Ясно было, про Березятова вещал, но то ли часы у героя в подвале остановились, то ли не выспалось его побитое воинство, запоздал Березятов со своим возвращением на Соть... В страхе верит мужик и древяному скрипу, и куриному пенью, и гугнивому вранью.

Чем больше укорачивался день, тем тревожней становились ночи. Кургузые облака застилали сотинское небо, и бродяжка, сунув вверх свой указательный стручок, объяснил однажды, что то и есть тени березятовского воинства, так как тени мертвых отражаются на небесах, — и опять верили. Тут бы и взыграть Виссариону, потому что не особо дальней родней приходился Березятов его Аттиле, но в том и была их совместная ошибка, что не прежнюю деревню заставал теперь Березятов. Покидая Соть, все оглядывался пророк на тень свою, тут ли она, но та бегла за ним пока верней собаки... Деревня расщепилась, и из расщепа, все шире раздвигая его, новая выбивала людская поросль. Да и тех, кто еще качался на древнем корени, постепенно прямою выгодой засасывала сотинская стройка. В числе других двухсот, нанятых с подводами развозить опалубку на Сотьстрое, был один такой Матвей Кискин, славный тем одним, что болел холерой и выздоровел. Первого октября на рассвете вышел Матвей коня кормить, а сарайные ворота настежь, и как бы вопит сарай всем своим раскрытым зевом. Выскочил Матвей на улицу, — как рассказывали бабы потом, — рот раззет и глаза на выпуке, заорал лошадиным голосом, и тут встрелся ему неубитый Прокофий Милованов.

— Чего квохчешь не по времени, тетерев? — пошутил.

— Милый, не я — конь мой орет. Овса четыре мешка у меня покрали... на колесах приезжали, бандюги. Меня-то за что, рази я советский? — С огорчения запамятовал Матвей, что за языки-то и вылавливают березятовское племя.

— Бандит, где он живет? — молвил Милованов, грузно упираясь взглядом, точно локтем, в самое матвеево

переносье. — На коне живет, конь ему дом и родина. И надо ему этот дом топить, чтоб не погибнуть досрочно. Ну и терпи, от своего терпишь!

Так и случилось, как Пронька предполагал: на дыбы Матвей округ поднял. Как везли воры матвеево добро, то сочилось из дырявого мешка по три зернышка: на шестой версте, когда заметно отощал мешок, спохватились воры и, обвязав копыта коня тряпицами, ехали дальше как придется, полем и болотом; путляла и обманывала осенняя колея. Этим следом и пошла облава: впереди собачкой бежал Матвей; стоило ему труда не залаять. На заре отыскали место: стлался низом костерный дым. Розовую тишину, одновременно не меньше восьми, долбили дятлы. Мужики ящерами поползли на животах, влача по хвое, как хвосты, свое домодельное оружие. Земля пахла махоркой и грибом. На постели из елового лапника спала вповалку березятовская вольница; жестяной чайничек своеобычно коптился над огнем, единственный страж спящих. Не сдержав в себе военной отваги, Матвей выскочил из засады и в свирепом восторге закричал «ура». Были свалка, выстрелы, брань и грузный топ погони...

...Из растоптанного костра отвалился уголек. Малая искрица стала точить себе норку, чтоб отыскать угреву от ледовитого ветра. В прелых волокнах гнилушки вздулась она, и тотчас сотня юрких красных паучат разбежалась от нее по сторонам. Некоторые гибли, но десятки во-время начали свое огненное размноженье. Гнилушка лениво закурилась дымком, и вдруг, точно одевшись в красную рубаху, кусток сохлой можжухи трескуче и пламенно вскинулся вверх. Жгучие комары засновали между стволов, а по хвойнику все ползло, множась и раскаляясь, паучиное потомство. Ветер гнал его вперед, они шипели, выкидывая тонкие рыжие жала. Скоро за клекотом огня не слышна стала отдаленная пальба погони. На короткий миг, в подобье шемаханскому алому шелку, развернулся над лесом огненный лоскут... И опять возвеселиться бы Аттиле, имевшему притти в пламени и разоренье, но была осень.

Сравнимые только с бабами на-сносях, собирались над Сотью облака. Получасом позже хлынули осенние воды, и невзросшее пламя поникло. Последний самый живучий из паучков долго суетился у корней, пока не убило его

дождевой каплей. Все новые наносило с моря глыбы воды, смывало с деревьев непрочную зелень; имелось на Балуни одно местечко лиственного леса. Соть линяла, цветная ржавчина пала на ее берега, и, когда Увадьев шел однажды утром мыться на реку, под ногами хрустели растреснутые льдинки зимы.

Тем еще отлично было это утро от прочих, что только теперь закончилась борьба за Сотьстрой, перекинувшаяся из высоких этажей в промышленную печать. Бумага спорила за первенство с металлом, кожей, энергией и обнаружила несомненное равенство сил. В сущности это был спор стихий, и человеку оставалось лишь направлять течение единоборства. Соображение, что, вырабатывая бумагу, Сотьстрой работал тем самым на культуру, было самым слабым оружием в этой борьбе; одержали верх все те же испытанные потемкинские доводы о пролетаризации Соти. Резолюция говорила о необходимости вывести Сотьстрой в одну шеренгу с важнейшими строительствами республики. Самая сотинская неурядица расценивалась как следствие вынужденной остановки, и этому опыту справедливо придавались укрупненные масштабы. Комиссия полагала, что именно на этом крутом подъеме следует предельно развить скорость, чтоб беспрерывным скольжением растереть упадочные настроения, кое-где скопившиеся в стране. В сущности комиссия воспользовалась теми выводами, которые давала ей сама действительность. Снова наступили рабочие будни; обшивали толем тепляки, рвали подмерзлую землю на месте будущей водонасосной; в губернских известиях еженедельно печатались сводки о ходе строительных работ. Соть уходила как бы в забвенье: сперва одели ее осенние туманы, потом удалило от мира осеннее бездорожье. Были ветры, точно выли вдовы. При полном бесснежии встала река. Двое суток длилась в природе чудесная и виноватая улыбка, — это были разлука и обещанье; потом пронзительная снежная иголка сыпанула скоса по Сотьстрою. Белая голизна места слепила взгляд. С полудня иголка переменилась на хлопье; воздух стал, как сырая тряпка, так тряпкой все и дышали. Сушило и саднило знойким ветром, и Бураго, размечая с Увадьевым место под лесную биржу, низко спустил меховые уши шапки.

— Лепит, Иван Абрамыч.

— Зимишка прет.

После того разговора, пять месяцев назад, им трудно давалось начало бесед; всегда при встречах наедине им бывало неловко, точно однажды видели друг друга голыми. Теперь, может быть, эта метель, отделившая их на час от жизни сыпучей невещественной стеной, и внушала им позыв на новую откровенность; в сущности каждый говорил сам с собой, потому что говорил от одиночества своего. Их шествие сквозь метель по серому, раскващенному полю напоминает прогулку сумасшедших с какого-то виданного однажды рисунка.

— ...семьдесят восемь, восемьдесят. Здесь первый стаккер! — произносит Бураго, остановясь у вбитого колышка, и тычет пальцем куда-то в бок вьюге; кажется, что та шарахается, потому что в тычке инженера заключена сила в триста пятьдесят тонн, — вес стаккера. — Второй мы поставим там, где проходит Ераклин. Монтировать придется в самую распутицу. А все-таки, Иван Абрамыч, в этой стране напрасно ставить сроки: мы привыкли всюду опаздывать...

Тот смеется, не разжимая зубов, и Бураго знает, что означает этот зубной смех большевика:

«Что, социализм напирает очень?.. затормозить бы, а?»

Бураго долго стоит в неподвижности, кукольно раскинув руки; на его брюзгливо торчащих усах лежит снег, похожий на хлопья взбитой целлюлозы.

— Я строю заводы, Увадьев, — думает он вслух, — и мне не важно, как вам необходимо назвать это. Я буду с вами до конца, но не требуйте от меня большего, чем я могу. Социализм... да... не знаю. Но в этой стране возможно все, вплоть до воскресения мертвых! — Он вытирает усы прямо рукавом. — Приходит новый Адам и раздает имена тварям, существовавшим и до него. И радуется. Я не умею писать стихов, мое дело строить. Скажете — философия суперфосфата? Нет, я не Ренне. Мне не так много лет... — Он думает, шевеля пальцами. — Нет, я уже старый: я помню и французскую революцию, и несчастие с Икаром, и библейскую башню, и позвонок неандертальского человека в каком-то французском музее... Вы много моложе меня, Увадьев.

— А вообще, сколько вам?

— Пятьдесят.

— Бураго, есть вопрос. Река пойдет в трубы?

— Непременно.
— Целлюлоза будет?
— Твердо.
— Значит, командные высоты наши?.. Значит, возможно влиять на мелкие товарные хозяйства в стране?
— Вы страшный удачник, Увадьев!
— Так в чем же дело? — Вопрос остается без ответа.— Кстати, у вас есть где-нибудь дети, Бураго?
— Они умирали.
— А, так...
Опять они идут зигзагами и петлями от колышка до колышка, считая шаги и вымеряя место. Матовая от холода, неузнаваемая, стоит перед ними Соть.
— Здесь, слешерà и корообдирки, тут! — и носком сапога, под которым сразу образуется лужица, тычет в снег. — Отсюда конвейеры пойдут до самой рубилки. Вы подгоняйте ваших штабных устриц, Иван Абрамыч. Уже рвут землю, а чертежей все нет. На устрицах Европы не обгонишь!
— Подстегнем, — зубным голосом говорит Увадьев.
— ...тем более, что устрицы не кусаются, — смеется Бураго.
Они идут в противоположный угол поля, где черемуха. Дерево спряталось в снег и потемки, и уже не разобрать до весны — какое. Бураго тычет пальцем в кору, и в ветвях дерева жалобней свистит снег.
— Вы правы все-таки, Увадьев: надо лить бетон, пока не застыл. Я смеюсь, потому что обидно. Тысячу лет мечтали и маялись, а когда пришло это самое, оказалось — устрицы... Здесь второй стаккер. Мне теперь на водонасосную.... нам по пути?
— Я провожу вас до ворот. Мне еще к следователю... приехал.
Поле остается позади. Вечер странно укрупняет вещи, каждая стоит обособленно: сарай, дерево, неожиданная в просвете неба звезда; напрасно тщится связать их воедино ветер. На всех лежит глупый, толстый снег. Мир пятнист, и в нем сыро. Кажется, что кричат леса, но это все тот же ветер зимы.
— Иван Абрамыч, вы совсем не пьете?
— И даже не курю, — признается Увадьев, и ему почему-то стыдно за эту нечаянную искренность.

— Обязательное постановление не распространяется на свадьбы...

— Вы про Горешина? — Увадьев смеется; он что-то слышал про долговязого рабочкомца и машинистку Зою, которая оказалась вполне практической женщиной. — Ну, Горешин меня не позовет...

— Вы не наблюдательны, как все сильные люди, Увадьев. — В чуть выкаченном глазу Бураго блестит снисходительная искорка.

В снегу вырастают неравные пятна строений. Бураго, не прощаясь, сворачивает вправо; левая тропка ведет в поселок. Он продолжает свой дозорный обход, — путь его сперва на водокачку. Он появляется неожиданно, и дежурный кочегар, смутясь чего-то, торопливей закладывает в топку мокрые поленья. Котел дрожит, сигнализируя явный перегрев, и глаза главного инженера наполняются красными блесками из топки.

— Какое держишь давление?

Шипят лишь поршни, в одышке вскидывая вверх громоздкую тяжесть копра. Кочегар бежит к манометру, Бураго засматривает через его плечо. Перекрутясь на триста шестьдесят градусов, стрелка стоит на нуле. Все благополучно грозным благополучием. Бураго знает: котел работает на запасе прочности. Еще минута — и лишний килограмм давления, потом вздуется белый пузырь пара, начиненный грохотом, и тот же манометр яростно вроется в обнаженную грудь кочегара. «Так случается сто восьмая статья. Следователю нечего уезжать со строительства, ему найдется постоянная работа!»

— Открой пар! — сквозь зубы кричит инженер.

Тот лезет вверх с проворством отчаянья и передвигает грузик предохранительного клапана; конусообразное, ревущее дерево вырастает над котлом. Стрелка идет назад, нехотя минуя злополучные цифры перегрева. Бураго стоит боком к кочегару:

— Зачем вы закрыли клапан, товарищ?

— Фырчит очень... — виновато мигает кочегар.

— У вас нервы, товарищ? — Ему смешно: завтра неврастенией заболеют солдаты, и государство будет рассылать валерьянку в нефтяных цистернах! Ему смешно, но он не смеется. «Стрелка на нуле, но почему же не лопнул?»

— Грамотный?..

— Точно так.
— Фамилия?..
— Аксенов.

Единственно для острастки записывая это имя в книжку, Бураго идет дальше, через щепу и снег, арматурные обрезки и снег, цементную тару, полузасыпанную снегом. По зыбким и скользким мосткам он поднимается на стройку, одетую в тепляки. В работе уже третье перекрытие сортировочного отдела. Вокруг электроламп качаются пыльные ореолы. В воздухе висит известковая, мусорная пыль. Пахнет сохнущим бетоном. Взасос хрюкают пилы, мычит усмиряемое железо, гугниво, точно сквозь бороду, бубнят молотки. Бураго идет, и в глазах его последовательно отражается все... Постный старичок в очках огромным циркулем расчерчивает на досках чертежные масштабы. Он строго смотрит на остановившегося Бураго и принимает с полу синий чертежик, которому угрожает грязный сапог инженера. «Почему не лопнул?..» — хочется спросить у старика, потому что тот знает это лучше всех, но старик озабоченно склоняется над чертежом, и Бураго проходит мимо.

По шаткой доске, проложенной через какой-то продолговатый мрак, где вьются тонкие жилы вводных труб, Бураго идет к оконному проему; еще висят там путаные арматурные крюки. Кто-то позади, имея в виду то ли сучковатость доски, то ли вес инженерской массы, кричит, чтоб не ходил; но сучки кряхтят и выдерживают испытанье. Отставив оконный щит, Бураго высовывается наружу, на мокрый предзимний сквозняк. — Отсюда — и это был тоже высокий этаж, подобный увадьевскому — видна вся разметка строительства, накиданная как бы вчерне, чернотой толевых крыш по синей кальке снега.

Стемнело, ветер рассосал облака, и в одном овальном прососе уже свисали бахромчатые звездные лучи; это обманывали ресницы, еще мокрые от снега. Вдалеке, среди мирного порядка домов, светятся огни нового управления строительством; дальше — мглистая, расплывчатая пустота небытия, в ней скука, волки, черти и враги. Но чем ближе, тем колючей очертанья предметов и лютей звук. Глухой подземный гул ударяет инженеру в грудь,—Бураго слышит его грудью: рвут землю для нового котлована. Дикобразами встают леса варочного здания, и глаза инже-

нера сурово ищут бетонных башмаков варочного корпуса. Стучит силовая — неугомонный маятник Сотьстроя; кричит паровоз, пробуждая спящие стихии; слух Бураго ласкают нетерпеливые лязги пара и железа. Во исполнение приказа форсировать в полтора года постройку Сотинского комбината работа велась и ночью. Было страшно оставаться только свидетелем, только тем толуолом, силой которого новый человек взрыхлял древнюю сотинскую тишину. «Почему не лопнул котел!..» Он не кричит об этом только потому, что сзади сидит тот старичок в очках, вопросительно устремивший в его сторону острие циркуля...

Увадьев, возвращаясь от следователя, находит Бураго стоящим на дороге и смотрящим в небо. Ноги его широко расставлены, руки заложены назад. Бураго смущается, точно советскому инженеру непозволительно глядеть на звезды.

— Это Возничий... созвездие. А голубая — Капелла...— сердито сообщает он.

Они идут вместе. Увадьев спрашивает:

— Шпунты уже забивают?

— Да. Странно, Иван Абрамыч... я начинаю думать, что напрасно учился. Вся технология человеческих возможностей насмарку... — И он рассказывает об изобретательном кочегаре.

— Под суд его, — говорит Увадьев, потому что образы Бураго преувеличены и ярки.

— Э, батенька, Россию под суд не отдашь. Ее преодолевать надо... да ведь я не о том и говорил!

Увадьев не переспрашивает, его мало трогают прихотливые сомненья инженера. Они расстаются на перекрестье дорог. Влажный запах палого листа и снега усиливается к ночи.

II

После неудачи в прошлом, к работам по возведению водонасосной станции приступали с преувеличенной осторожностью. Гипсовые воронки средоточились только в одном месте на берегу, где убило выносом девочку, но Увадьев настоял, чтобы число контрольных буровых было увеличено до пяти. Совет Потемкина помнить о глазах

снизу в особенности пригодился Увадьеву: теперь они смотрели подозрительно и угрюмо, тысячи требовательных хозяйских глаз. Новый промах повлек бы за собой чрезвычайные последствия. Установилась почти военная дисциплина, прогулов не стало вовсе, окрестные шинкари бедствовали, новому рабочкому оставалась лишь канцелярская деятельность, и даже Акишин, мастер праздной беседы, точно на замок речь свою замкнул. Увадьев хоть и ввел поартельный расчет для землекопов, установив род круговой поруки, все же писал Жеглову, что чем ниже стоял человек по должности, тем крепче понимал он символическое значение этого периода работ. Ударность постройки диктовалась тем соображением, что весна на Соти зачастую бывала ранней...

Повторное буренье, однако, подтвердило начальные изысканья: за промороженным слоем почвы шли в смешанной очереди глина, галька, мергеля, опять глина и лишь дальше, с седьмого метра, простирались зыбучие моря плывунов. Это и был враг, и какие маневры он предпримет через неделю, было не угадать. Уточнить направленье плывунов оказалось также невозможным: во всех пяти скважинах желонки буры опускались как в квашню, и потом у всех, от прораба до землекопа, являлась одинаковая потребность — подержать на ладони этот жидкий, крупичатый серый ил. Он обтекал пальцы и грузно капал на лопату, застывая на ней хрупким карборундовым плитняком.

Сперва шли открытым котлованом, с откосами, дробя промерзлую породу гремучей силой толуола, и, когда река встала, половина котлована была уже готова. По мере погружения в сотинские недра число рабочих сокращалось: оставшимся тридцати приходилось всего по сажени пространства для работы; тем большее от каждого требовалось напряжение. В начале декабря, когда при полном бесснежье ударили знаменитые сотинские морозы, вокруг ямы, пшикая и скрипя, уже ползал на катках паровой копер. Полутоатонными ударами вгонялись в грунт плоско растесанные шпунты; они сближались на клин, образуя подобие широкого бревенчатого колодца. Ветры усиливались, земля твердела; дерево щепилось и трещало, несмотря на одетые сверху железные кольца бугелей. В канун нового года семи атмосферам котла едва впору было состязаться с тридцатью градусами мороза. Тогда над ямой воз-

вели обширный тепляк, и с указанного времени этот толевый ящик на берегу Соти стал центром общего внимания.

— ...грязишша пошла! — сообщил однажды Фаворову десятник, и это означало, что строительство вплотную соприкоснулось с плывунами.

Котлован разделился не поровну — на насосную и водозаборный колодец, который, учитывая меженное стояние воды, предполагалось вести на семь метров глубже. Внутри Акишин понастроил полатей; нижние лопатами вскидывали песок на верхний ярус, оттуда его перебрасывали выше, до самых вагонеток; так тройной азиатской передачей добывали дно. Попытка сразу пробиться сквозь плывун до самой отметки не удалась: грунт становился жиже, хоть бадьей вычерпывай, и тогда захрипели центробежные насосы, загрузив в глубину рубчатые свои хобота. Продвижение вглубь пошло с переменным успехом; иногда уже мерещился предпоследний метр, но просачивались грунтовые воды или перегорал мотор, и, пока перематывали его монтеры, уровень плывунов катастрофически повышался. Работа становилась изнурительной, но рабочие молчали. В мокрых сапогах, облепленные грязью до затылка, осунувшиеся за день, они уходили на мороз, и, пока успевали добраться до барачной печки, грудь их разрывало нудным, одуряющим кашлем; было понятно, отчего в субботнюю баню шли они благоговейно, как на молитву.

Теперь Увадьев почти ежедневно приходил смотреть на эту черную, кропотливую работу. Мимо забрызганных ламп, повисших на перепутанных шнурах, он спускался по лестнице в яму. Затхлая теплота земли пьянила с непривычки. Шипел паропровод отепленья, и в черной жиже чавкали сапоги. Дежурные плотники, четверо, беспрерывно караулили шпунтовые стены, сквозь которые сочился плывун. Увадьев глядел с полатей на согнутые спины и еле удерживался от желанья самолично взяться за лопату. Его не удовлетворяла роль «состоящего на побегушках при Сотьстрое», как он однажды в шутку назвал сам себя; ему все хотелось делать самому. Его замечали, и шутники норовили кинуть лопату ила на его всегда отчищенные до глянца сапоги.

— Как, мокро?.. — спрашивал он кого-нибудь, остановившегося дать передышку сердцу.

— Не, тута сухо, тута в самый раз. Слезай в сапожках-то! — ласково и беспокойно отвечал тот, и вдруг вскидывался поверх общего шума раскаленным матом.— И-эх, братишка, могилу копам! — кричал он со взбухшей от напряженья шеей, но кричал бодро, потому что копал ее не для себя.

Бычьим взглядом Увадьев уставлялся в дно колодца, полное жидких подвижных блесков. Мнилось, будто в углу Бураго: теребя седоватые усы, он разъясняет свою мимоходную мысль о новом Адаме. «Ты новорожденный, Увадьев, тебе и насос чудо, а это только старая диафрагмовая кляча, выхлебавшая сотни тысяч ведер до тебя. Мы рыли сотни таких котлованов, обходясь и без романтики; о них написаны книги, которые инженер обязан знать в самом начале ученья. А новорожденному чудесно все, приходящее извне». — Да, но *так* и *это* роют впервые! — почти вслух шептал Увадьев.

Насос добрался до твердого пласта; снизу кричали остановить мотор, и злой рокот всасываемого воздуха прекращался.

— Эх, хозяин, скуп больно... прибавь копеечек-то! — смеялись снизу, и Увадьев видел белый ряд зубов в черном поту лица. — Ты нашу кровцу понемножку пей. Много — смотри, пузичко заболит!..

— Ковыряй, ковыряй, хвороба!

Это была игра, попытка развлечься чужим конфузом, привычный способ разговора с хозяином. Он снова подымался наверх, где десятник, приладившись к стене, обводил что-то карандашом на синем чертеже. Это был старик, горбоносый и надменный; рабочие побаивались его насмешливых, проницательных глаз.

— Ну, как, Андрей Иваныч?

Тот оборачивался, задумчиво черня губы себе карандашом.

— Да все так, Иван Абрамыч: на бога надежда! — Сам он в бога не верил и поминал его исключительно из потребности дразнить Увадьева. — Страшнейший плывун содит, сами видите. Придется четвертую сменку пустить... Коллехтивно наживаем ревматизь!

Увадьев отмалчивался; в эту пору он чувствовал себя комиссаром при воинской части. Не умея разобраться во всех тонкостях технической стратегии, он зачастую

глядел в глаза подчиненному и по неприметным оборотам речи определял его сокровенные устремленья. Когда поднялся разговор о применении кессонного метода при постройке, он первым отверг эту возможность.

— За это, миленькие, под суд отдадут, — сказал он, наощупь расставляя слова, и не ошибался.

Садил плывун, но Бураго воздерживался от четвертой смены до самого февраля, пока не выяснилась необходимость чрезвычайных мер. Целых полторы недели длилось опасное равновесие между людскими усилиями и наступающим илом; враги караулили друг друга, взаимно выжидая хотя бы минутного ослабленья. Теперь дежурные плотники вылезали из ямы такими же грязными, как и землекопы. На экстренном совещании постановили одновременно с введением четвертой смены применить систему понижающих колодцев, смысл которых был в деформации и соответственном понижении уровня плывунов. Вместе с тем, судя по количеству кубов вывезенного песку, Бураго выразил опасение: зал бумажных машин грозил осадкой; вычерпанный плывун мог образовать пустотелые пещеры на известном радиусе вкруг постройки. Десятник Андрей Иваныч заговаривал о забивке второго ряда шпунтов, но предложение его никто не принял всерьез, потому что трудности эти были обычны при подобных постройках; кроме того, установка второго шпунта требовала сломки тепляка, а это вызвало бы недоумения в подозрительно настороженной рабочей массе Сотьстроя.

В эту пору влечение к Сузанне странным образом совместилось для Увадьева с потребностью курить; все чаще, все убедительней представлялась ему бесполезность такого самоистязания... На окне его избушки валялась раскрытая коробка папирос, забытая Бураго в одно из посещений. Пыль насела на бумагу, и невидимый паучище наплел над коробкой целые сети висячих мостов, — шелковистых на ощупь, потому что однажды Увадьев пытался прорвать их. Может быть, паучок и уловил бы Увадьева на табачную приманку, если бы не замело однажды его самого непредвиденной стихией. Стихия эта была просто мокрой тряпкой, которую держала в руке новая хозяйка увадьевского дома. Она приехала внезапно в разгар январских морозов, и Увадьев, встретив ее на улице, не сразу признал в ней Варвару, мать. Видение показа-

лось ему чудовищным: огромная фигура в новомодном и куцем драповом пальто шла к нему навстречу, скользя на обледенелой дороге и таща такой же огромный мешок; по правде сказать, к этому времени перина осталась единственным достоянием Варвары, — все остальное, даже икона, сносилось от частого и неистового употребленья. С изумлением он глядел, как она скинула на снег свою ношу и машисто оправляла шаль, которою была окутана поверх своего вершкового драпа.

— Дураки у вас тут живут! — начала она, размахивая руками. — Чего уставился, ровно гусь на молнию?.. тащи! Не видишь, — мать упарилась совсем.

— Ты что же, пешком с самой станции? — нерешительно спросил сын. Он глядел на посинелые, опухшие от холода руки матери и вспомнил тринадцать километров сотинской ветки, тринадцать километров открытого пространства, где резвятся в эту пору северные ветроломы.

— Не, меня мужик вез... да мужик-то дурак, мы и повздорили слово за слово! Я тогда сани остановила, — катись, говорю, дьявол, взад... я и сама доберусь. — С такою ношею ей нипочем оказался сотинский январь. — Ну, где твой курятник, веди гостью-то!

В непонятном веселии взвалив на спину варварину перину, Увадьев потащился к дому; по счастью, никто не встретился им на пути.

— На побывку приехала, не горюй! — говорила Варвара, пока Увадьев суетливо одну за другой раскупоривал консервные коробки. — Недельку поживу и поеду. Соскучилась больно...

— Живи, живи. Ты закуси сперва, закуси! Это вот... — он мельком взглянул на ярлычок жестянки — ...это скумбрия, а это крабы. А боишься запоганиться, тут и перец фаршированный есть. Я вроде окрошки мешаю все вместе и ем ложкой: гладко выходит. Ну, ешь, мать, действуй...

Варвара нерешительно облизала губы:

— А щец у тебя нету, Вань?

Сын даже и железку выронил — обломок ножа, который он приспособил для открывания коробок:

— Вот щей, действительно, нету. Щи — хлопотливо, их варить надо. Ты ешь покуда скумбрию, а я печку за-

топлю. У меня и дров напасено: полное хозяйство. Ешь, мать, ешь!

Полчаса спустя они сидели рядом за столом; из чайника выбивался пар. Разговаривая, сын подносил конфетную бумажку к белой струйке, и та свивалась в рыхловатую трубочку.

— А ты старый стал, Иван, осунулся. Старей меня, а ведь я на шешнадцать лет тебя старше. Ишь, рожа-то ровно сукном обтянута солдатским!

— Ну, мать!.. это я помолодел, не старь до поры. Самый разгар чувств у меня! Ты лучше расскажи, как с нэпманом-то раскрутилась. Я тогда спешил, не успел расспросить...

Очевидно, и у ней были вещи, о которых неприятно вспоминать:

— ...мужик-то, вез, совсем дурень! Утят, говорит, можно песочком кормить, посыпать песок мучкой, и корми! За милую душу жрут, говорит. А я ему: на воде-то как же, ведь потонут... Да и косой к тому же. Смотрит в нос себе, ровно главней ничего на свете нет!

— Ты, мать, про другое думала сказать!

Варвара отодвинула чай и виновато кашлянула.

— Вань, а ведь я к тебе совсем приехала... не прогонишь? Холодно на табуретке-то сидеть. Сидишь, а рельсы-то все бегут, бегут... и так надо до конца сидеть, пока не застынешь. Вань, тебе не стыдно меня? Говори прямо, мне всякое можно! Ты мне плати рубликов двенадцать в месяц, а я тебе все буду делать, а?

Она была покорна и тиха, но именно в такую минуту и опасно было возражать ей.

— Ты чудачка, мать. Так и помрешь чудачкой...

По улице торопливо прошла кучка рабочих, совсем мокрых, задний почти бежал, накинув на плечи мешковину; обледенелые его подошвы разъезжались на утоптанном снегу. Увадьев, пока видны они были в промерзлом окне, проводил их суровым и пристальным взглядом.

— Вот-вот, опять постарел, — заметила Варвара. — Вань, трудно тебе? Ведь один ты!

— Нас побольше, чем один... — засмеялся сын. — А трудно — хорошо. Что легко дается, легко и забывается.

— В поезде дьякон один рассказывал, будто у знако-

мого коммуниста голова от мыслей раскололась. Так и разошлась, как орех...

— Ну, это уж недоделыш какой-нибудь. Твое производство крепче стоит, — открыто улыбался Увадьев, и желваки перестали бегать по его щекам. — Я, мамаш, покуда на тебя не жалуюсь!

Она осталась у сына, как ей казалось — навсегда. В избу, пока не переехали на новую квартиру, вселился небывалый порядок. Неутомимая тряпка не ограничилась подоконником; она обежала стены и полы, пробовала выбегать и на крыльцо, но там она быстро деревенела от мороза и снова пряталась за дверь. В доме установилось жилое тепло, оно пахло щами. Консервные коробки, весь запас Увадьева, мать тайком выменяла в кооперативе на крупу. Ей нравилось ждать к обеду сына, который всегда опаздывал; нравилось вступать с ним в ожесточенные перебранки.

Когда отношения наладились, Увадьев вызнал все-таки историю ее развода. Нэпман Петр Ильич, недолговременный варварин муж, имел склонность к двум вещам — к философии и выпивке. Первая выражалась в том, что он затейливо хохотал, читая советские газеты; выпивать же ездил преимущественно на кладбище, где лежал под плитой какой-то бригадир наполеоновской войны. Ему полюбился самый чин и тарабарская фамилия бригадира и, кроме того, уравновешенный собутыльник его не препятствовал скрипучей болтовне Петра Ильича. Варвара терпела месяца полтора, а потом выкинула однажды вечерком за дверь нэпмановы пожитки и самого, когда вернулся, не пустила ночевать. Кстати, и на рынке уже вытеснял Петра Ильича «Кооппортрет»... Повествуя об этих сокровенных подробностях, Варвара имела целью развлечь угрюмое молчание сына.

Причины крылись все в той же водонасосной: с каждым метром продвижения вглубь Увадьев становился все более молчаливым. Понижающие колодцы лишь в самой незначительной степени ослабили напор плывунов. Совет десятника открыть тепляк и выморозить дно повторяли теперь все, все, кроме Бураго. Землекопные артели теряли терпенье, и только в этом одном заключалось их отличье от машин; казалось, было бы легче в воде высверлить подобный же колодец. Насосы были загружены

до предела, и на строительстве со дня на день ожидали прибытия нового центробежного шестидюймового насоса, который удалось добыть Жеглову. Ночи Увадьева стали беспокойны: он верил, что несчастье может случиться только ночью. Его будил каждый звук, и когда однажды чуть дольше обычного ревел ночной гудок, он тотчас же схватился за телефонную трубку:

— ...что-нибудь случилось?.. слышите, гудок!

Телефонистка не узнала его голоса.

— Это гудок третьей смены... — сказала она сонным голосом. — Кто говорит, — товарищ Увадьев?..

Он медленно положил трубку и оглянулся на мать, которая тотчас же притворилась спящей. Сквозь неплотно замкнутые ресницы она видела, как он суматошно шарил рукой по подоконнику в надежде отыскать хотя бы крупинку табаку.

III

Отправляясь на Соть, Варвара заранее приводила себя в боевую готовность; она ехала в сущности на непримиримую распрю с нелюбимой невесткой и была разочарована, когда место хозяйки дома далось ей без всякой борьбы. При скудости и незамысловатости увадьевского обихода ей предстояла праздная роль сыновней нахлебницы. Когда в доме водворилась невыносимая чистота и было перештопано все белье, Варвара впала в тоскливое оцепененье; по ее характеру ей бы при роте солдат состоять матерью и хозяйкой. Два дня она старательно выискивала, куда приложить свою неиссякаемую заботливость; она собственноручно выбелила печь, размела снег вокруг дома, наколола пропасть дров и, когда все было закончено, влезла на койку и принялась вбивать гвозди в стену; сын застал ее за одиннадцатым по счету четырехдюймовиком. Варвара смущенно покосилась на него.

— Чего смотришь, жалко, что ли?

— Вали, вали, мать; гвоздей хватит, — нетвердо пошутил он. — Только куда их столько, у меня и одежи вешать нехватит.

— Новая жена платьев навесит со шлейфами, — яростно кинула Варвара, вгоняя гвоздь по самую шляпку. — Увешает юбками, будешь посреди подолов сидеть, табак

с горя нюхать. Отставят тебя к тому времени... — Она грузно опустилась на пол и приблизилась к сыну: — Тебе такая нужна, как я... она б тебя прищучила, куренка!

Сын сочувственно покачал головой:

— Ты б отдохнула, Варвара: столько сил тратишь попусту. Мотор бы к тебе, что ли, приделать!

Отдых означал бездельное лежанье на перине, которую привезла с собою. Совсем того не разумея, он попал в самое больное место Варвары; именно перину, непременную спутницу всех кочевок, она начинала ненавидеть со всей силой своего неуживчивого естества: в перине и пряталась ее смерть, мягкая, умерщвляющая бездельным покоем. Еще она ненавидела ее за то, что не успела та сноситься и не давала поводов Варваре расправиться с нею по заслугам: Варвара была скупа. Недоставало дела, которое поглотило бы излишек сил, и Варвара нашла его: нужно было поженить сына на ненавистной инженерше. Может быть, после удачного выполнения дела ей понадобилось бы разделать его наоборот, но пока прельщала самая новизна и трудность предприятия. Сватовство заключало в себе уйму дипломатических уловок и хитростей, при этом не исключалась возможность женить сына по чванному дедовскому церемониалу: ей казалось, что стоило только настоять. Ее теперешнее отношение к сыну крайне походило на его собственное к ней: затягивает счастьишко... ну, и дохлебывай свою погибель до конца, пока с души не вырвет!

Она приступила к делу в величайшем секрете от самого Увадьева. В феврале выдалось одно ослепительное воскресенье; небо было розово, точно одним огромным лепестком прикрыт был мир. В инейных ветвях старой ели, уцелевшей на задворках, по-обезьяньи кувыркались клесты. Все потрескивало и жило в этом алом, леденящем пламени. Варвара заперла дом на замок, сунула ключ в условленное с сыном место. Сузанна нашлась у себя в лаборатории; Варвару она встретила не без изумленья.

— Садись, милая, садись. Не узнала, поди, а ведь соседками сколько лет жили. Оно и правда, примелькается лицо-то, ровно ступенька станет... а рази все ступеньки в лицо упомнишь!

— Вы мать Ивана Абрамовича? — догадалась Сузанна.

— Мой... с лица видать! — Она села и стала распутывать головной платок. — Вот, знакомиться пришла. Ну, и место у вас, ни одной бабы, почище монастыря, пра! И поговорить не с кем...

— Нет, тут есть женщины... да и какая ж я баба! — смутилась ее набега Сузанна, втайне подозревая, что Варвара пришла неспроста. — Я тоже по мужской отрасли работаю.

— А не брыкайся, из бабьего тела не вылезешь. Да и чего вы, нонешние, ровно бы отрекаетесь своего чина... зазорно, что ли? Громадный чин, как я смотрю. Мужики машины рожают, а мы самих мужиков.

— Ну, я думаю несколько по-другому, — улыбнулась Сузанна. — Вам ничего, если я работать буду и говорить?..

— Работай, а я посмотрю. Мешаю, так уйду: скажи!

— Нет, сидите, я рада... Вы курите?

— До этого не дожила. Ты зови меня просто мамашей. Меня с двадцати годов все мамашей кличут, привыкла!

В агатовой ступке Сузанна растолкла несколько кусков золотистого кристаллического камня и, высыпав в колбу, наливала туда желтоватую смесь кислот. Через минуту, когда обняло колбу синее пламя спиртовки, ноздри Варвары задвигались: окись азота защекотала ей дыхание: она кашлянула и укрощенно опустила глаза.

— Видите, нам нужен будет серный колчедан... много колчедана. А тут, всего в двухстах километрах, оказались целые залежи его. Надо исследовать содержание серы, продуктов, мешающих производству — селена и мышьяка, в процентах...

— Много ли выходит процентов-то? — с внезапной робостью спросила Варвара.

Сузанна мельком взглянула на нее и удивилась ее чрезвычайному сходству с сыном:

— Вы про серу?.. мне думается, что процентов сорок шесть. А вы почему спросили?

Варвара испугалась:

— Нет, ты, девушка, не спрашивай... у меня мозги тугие. Гляди, гляди, закипело у тебя!

Неожиданный охватил Варвару страх: Сузанна нравилась ей... куда было тягаться с нею бедной Наталье! Ей пришлась по нраву уверенная самостоятельность будущей

невестки, холодное спокойствие ее лица и даже та смелость, с какой она обращалась с этими хрупкими и незнакомыми Варваре предметами. Теперь она одобряла выбор сына и терялась от мучительного, уже физического недоверия к Сузанне. Вытяжной шкаф не всасывал всего количества газа; Варвара задыхалась и все же не отступала от своей роли свахи и искательницы сыновнего счастья.

— Одна живешь-то?

— Одна... да.

— А обед сумеешь сварить?

— Сумею, пожалуй... — Сузанна деланно засмеялась; подозрения оправдывались. — Ну, что же мне показать бы вам? — Ей хотелось свести беседу на вещи, не обязывающие к откровенностям. — Хотите взглянуть в микроскоп? Это занятно, кто не видел. Вот идите сюда, я положила волокно от тряпки, видите? Смотрите теперь!

Варвара медленно, точно пугаясь обилия стекла, подошла к столу и нерешительно склонилась над окуляром.

— Сюда, что ль?

— Да сюда... нет, вы ближе, ближе подойдите... — Она покрутила кремальерку, привычно устанавливая на фокус. — Видите теперь?

— Не видать, — глухо призналась Варвара.

— Да нет же, вы не так. Вы закройте левый глаз, а смотрите правым. Видите, вроде мохнатого бревна?.. это и есть волоконца.

— Все одно не видать!

Сузанна растерялась;

— Ну, как же тогда... погодите, я вам послабее поставлю объектив.

— Не надо, уроню я твою машину... — сдавленно отказалась Варвара и пятилась до самой своей табуретки.

Лицо ее покрылось испариной; ей стало жарко и обидно, что ее, огромную и сильную, мать большевика, заставляют поглядывать в щелочку за ниткой, которой, может быть, еще и нет на деле. Неудача щемила ее самолюбие; положительно она близка была к подозренью, что и давешний газ и затея с микроскопом — только грубые тычки, которыми хотят поставить ее на подобающее место. Ей стало жалко самое себя, но она взглянула в смущенное лицо Сузанны и задержала обидное слово, готовое сорваться с уст. Теперь она вовсе не знала, как приступить

к замышленному предприятию. На беду зазвонил телефон, и, когда посреди бегучего, непонятного чужому уху шепотка прорвалось вразумительное слово *милый,* Варвара ревниво насторожилась, словно у ней отнимали принадлежавшее ей одной.

— Братан, что ли?..

Сузанна вспыхнула, а Варвара так и впилась в нее просительным взглядом:

— Нет. Как это говорится... жених. То есть, я женюсь!

— Замуж, значит, выходишь? — покровительственно и холодно поправила Варвара.

— Нет, женюсь. Я сама предложила ему, а не он. Значит, я и женюсь...

Некоторое время слышно было только шепелявое лопотанье пламени. Сузанна отставила горелку; смесь в колбе выпарилась досуха и обратилась в серебристый порошок. Варвара сидела неподвижно, как оскорбленная гора; багровая горечь стала приливать к ее лицу, — в эту минуту сын был неотделимой частью ее самой. «Ваня-то для тебя жену бросил!» — хотелось ей крикнуть этой, не заслуживавшей такой жертвы, и она вздрогнула, заставляя себя молчать.

— Непьющий сам-то? — спросила она потом. — Смотри, всю одежонку на барахолку перетащит!

— Да нет, этого не замечала...

С лестницы Варвара спускалась бегом, как будто Увадьев мог застигнуть ее посреди такого срама. Негодование подхлестнуло ее неутолимую ярость; по мере того как старела, в ней все больше пробуждалась мать. Теперь хотелось бы ей потрогать того невероятного удальца, на которого можно было променять ее Ивана; уж она-то разыскала бы на нем старыми своими глазами такие пороки, каких не усмотрели молодые. «Наверно, этакой хухлик в пенснях. Они, такие-то, пенснястых любят...» Вторая мысль была злее: «Свое к своему котится. Не там искали! Что ей в Иване... он и обнять-то толком не сумеет, по-благородному, чтоб и щекотно, и заманчиво, и кружева не помять!» Третья вгоняла в крайнее неистовство: «Рыжая... у нас таких в роду не бывало. И щенята все рыжие, в мать, пойдут. Вся природа увадьевская окрасится!» Дома она металась, переставляла вещи, давая выход своему гневному негодо-

ванию, пока, наконец, не разбила новенькой тарелки. Вид черепков, разлетевшихся по полу, не образумил ее; не имея другого под рукой, она схватила свою перину и принялась жечь ее в печке. Кудрявое, барашковое пламя пробежало по слежавшемуся пуху и затихло. Тогда Варвара подкинула щепы, нанесла соломенного хлама со двора, и вот трескучим жаром обдало ее лицо и руки. Вместе с периной сгорало ее прошлое, вся ее углом выдавшаяся судьба, горел муж, горел нэпман Петр Ильич, горели долголетние скитанья по нужде... все горело, а Варвара, подбоченясь, стояла у шестка и злорадно взирала на свое обширное душевное пожарище. По поселку шел густой чад жженого пера, и дежурному пожарному мерещилось, будто где-то в поле, за поселком, палят огромную, на все три тысячи сотьстроевских ртов, курицу. Когда враг обратился в горку хрусткого вонючего пепла, Варвара выгребла его на двор и закрыла заслонку. До самого прихода сына она высидела в ожесточенной неподвижности.

За обедом она ухаживала за ним, почти заискивала. Сын спросил:

— Напроказила чего-нибудь?

— Тарелку разбухала. Больно некрепкие нонче делают. Разорила тебя на полтинничек.

— Ладно, за тобой будет, — усмехнулся сын.

С утра не оставляло его благодушное, поскольку это было ему доступно, настроение; драка с плывунами обещала закончиться успешно. Четвертый, шестидюймовый насос, работая с вечера, помог углубиться сразу на целый метр. Теперь Увадьев мог спокойно пробиваться вперед; с тылу его защищали Жеглов и мать.

— Вань... — запинаясь, позвала она минутой позже.

— Слушаю, — оторвался он от газеты.

— Вань, ты в этот... ну, в микроскоп глядел?

— Чего-о? — Он даже отложил газету. — В микроскоп? Доводилось.

— А смотрел... волоконце-то ихнее смотрел аль нет?

— Смотрел, ну?.. зачем тебе?

— Может, нашим-то глазам и вовек того не увидеть, что ихние видят? Она, поди, с детства в него глядела, навыкла...

— Кто это?

— Да инженерша-то твоя!

— Где ты ее видала?

— Где!.. а на улице. Увидала она меня, узнала, повела чай пить...

Увадьев нахмурился:

— Не путай, Варвара.

— Истинный бог!.. приветливая бабочка. Кушай, говорит, мармелад, а у меня от мармеладу-то, сам знаешь, с души воротит. Уж я вертелась-вертелась... Ну, не хошь, говорит, мармеладу, садись в микроскоп глядеть!.. Да пусти ты меня, Ванька, чего за плечи держишь. Не держи, все равно сбегу! Думаешь, посадил за стол, щами накормил да и владай Варварой?

— Никуда ты, мать, не сбежишь: поздно тебе. Поздно, попадали твои яблочки...

— А не дразнись: сбегу! — И опять было приятно сыну глядеть на нее, как на огромный мешок, полный спелого и звучного зерна. «Эх, сколько еще в тебе, мать, нерожденных большевиков!» — Я и босая от тебя уйду!

— Куда, старуха, в собес?.. на пятнадцать рублей?

— Посуду в кабаках мыть буду, в сиделки пойду! — Она не докричала до конца, а присела возле и погладила его по руке. — Вань, а Вань...

— Ну, утихомирилась?

— Вань, а ведь она замуж выходит.

Он понял сразу, он схватил ее за руку, и по тому, с какой силой вдавились в нее увадьевские пальцы, она узнала всю меру его влеченья к рыжей девушке.

— За кого же это?

— ...Володей называла.

Увадьев промолчал, потом снова взялся за газету: начатая статья не проникала в сознанье. Ему пришел в память давнишний намек Бураго про недалекую свадьбу на Сотьстрое, и вот с необыкновенной силой потянуло видеть этого умного, всегда недовольного чем-то человека, говорить с ним о разном — о звездах, о небесном возничем, который сбился с дороги, о габарите бумажного зала, о циркуляре, предписывавшем всюду по возможности заменять деревом железо... о всем, исключая Сузанны. Он дождался, пока мать не вышла из комнаты, и почти вырвал трубку из телефонного гнезда.

— Бураго, есть дело.

— Добрый вечер!

— Что вы делаете сейчас?

— По радио передают Грига. Хотите слушать?.. приходите.

— Это что-нибудь военное? — переспросил Увадьев.

— Нет, война — это криг по-немецки, а Григ — это музыка.

— Я приду... погодите одну минуту! — Он выдвинул ящик из-под койки и, не глядя, пошарил в нем рукой. — Я думал, финики оставались, но таковых обнаружить не удалось. Приду так...

Бураго жил не один, а с ним котенок; одно время инженер приручивал сыча с перебитой ногой; оставаясь наедине, он смотрелся в сыча, как в зеркало; тот погиб от табачного дыма. Когда Увадьев вошел, Бураго играл сам с собою в шахматы. Рыжий клубок шерсти мурлыкал в его коленях. Увадьев скинул полушубок у двери, и оттого, что говорить не хотелось, они стали играть в шашки; Увадьев, тугодум, не испытывал склонности к шахматам. Три партии подряд закончились вничью: в простом Увадьев чувствовал себя крепко... В комнате бравурно звучал марш троллей, и, если закрыть глаза, представлялась пасмурная долина, заросшая хлопьями белых, без запаха, еще не описанных в душевной ботанике цветов.

— Это Пер-Гинт, — важно буркнул Бураго и передвинул шашку, образуя боевой треугольник на правом своем фланге. — Слушайте о мечтателе Пер-Гинте, Увадьев! Это полезно и вам... — Он высоко приподнял котенка за шею и заглянул ему в сонливые щелки зрачков. — Кошачьи сны, наверно, все об одном. Этакая лужа сливок размером с Каспий и рядом пушистая дама с великолепным хвостом. Ваш ход!

— Ему рано о даме, ему пока о говядине, — сказал Увадьев, повторяя маневр Бураго. — А вы правы... запахло свадьбой. Своим выбором она показала, что есть еще и моложе нас, Бураго.

— Да, у него все благополучно... и мировоззрение его гладко и красиво, почти как романс: второе поколенье, Увадьев! — Так они бранились, обойденные выбором.

Телефонный разговор между ними происходил в начале восьмого, и аппарат действовал исправно, а в восемь на квартиру главного инженера примчался один из плотников и сообщил, что Фаворов много раз кряду вызывал

квартиру Бураго, и все попытки его остались безуспешными. На водонасосной произошла неприятность, требовавшая присутствия главного инженера. Партия в шашки так и осталась неоконченной.

В пустой комнате длилось меланхолическое и торжественное повествование о гибели мечтателя Гинта. Единственным слушателем его был рыжий котенок; выгибая спину, он бродил между раскиданных по полу шашек и недоуменно косился на неплотно притворенную дверь, из-под которой пушисто сочился холод.

...Несчастье произошло на исходе восьмого часа, когда вступала вторая смена. Работа велась в водозаборном колодце, на том именно уровне, откуда начинался подводящий канал в направлении реки. В штольне не было никого, сопели лишь насосы. Дело началось с того, что случайным камнем пробило храповик новой машины — железную фильтровальную сетку на конце заборной трубы. Производитель работ, инженер Фаворов, который и ночевал тут же в водонасосной, даже сквозь сон проверяя на слух мерное журчанье центробегов, первым обнаружил поломку. В пустующую шахту немедленно были спущены люди заменить храповик, и тут-то был обнаружен небольшой прогиб шпунтовой сваи. Прогибы случались и прежде, — для того и существовало плотничье дежурство, чтоб своевременно ставить предохранительные крепи и подкосы. Прогибы не были опасны; вся шахта стояла в распорках, и, может быть, ничего бы не произошло, если бы предыдущая смена не вынула одну из них, в особенности затруднявшую движенья землекопов.

Пока готовили новую распорку, вздутие стены пошло с молниеносной быстротой. За криком людей и жужжанием моторов треска не слышал никто. Сперва вспучило две шпунтовины, потом зыбучая сила плывуна вклинилась в щель и вдруг раздвинула ее, как пьяный распахивает дверь. Вслед за тем в расщелину засвистал ил, и, когда началась эта беспримерная борьба, людям было уже по колено.

Бураго нашел Фаворова на втором ярусе полатей:

— Ну как, жених? — спросил он тихо, мало заботясь о том, что выдает себя с головой.

— Ерунда прет... — осипшим голосом сказал Фаворов, пропуская мимо себя бегущих в яму людей.

— А вы интересовались, почему прет ерунда? — спросил старый инженер, обтирая заиндевелые усы.

— Очевидно, при забивке... — Лихорадка мешала молодому инженеру говорить слитно. — При забивке одна из свай надломилась. Вбивали в мерзлоту, раньше тут стояли гравомойки, мог случиться...

— Что могло случиться? — Губы Бураго опухли, точно искусанные злым насекомым.

— Мог произойти перекос... — Глаза Фаворова были воспалены, зрачки заплыли красным туманом и стали одного цвета с лицом. Разговаривая, он держался за стойку и старался отвечать по-военному кратко.

Бураго спросил:

— Почему вы дрожите?

— У меня грипп... — и, дрогнув, прибавил: — Третий день...

Бураго выпятил губу, носки его сапогов стали вовнутрь. Его раздражало упоминание Фаворова о трех гриппозных днях, в течение которых тот не выходил из водонасосной; ему показалось, что Фаворов ждет похвалы своему энтузиазму. Невидимое насекомое ползало по лицу старика, которое опухало, и самые зрачки становились как два точкообразных укуса.

— Ваше место там, внизу, товарищ прораб. Потрудитесь спуститься... вы мне отвечаете за шпунт! — властно сказал Бураго, сунув пальцем туда, в одиннадцатиметровую глубину, где почти вслепую происходила драка со стихией.

Насосы хрипели, как люди; было в этом хрипе что-то от первородного Адама, когда обрушивалась на него гора. Лампы казались слишком тусклыми; мало было бы и солнца осветить страх и ярость людей. В пролом толстым гнутым снопом лез плывун; соседние сваи медленно поворачивались на своих осях, образуя еще больший разворот. Похоже было, будто всей Соти с песками, лесами и болотами предстояло пробиться в эту скважину. Упираясь в ползучую трясину, мокрые люди пытались зажать досками открытую рану Шел плывун. Подземный напор откидывал людей назад, доска скользнула по течению, и опять в полном молчании возобновлялось неравное это соревнование. Насосы не справлялись с нагрузкой; добавочная смена, вызванная до срока, еле успевала отвозить наверху

вагонетки с породой, но уровень повышался. Жидкий, крупичатый холод затекал через голенища в сапоги. Представлялось, будто плывун становится жиже, и, хотя со стороны реки штольню защищала широкая свайная дамба, все ждали, что через минуту сюда бурливо и резво вплеснется Соть. Какой-то длинный человек на нижнем ярусе метался и паясничал, чтоб подбодрить уже выбившихся из сил рабочих. Увадьев, наклонясь над провалом, едва узнал в нем того ворчливого десятника Андрея Ивановича, который еще недавно поддразнивал его богом.

— ...ей, ей! — непонятно выкрикивал он, — херувимушки, не уступайте!.. жми ее, сволоту... Братушки, жану отдам, молодуху, только сорок годков и пожили, ей, ей... Тесину-то справа заноси, упрись, упрись... Братушки! — Но крик перекатывался в нелепый визг, и вот становилось страшным и неоправданным его добровольное юродство.

Увадьев прыгнул вниз, в застылое хрипучее молчание, где как будто нехватало его одного; бездействие стало ему невыносимо. Плывунная гуща смягчила паденье. Нашлось место и ему, никто не узнавал его, несчастье сравняло всех. Теперь вместе с остальными он силился заткнуть дыру, и порой уже дразнила удача, но затем лишь, чтоб ослабить боевую бдительность бригады. Увадьева толкнули распоркой справа, потом слева; его притиснули к самой дыре, и вдруг стало ясно, что только пары его рук и нехватало в этой рукопашной. Мускулы его напружились, и давно утраченная, грубая, почти ураганная радость физической силы вздыбила ему сознанье, точно внезапно включили пропыленный мотор. Тяжко переваливаясь через доски, плывун лился ему на плечо, давил земляным знобом, затекал к спине и в итоге лишь умножал злую волю к преодолению.

— Погибнут, комиссар, твои сапожки, — прохрипел кто-то сбоку. — Весь глянец к чортовой матери сойдет.

За спинами других Увадьев узнал Акишина; такая выпадала им судьба — встречаться только на несчастьях; пятнистое от грязи его лицо изображало натугу и заразительное веселье: бывалому этому старику ведомы были в жизни и не такие приключенья.

— Здорово, дед! Все пьешь, поди?..

— Маненько выпивам... Заклинивай ее, заклинивай,

колтушком забивай! — заорал Фаддей на парня, суетившегося с семиметровой распоркой.

Шпунтовины укрепили подкосами, нужна была особая сметка, чтоб не задеть никого в тесноте. Дыра уменьшалась, и, хотя поток плывуна не переставал, борьба с ним стала легче; четыре последующих крепи остановили его совсем. Шахта стала пустеть, пошли табачные дымки. Андрей Иваныч ругательно вызванивал новую смену; Бураго взглянул на часы; обе стрелки стояли на одиннадцати. Фаворов устало сидел у мотора, и, когда Бураго подошел к нему, он показался ему таким же старым, как он сам.

— Вам вообще чрезвычайно везет, молодой человек, — вразумительно сказал главный инженер. — Примите грамма полтора аспирина и попросите Сузанну Филиповну прикрыть вас ватным одеялом... я распорядился временно заменить вас Ераклиным. Ватное одеяло — великая вещь, молодой человек! — и, не дожидаясь ответа, вышел на улицу, ледяную, как его судьба.

Над рекой вылупливалась из облака луна, и вдруг в лесных отдаленьях, залитых бесплотным синим светом, длительный и знобящий, понесся волчий лай Бураго шел важно в направлении лая; сапоги его давили алмазы, а из каждого раздавленного возникала тысяча новых, и каждый был тысячекратно ярче прежних... Вскоре его перегнали землекопы, спешившие в бараки переодеться.

IV

Трудней всего давался последний метр, уставали и моторы, — работа круглые сутки велась с перегретыми подшипниками. Едва достигли уровня чертежной отметки, сразу обнаружилась последняя трудность: закончить возведение бетонного остова до начала мая, когда Соть выхлестнет из берегов. Неуловимые признаки весны дразнили в этом году Бураго с особой силой; он заразил и Увадьева обыкновеньем, вставая поутру, смотреть на градусник, привинченный за окном. Лиловая струйка все смелее взбегала вверх, к нулю, и до заветного рубежа, за которым враз откроются хляби, певчие глотки птиц и венчики первых цветов, оставалось не более полувершка. Страхи

были преждевременны. Соть просыпалась поздно, и, хотя все синее становились тени на снегу, еще не появлялось в мартовских полях слепительного мартовского глянца.

Окно новой увадьевской квартиры выходило на южную сторону: солнце гостевало здесь по утрам. В шесть желтый ромб света полз еще по бревенчатой стене: солнцем Увадьев пользовался, как часами. Когда он проснулся однажды, часы показывали восемь, — в отмену установившихся привычек он проспал начало дня. Зевая и потягиваясь, он щурился в голубой провал окна, одетый в пушистую раму ночного снега. Солнечный поток заливал ему ноги. Давно отцветшая шерсть одеяла пылала зеленым, и всему вокруг сообщался теплый, зеленоватый полусвет. В раскрытой его ладони тоже лежало приятное, почти весомое тепло, его можно было стиснуть в кулаке и унести с собою, в хлопотливые будни. Весна сигнализировала не этим; другая причина удерживала его в кровати дольше положенного срока. В это утро возраст его увеличился еще на год, и в путаную цепь ощущений, связанных с этим переломом, включился только что прерванный и непередаваемый словами сон. Опыт сорока отжитых лет давал — так ему нравилось думать — особую мудрость к неизрасходованному остатку, каждый предстоящий шаг, каждый глоток воздуха он ценил теперь вчетверо против той стоимости, которую придавал им хотя бы в юности.

Это праздное лежанье на спине и тугое, почти кристаллическое чувство телесной неуязвимости привело его к мысли, что можно и следует любить свое нескладное тело, начиненное слабостями и оттого целых сорок лет мешавшее ему по-настоящему предаться работе; его не пугала пятая декада, в которую он восходил этим утром. Он сжал кулак и снисходительно разглядывал его грубые пролиловевшие складки. «Ха, не плохой инструмент... Варварина выделка, увадьевская сталь!» И если б резануть его ножом по складке, на метр брызнула бы из пореза великолепная, клейкая кровь. Сон видел не он, сон видел этот кулак, сон о поверхности округлой, живой и более щелковистой, чем не порванная никогда паучковая паутина. Сон этот убедительнее синего реомюрова столбика возвещал о приближении весны.

Из кухни доносился дробный стук ножа, он вскоре прекратился, — наверно, дорезав лапшу, мать ушла в

кооператив. Солнечный ромб стал квадратом и, соскользнув с одеяла, придавал крикливую расцветку блеклым краскам тканого половичка. Теперь в цветистом этом пятне, как бы зевая, стояли грязные после вчерашней беготни увадьевские сапоги и терпеливо ждали хозяйского пробуждения. При первом же соприкосновении с сапогами призраки сна погасли; слегка поскрипывая и сурово пожимая пальцами ног, они повели Увадьева от термометра за окном к полочке на стене, где стояло кривое зеркало и лежала бритва. Самый факт существования бритвы вызвал необходимость пойти к рукомойнику, а вода толкала его за полотенцем. Привычный и последовательный распорядок вещей заводил пружину увадьевского дня.

Полуодетый, он натягивал на себя свежую рубаху, когда мать, неслышно подобравшись, приложила холодную, с мороза, руку к голой его спине. Отскочив, сын неодобрительно поглядывал на мать, — высоко приподнятые брови выдавали душевную ее приподнятость.

— Уйди, Варвара... переодеваюсь я!

— Я тебя еще голей видела: всей и красы-то фунтов десять было...

— Лучше бы пиджак заштопала. Сквозь дырку-то кость видна!

— Некогда, Вань: еду нынче... Ворот-то расстегни, разорвешь!

— По железной табуретке соскучилась? Смотри, так и застынешь, как Лотова жена!

— А мы костерик разложим... Искры-то вверх бегут, Вань, хорошо!

Сын стиснул зубы:

— Пора бы тебе уняться, Варвара. Старуха ты, много веку знала.

А мать смеялась, высокомерно косясь на сына.

— Погоди, я еще и внуков твоих рукастых нянчить стану... Хочу внуков! — Она сердилась, и сын отступил; единственная в мире, она умела вгонять его в панику. Вдруг она метнулась к окну. — В валенцах, а легко как идет!.. обожаю легкую походку.

Улицей, проваливаясь в наметенном за ночь снегу, шла Сузанна. На узкой тропке ей встретился Геласий, более похожий на захолустного дьячка в своем рыжем нагольном полушубке; сойдя с тропы и прикрыв лицо рукавом, он

пропустил ее мимо себя. Она не узнала его и прошла дальше. Увадьев продолжал стоять у окна: огромные сосульки, повисшие еще с одной январской оттепели, посылали тонкие розовые иглы ему в глаза. Потом он обернулся:

— Что ж, поезжай, мать! Тебе виднее...

...она уехала только через неделю, перештопав все, какие накопились, увадьевские дыры: больше на Соти не было нужды в Варваре. Сотьстрой открывал общественную столовую, и Варвара настояла, чтоб сын уступил ей по половинной цене ставшую ненужной алюминиевую посуду: надо же было с чем-нибудь возвратиться туда, в подвал, к барыне. Сын закинул в дрезину этот смешной и почти единственный варварин багаж, а потом подсадил и ее, она приняла с досадой его последнюю услугу. Впрочем, лицо Варвары сияло: молодило ее самое возвращение в жизнь. Минуту расставания не обременяли ни уговоры о письмах, ни лишние и жалостливые слова, только в последнюю минуту, когда уже завели мотор, она вдруг высунулась из дверцы:

— Дурные вести получишь — не приезжай, не люблю. И без того лежать тошно, а тут еще ныть почнут... — И откинулась на кожаную спинку сиденья, а сын понял, что она — про смерть.

Такою, с плотно сомкнутыми губами она и застыла в памяти Увадьева. Мерзлым голосом визгнуло железо, дрезина тронулась, и Варвара не высунулась на прощанье обнять единственную свою родню. Не было надобности и у сына махать ей вслед платком и кричать неминучее слово разлуки. Дрезина нырнула за перелесок, Увадьев повернулся спиной к железнодорожному пути и пошел домой.

В снежной тусклоте ранних сумерек он еще издали угадал свои окна; в них было темно. Он постоял, как бы примеряясь к раздрызганной множеством ног дороге, и вот, круто повернув, пошел назад. Ему незачем стало возвращаться домой так рано. Дежурный милиционер у ворот, только что видевший его уходившим, настороженно привстал, пряча что-то за спиною. Но дымок, виясь из милицейской ладони, обходными путями дотянулся до увадьевских ноздрей.

— Вы это какие курите? — спросил он с совершенным спокойствием.

Тот сжался под его пристальным взглядом и еще раз на всякий случай козырнул хозяину строительства.

— Папиросы *Пушка* курим... — одурело выдохнул он табачный залп.

Увадьев расширенными ноздрями втянул еще раз щекотный дымок и ясно представил себе дымящееся дуло милицейской папиросы, устремленное в него и грозящее выпалить забвеньем.

— Сам себя отравляешь... бросай, товарищ, бросай. Я вот уже давно не курю! — ...Наверно, убегал он все-таки от искусительного дымка, потому что по мере приближения к реке шаг его становился ровней и спокойней.

Неосознанная потребность влекла его в эту пору на реку. Прокатанная глянцовитая дорога пересекала спящую под снегом Соть: песок возили зимой. Две вороны, скрипуче болтая о своих вороньих удачах, спешили на ночлег к скитскому берегу. Увадьев поднялся на мыс и разыскал древнюю скамейку, на которой сидел год назад. Никто не встретился ему по дороге.

Тут, на распутье рек, всегда с особой силой резвился ветер, и нога легко прощупывала под тонким настом залубеневший травяной покров. Посбив с доски ледяную корку, Увадьев присел на краешек и сидел долго, с руками на коленях, пока не засияли огни Сотьстроя. Через полчаса мокрый снег стал заносить человека, сидящего на скамье. Плечи и колени его побелели, снег таял на его руках; он все не уходил, а уж свечерело. Колючим, бесстрастным взглядом уставясь в мартовскую мглу, может быть, видел он города, которым предстояло возникнуть на безумных этих пространствах, и в них цветочный ветер играет локонами девочки с знакомым лицом; может быть, все, что видел он, представлялось ему лишь наивной картинкой из букваря Кати, напечатанного на его бумаге век спустя... Но отсюда всего заметней было, что изменялся лик Соти и люди переменились на ней.

1928—1929

САРАНЧА

ПОВЕСТЬ

Маронов зевал: томила нудная расслабленность после многих суток бездельного вагонного сидения. Да и встретил его мелкий северный дождик, неотступный, как судьба, — такой же провожал и из Мурманска... Ему было холодно и скучно тут, на берегу Аму, под угревой консервных ящиков и керосиновых бидонов. А он-то, чудак, поверил в розовое и призрачное цветение тамариска, которое началось еще от Карши.

На предпоследнем полустанке он съел кебаб и теперь украдкой от спутников сковыривал с десен застылый стеариновый жир. Их было немного — бородачи в чалмах и тельпеках, женщины и дети; у них следовало ему поучиться азиатскому терпению, с каким они ждали запоздалой переправы. Они сидели недвижно, дети Азии, в особенности ближняя к Маронову женщина. Ветер обжимал красным платьем ее острые, почти девичьи, коленки. Она была молода и еще не привыкла к нарядной тяжести сммока; замужем она была недавно, и муж дремал возле, этакой немолодой туркменский Иван, с запухшими в трахоме глазами. Как и все, она сидела прямо на земле, важно и печально созерцая пестрый хурджум перед собою, точно в нем заключалось все прошлое ее народа и будущее ее самой. Ничто не отвлекало ее: ни единоборство ветра и могучей птицы, застрявшей на середине реки, ни внезапный из облачной расщелины луч остылого закатного света.

— А у нас, под Тулой, суше... — неожиданно крякнул Маронов, — хоть и не пустыня.

Ему хотелось этим возгласом пошевелить ее, взглянуть в глаза туркменки, но он увидел лицо ее мужа. Оно было

насмешливо и бесстрастно, а брови его были длинны и черны, как локоны его папахи.

Так и сидели, чужие. Ветер размел облачную гряду на западе, и вечер сделался кровав, как жертвоприношение. Бесплотный красный сок разбрызгался по небу, и тут на мгновенье Маронову почудилось, что Аму стала походить на ржавый меч, который извечно струится в пересохшее сердце Кара-Кумов. Но понесло холодом, и Мароновым снова овладела зевота. Нет, зря сюда переправлялся на древних гупсарах Александр; ему следовало устремиться дальше, на север, где нашлись бы и печи, и звериные шкуры. Видно, врали справочники и друзья, которых уже закидывал сюда партийный жребий. А он-то, чудак, ждал сразу томительных и жгучих обольщений, которыми издали пугает европейца и смертельно манит Орта-Азия.

По младости, он не участвовал в священной драке, которою открылась его эпоха. Он поздно созрел для жизни, когда революция уже укрепилась, а ему еще хотелось осязать неизгнившего врага, ударять и самому принимать сокрушительные удары. Ему сказали тогда: «Вот Азия, дерись...», и он поехал, уже в одиночку... Но где она? За весь путь от самой Бухары она проглянула лишь в вялой пестроте узбекских халатов да в жестком взгляде туркменского мужика. Да и Аму вовсе не та, которую обещал ему Клим. Просто глиняный великан моется где-то там, в отрогах Гиндукуша, и вот они возлегли на мароновском пути, бегучие желтые помои... Маронов имел достаточно времени для негодования: переправа подошла только ночью. Из недр речного мрака явилась деревянная развалина, скорбная ровесница помянутого Александра; подобно купающемуся кабаненку, буянил и фыркал на ней нефтяной фордзон.

В полночь Маронов крепко верил, что на коленях его навсегда останутся синяки, — так усердно прижимал он их к подбородку, пытаясь согреться. Ему снился он сам, его непостижимые странствия по земле, снился покинутый недавно океан и на берегу его давешняя туркменка; в ее пугливые веки, где затаились две звезды, уже всочилась мужняя трахома... Она не видит, и напрасно Маронов показывает ей ледяную пустыню, напрасно гладит робкие колени чужой жены, — она не слышит его прикосновений. Для своих лет он был на редкость решителен,

этот Маронов!.. А к полудню, когда зной опустился на городок, он забыл, как замерзал под брезентовым пальтишком и клял приятеля, сманившего его в это пекло, на азиатскую работу; забыл все, кроме сна. Зной наступил незаметно, в тот затянувшийся час, пока он пожирал коричневые пирожки, начиненные горохом и перцем; зной начался с неукротимой изжоги, и только получасом позже принялся стыдливо потеть его несколько приплюснутый нос.

Уже не тянуло отыскивать по жаре прокуренные те коридоры, куда все равно должна была привести путевка. После перенесенного в снегах и наедине с голодными собаками он заслужил свое право на целые груды этих свирепых пирожков, на бочки кок-чая, обжигающего несравненного напитка. Он требовал, чтоб раскрылось наконец то, что вчера было лишь прищурено: он завоевал свое право на зрелище, и все старались так, точно знали, что за ними наблюдает человек, доказавший миру свое мужество. Чайхана выходила на базар, и Маронов, не отрывая губ от пиалы, видел все те цветные лоскутья, из которых хаотически сшит был азиатский день.

...все старались точно заводные. Гражданин скоблил ножиком голову другого гражданина; подобная дегтю, кровь текла по лезвию, и оба в увлечении не примечали. «Привычка... а вот на севере свечи едят!» — лениво вспомнил Маронов и заново наполнил кок-чаем опустевшую пиалу. Пожилой туркмен, наверно, самый тощий на всем пространстве от Каспия до Аму, продавал коврик, у которого одна половина была трижды тусклее другой. «...Пока ткала, у мастерицы убили жениха!» — сочувственно решил Маронов и еще раз вкусил от пирожка. Под деревом, в кругу редких зрителей, пел бахши, и лоснящееся дерево дутара невпопад вторило ему. Он пел, всяко качая свою кудлатую папаху, то закидывая голову так, что через горло его можно было бы увидеть самое сердце, откуда исходил стонущий звук, то совсем наклоняясь к пыли, словно и муравья призывал в свидетели искренности своей и знания. «У туркмен нет танцев, — вспомнил Маронов, мысленно листая последнее климово письмо, — потому что танцуют самые руки их, инструменты и папахи. Вот он, танец для себя, который вы ищете, слепые, ученые черти!..» Его радовала пестрота

впечатлений, точно вот распахнулся ящик перед ним с волшебными игрушками; его даже смешила легкость, с какой он распутывал старинные азиатские загадки.

Словом, когда он покидал чайхану, внутренности его почти дымились, в голове как бы играли на оглушительной ребячьей трубе, и было стократ приятней вина это непреходящее обалденье. Азия была найдена! Мировое колесо, по заключению Маронова, вертелось вполне исправно. Безграничный океан материи слабо колыхался, и на голубой его волне ублаготворенно покачивался душевный поплавок Маронова. Ничто не предвещало близости того дня, когда, во исполнение мароновских мечтаний, враг множественный и явный подступит к воротам советской Азии; когда слепящее великолепие это поблекнет и засмердит; когда в действие вступят вагоны мышьяка, грохот железных щитов, чусары и безумие.

И цепь событий, в которой последним звеном было его второе рождение, начиналась, кажется, со встречи с терьякешем, курильщиком опиума.

На пороге чайханы к Маронову пристал унылый останок человека. Заслоняя проход впалой, безжизненной грудью, он молил о подачке, и было в том упорстве нечто, заставлявшее пристальнее взглянуть в его собачьи покорные глаза. Застигнутый врасплох, Маронов с брезгливой неловкостью шарил у себя по карманам... и вот тогда-то пришла в движение неподвижная дотоле цепь:

— Так-так, поощряй курение опиума в социалистической стране! — произнес знакомый голос позади.

Маронов испытал удивление, подобное легкому солнечному удару: после того, что случилось между братом Яковом и Идой, он не ждал от Мазеля этой легкой шутливой приветливости. Мазель знал Мароновых еще по вузу; они вместе поступали на агрономический факультет, но старший и неусидчивый Яков перебежал в музыкальный техникум, а потом раскидала их центробежная сила великой стройки. В особенности Мазель дружил с Яковом: тем сильнее было охлаждение, когда слишком усложнились их личные счеты. Как-то слишком скоро они без сожаления примирились с возможностью гибели друг друга. Вдобавок, незадолго до отъезда на север кто-то написал Якову о не совсем геройской смерти Мазеля, застигнутого басмачами ночью в песках, причем перечисля-

лись количество ран и обстоятельства этого нападения. Пером приятеля водило, повидимому, скорее стремление порадовать, чем правда... Ибо вот Мазель стоял возле в знакомой синей косоворотке, и в распахнутом вороте, на обгорелом треугольнике кожи сияли созвездия его знаменитых веснушек.

— Давно в Дюшакли?

— Вчера, Шмель, вчера.

— Надолго?

— Не знаю, Шмель, не знаю. Меня Клим совратил.

— Ты опоздал. Его перекинули в Казахстан... и потом у Клима скучища. Если захочешь, я перетяну тебя к себе. У меня округ, как на ладони, у меня весь хлопок. А хлопок — это уже ситец, а ситец — разве это не хлеб?

Петр прищурился.

— Я подумаю... Это, говорят, советский Каир. Ну, я и поехал сдуру!

Мазель не понял его иронии.

— Да, здесь вредное солнце. — Подвигал плечами и прибавил, как бы извиняясь: — На юге всегда бывает жарко!

Азиатский торг был в полном разгаре. Никто в отдельности не кричал о своем товаре, как подобало бы купцам, но трудно было в этой сутолоке вести даже и не задушевный разговор. Звон чайханной посуды, лязг безменов, полдневный вопль ишаков, шелест ссыпаемого риса и, наконец, зычные призывы базарного глашатая, который машистой походкой и с пророческим посохом обходил разноплеменную эту толпу, — все слилось в упругий, именно шмелиный гуд. Мазель происходил из крохотного местечка под Одессой, имя его было Шмуль, но товарищи прозвали Шмелем, — отсюда и заскользнул этот образ в мароновское сознание.

— Откуда?..

Маронов еле отскочил от глашатая, борода которого на солнце отливала зеленым.

— С Новой Земли, Шмель... и прямо сюда.

Тот недоверчиво прищелкнул языком:

— Опять шестиэтажная какая-нибудь авантюра!

— Шмель, ты знаешь меня? Я ищу драки. И потом — где есть земля, там должны быть и люди!

— Робинзоны! — усмехнулся снова Мазель на мароновское мальчишество. — А Яков, значит, вконец забросил музыку?

— Нет, у нас там был граммофон.

Мазель внимательно взглянул на Петра; ему почудилась издевка, порожденная какой-то сверхчеловеческой усталостью, но скуластое, полузырянское лицо Маронова улыбалось, и озоровато щурились зоркие знакомые глаза. Она слепила в этот час, неистовая азиатская палитра.

— ...и долго вы там?

— Три года, Шмель.

— Это, наверно, очень интересно?

— Как тебе сказать... Я понял, почему человек боится тюрьмы. Трудней всего переносить свое собственное общество. Тогда он постигает цену себе и может подсчитать, много ли накопила его душа. Оттого-то он и стремится к объединению с себе подобными...

Маронов смутился тихой мазелевой улыбки и не договорил. Чтобы объяснить, он хотел приступить, наконец, к своему невероятному повествованию, но Мазель перебил его:

— Постой... ты не спешишь? Зайдем ко мне. Я в отпуску и сегодня гуляю последний день. Дело в том, что жена моя не раз вспоминала... — Он подошел ближе и, глядя в самые губы Маронова, прибавил твердо: — ...о вас. Ей, наверное, будет очень интересно послушать ваши приключения.

Петр вопросительно пожевал свои губы; он по догадкам знал обстоятельства, в силу которых Яков поехал с ним на Новую Землю, и потому ему был не особенно ясен этот душевный оборот Мазеля.

— Хорошо. Но только пойдем по солнечной стороне. Я приехал греться, Шмель. Веди меня в самую Азию, в самое пекло веди. Иззяб я в этой чортовой тундре...

— На севере, должно быть, холодно, — тихо вставил Мазель.

— Вот именно... ты всегда прав, Шмель, тебе нельзя возражать! Знаешь, бывали часы, когда мы дрожали так, что тряслась посуда на полках. Мы не разбирали слов друг у друга, мы мычали. Ты смеешься?

— Нет, Петр, я не смешлив.

Тесный дворик, обсаженный тутовником, заливало

солнце. Огромная, размером с комод, собака дремала в тени глиняного дувала. Черные мухи вились над ней. Мазель свистнул ей, и та, не просыпаясь, вильнула хвостом. Потом он спросил, остановясь как бы затем, чтоб приласкать собаку; Маронов не видел его наклоненного лица.

— Кстати, я хотел спросить... Яков приехал вместе с тобой?

— Нет, Яков умер год назад. Цынга пополам с тоской!

Мазель кашлянул и продолжал гладить собаку.

— Разве не было лекарств?

— Нет, мы пили отвар сосны... Это все равно, что при оспе мазать иодом ножки кровати.

— Мне жаль Якова, — сказал Мазель просто.

— Не горюй, Шмель, будь искренен!

— Мне очень жаль Якова, — повторил Шмель, поворачиваясь лицом к Маронову.

Больше они не обменялись ни одним словом о Якове, ни в тот день, ни в один из последующих. Открытую дверь, кроме собаки, сторожила кривая усатая швабра. В сенях на кирпичном полу стояла непросохшая лужа, и пахло мыльной пеной. Комнату делила повешенная наспех простыня; жена Мазеля одевалась за нею. Из-под простыни видны были ее голые до колен ноги, стоявшие на скомканном и мокром полотенце. Петр почти с испугом вспомнил вчерашнюю туркменку: это лишало его той уверенности, которая потребна была для предстоящего разговора.

— Тебе звонил Акиамов, — сказала женщина, узнав шаги мужа. — Он просил тебя зайти.

Мазель подошел к самой простыне:

— Ида... — голос его звучал виновато, — не волнуйся. Приехал младший Маронов и привез дурную новость: полгода назад умер Яков.

— Год, — деловитым баском поправил Петр.

— ...год? Да, извини, год.

Никто не отозвался на известие, но Петр видел, как черный целлулоидный гребешок упал по ту сторону простыни. Ни муж, ни жена его не поднимали. Потом женщина сказала глухо:

— Я сейчас оденусь. — И даже простыня не колыхнулась.

Петр стоял у окна. Он был юн и соответственными эмоциями начинен доотказа; все эти пустячные детали

представлялись ему бесконечно значительными. Он обернулся к окну и изобразил на лице достоинство печального вестника... В город вступал караван, длинный и пыльный — наверно, из Афганистана. На ишаке, болтая ногами в опорках, ехал караван-баши. Лицо его не выражало ничего; может быть, он мысленно пел. Разнозвучно, качаясь на облыселых верблюжьих шеях, плакали и кричали колокольцы. Все звуки в городе умерли, и только эти осколки древнейшей человеческой мелодии волновались и цвели; их можно было насчитать две октавы. Маронов глазами проследил поводыря, пока тот не скрылся за величественной глиняной кулисой. Ему показалось, что он уже слышал однажды эту музыку, не то в выветрившемся детском сновиденье, не то... Ему некогда было вспоминать: наступала минута, для которой он примчался в Среднюю Азию. Кроме того, усилилась пыль, поднимаемая тысячами верблюжьих ног, и Маронов спокойно закрыл окно.

Потом, когда он оглянулся на хозяина, того уже не было в комнате.

— Он пошел к Акиамову. Это председатель исполкома. Ну, садитесь. Вы брат Якова? А не похожи... — и качнула головой.

— Я много моложе его. Шмель хороший парень! — сказал Петр.

— Хотите сказать — догадливый? — подсказала женщина без всякого упрека. — Что же, вы встретили его случайно?

— Не совсем.

— Значит, имеете прямые поручения?

— Нет, — солгал он.

Она подумала.

— Ага, любопытно. Ну, вы сделали довольно большой путь.

— Да, это даже по глобусу три с половиной вершка. Сказать правду, мне интересно было взглянуть на женщину, из-за которой Яков метнулся на Новую Землю.

— Но ведь вы также поехали с ним. У вас были похожие обстоятельства?

Маронов как будто даже обиделся и потупился: такой уже выработался у него рефлекс — при обидах опускать глаза.

— Я был здоров, искал драки и ищу. Республика пошлет меня завтра на Мадагаскар — и я буду счастлив.

Женщина улыбнулась на многословную приподнятость младшего Маронова: как все-таки они не были похожи друг на друга, братья!

— Скажите, Яков умер... сам? — Она не волновалась, произнося это имя.

— Нет, от цынги. Видите? — он приоткрыл десны, и отраженное солнце щедро блеснуло в золоте его зубов. — Одного товару рублей на триста!

Она уже привыкла к мароновскому стилю.

— Да... ведь это началось у него давно, еще в те годы, когда люди вообще бывали склонны заболевать тифами, ненавистями, несбыточными любовями...

— Пустяки, Яков был достаточно трезвый человек. Вы знаете тот случай, когда он попал в деникинскую контрразведку?

— Да, я читала. — Она пристально поглядела на Маронова и решила, что единственное сходство с Яковом — в том резком жесте, которым оба как бы подсекали произнесенные слова.

Она спросила, только чтоб скрыть маленькое свое смущенье:

— Как все это случилось?

— Сколько у вас есть времени... слушать?

— Куда же мне итти с мокрой головой!..

— Хорошо. Я поехал туда по контракту... За три дня Яков пришел ко мне ночью и попросил взять с собой. Я посидел с ним двадцать минут и понял, что ему это действительно необходимо... — Маронов бессознательно коснулся пальцами редковатых усиков, оставленных на верхней губе, и сконфуженно отдернул руку. — Он ночевал у меня, а наутро мы подписывали с ним какую-то бумагу со множеством пунктов. Нам давали полтораста собак, ружья, бочку масла, тулупы, консервы, бинокль, разборную избу, метеорологическую станцию, керосин, аспирин и ящик апельсинов.

— А книги?

— Я взял с собой много чистой бумаги. У меня были особые намерения на этот счет. Я хотел написать знаменитую книгу, содержанья которой я пока не знал.

— Нет, я спросила про Якова.

— У него не было никаких вещей, кроме одеяла. У него был полосатый плед, под которым он спал... вы, конечно, помните его? — Она покачала головой и простила ему его дерзкую, стремительную юность. — Когда пароход отходил, оставив нас на берегу, мы завели граммофон и сели на голых новоземельских камнях: нам казалось, что так смешнее. Был четверг, шел снег. Собаки выли, мужчины были пьяны.

— С вами были и женщины? — быстро спросила Мазель.

— С нами был один самоед из-под Мезени, величайший трус земного шара. Он боялся всего и, когда встречал человека в тундре, за версту обходил его. Он действовал у нас за кухарку. Мы звали его Марией. Напившись водки, он начинал суеверно плакать; тогда он трусил даже своей тени и жался к стене, чтобы убавить ее размеры.

— Ну!..

— На пароходе зазвонили к обеду, и мы на берегу стали тоже готовить себе пищу островитян. Граммофон играл что-то из Шуберта, — так сказал Яков. Он очень любил это, даже во хмелю. Снежинки крутились на черном граммофонном блине. Яков смотрел на них, поглаживал подбородок и молчал. Когда мы с Марией кончили варку, пластинки уже не было. Я не отыскал ее и потом; подозреваю, что брат закинул ее в море. Так он простился с миром. Кстати, с этим пароходом он послал вам свое последнее письмо. Вы получили его?..

— ...но не прочла.

— Это ваше право... ладно! Тогда мы начали жить, то есть немножко рисковать, — давить песцов силками, собирать гагачий пух для республики, изучать направление льдов и ветров и записывать все это в довольно толстую книгу; там были еще графы для температуры почвы, для количества влаги в водомере и для... да, для воздушного давления этих свинцовых небес. Сказать правду, нужно иметь хорошую волю, чтобы три года подряд иметь своим собеседником только самого себя: Яков, как вы знаете, был неразговорчив! К слову сказать, барометр всегда показывал меньше, чем было у него на душе... Постепенно мы подружились с братом. Он был неплохой, но

довольно порывистый человек; сила его была нестойкая сила. Шмель — не то: у него и маленькая, но неиссякаемая, как струйка в водопроводе... Мы поняли, что Новая Земля никогда не станет Старой; там жить закаленным в разного рода испытаниях, а не тоскующим горожанам. Скалы были усеяны гнездами гагар; мы по очереди спускали друг друга на отвесе и шарили по их гнездам... Потом снега повалили исправнее, и однажды, возвращаясь домой, мы увидели двух белых медведей. Они вышли к нам чуть не в обнимку, ровные, как братья, спокойные. Я выстрелил по ним дважды, но они, по счастью, не заметили. Слушайте, мои слова тают от этой жары, холод их пропадает. Чтобы понять хорошо, надо своими глазами видеть тот ледяной океан, расплеснутый, как отчаяние, небеса, залитые пылающим фуксином, и, наконец, ночь, достаточную, чтобы сойти с ума... — Он сдержался от какого-то резкого суждения и тыльной частью ладони вытер испарину со лба. — У вас еще не просохли волосы?

— Нет, но откройте окно. От пыли в Азии не укроешься. Стало душно.

Петр кивнул головой; все двигались в окне азиатские, голова в голову, корабли, связанные шерстяными веревками, подобные воспоминаниям. Густейшая пыль придавала странную замшевость этому видению.

— ...ладно, мы жили неплохо, я не имею претензий к своим хозяевам. Богатства наши копились... мужья европеянок заплатят великолепными машинами за наши удивительные меха. Даже когда нам бывало скверно, мы не забывали про эти машины... Так шло, но через год и четыре месяца у собак началась горлянка... Кажется, так там называется собачий дифтерит. Мы растерялись; их умерло сразу семьдесят пять, а мы их знали всех по именам. Тогда самоед сказал: «Собаки дохнут, и мы все докуримся, как цыгарки...» Мы накричали на него, как никогда, потому что в сущности кричали на самих себя. Мы дали ему побольше водки и, пока он пил, а воздух тоненько свистел у него в ноздрях, мы отправились, как обычно, в обход расставленных капканов и силков. Все они были пусты, а в одном чудом оказалась птица. Была какая-то необыкновенная розовость в мире, мороз доходил до сорока восьми. Когда мы вернулись, продрогшие и успокоенные, самоеда не было, а печь стояла нетоплен-

ной; у Марии была женская душа, Мария боялась умереть. Она сбежала и увезла с собой многое из наших припасов, наш порох, наши лекарства. Мы замечали и раньше, что Мария зашивала таблетки аспирина и каскары в ладанку и носила на шее как амулет, — и правда, она никогда не болела. Мы смеялись, — теперь он мог снабдить амулетами целое племя, — но смех не доставил нам утешенья. Он увез все это на последних собаках в окончательную неизвестность и гибель, потому что никаких поселков вблизи нас не было. Вот тогда-то и наступила ночь. Собственно, она пришла ровно за месяц до того, как началась другая, полярная, шестимесячная. Знаете, это очень сильное испытание. Мы пережили их две; третью я проводил уже один... Мы затопили печь, поели из оставшегося и посидели молча; потом я пошел на метеостанцию записать погоду. — Маронов заметил вопросительный блеск в глазах женщины и догадался. — За все время он только раз произнес ваше имя. У него уже не было зубов, оно вышло, как «Иза». Но я услышал о вас еще раньше, — когда он доказывал необходимость своего отъезда куда-нибудь на чортовы кулички. Тогда-то мне и захотелось поглядеть на вас. Не сердитесь на меня, я думал, что вы моложе...

Концами пальцев она растерянно провела по глазам.

— Да, я постарела. Наше поколенье не знало юности. Вы, Маронов, исключение. Много работы!

— Много работы, — повторил Петр. — Ну, волосы ваши высохли. Подробности той ночи я опускаю... — Он хотел подчеркнуть и не сумел только выразить, что все, происходящее не при дневном свете, освещается светом изнутри и оттого всегда крайне субъективно. А ему именно хотелось по возможности центрофугировать новоземельский факт.

Мазель не ответила. Пряди черных, чуть курчавых волос рассыпались по ее шее и загорелым несколько полным плечам: женщина старела. Маронов взглянул на нее, и ему почему-то захотелось пить. Тощая рука высунулась из рукава и, гомерически распухая в суставах, схватила свое собственное отражение в стекле. Потом рисунок рук и головы расплюснулся, графин наклонился, и жидкость полилась в стакан. Маронов пил жадно, заглатывая воздух вместе с водою. Вероятнее всего, то была попытка

заглушить вулканическое действие азиатских пирожков. Графин опустел, и отражения приняли прежние, привычные глазу размеры.

— Теперь говорите вы. Почему вы ушли от Якова?

— Перестала любить, как это говорится.

— Это происходит так быстро?

— Вы юны, Маронов, и вам еще предстоит объехать дюжину житейских Мадагаскаров. Наше поколение живет для другого... мне стыдно объяснять, ведь вы же грамотны! Мы избегаем произносить самое это слово не потому, что огрубели, а потому, что слово это — слабость. Поэтому, если мне потребуется, я просто сойдусь с Акиамовым, с Зудиным, с вами... без всяких терзаний и сердечных прободений. Ну, кажется, я совсем запоздаю на работу! — И, даже не извинившись, ушла за простыню.

Петр встал и дерзко поклонился.

— Располагайте мною, когда угодно.

И опять простыня не колыхнулась.

Все еще тянулся караван в окне; верблюды шагают еще ленивей, чем тягучее азиатское время. И опять Маронов слушал громоздкий плач колокольцев и деревянных иссохших бубенцов. Вдруг он вспомнил: он услышал его впервые, когда, шатаясь от истощения, он кружил за голубым песцом, попавшим в силок. Надо было убить зверя ударом сапога в нос, чтобы не испортить драгоценного меха, но даже и на то, чтобы вытащить ногу из снега, нехватало силы. Это была та же самая ранящая мелодия, но тогда она цветными кругами выделялась через уши и глаза... и вот, обойдя громадные пространства, она новой щемящей тревогой возвращалась в Маронова. Он не бежал от судьбы: сам он сказал про себя, что вколочен в Азию, как гвоздь, и не существовало в мире клещей, чтобы вырвать его с избранного места. И когда из-за последнего верблюда показался бегущий к нему человек, Петр снова почувствовал себя заряженным аккумулятором.

Он не ошибся: судьба бежала именно к нему.

— Маронов? — крикнул тот и уперся в подоконник руками, чтобы перевести дыхание. — Товарищ Мазель просил вас немедленно притти в исполком, к Акиамову!

— Что случилось? — вздрогнул Петр и даже сам не приметил, каким именно способом он сразу оказался по ту сторону окна. — Что, наконец... война!..

— Нет, телефонограмма! — И потащил Маронова за локоть.

Петр не сопротивлялся. Вдруг стало так, словно никогда в жизни не существовало Якова Маронова и его необыкновенных приключений на Баренцовом море. Ежеминутно в сердце страны вливалась новая кровь, а старая, отжитая, без сожаленья выплескивалась наземь...

Память о брате была первою вещью, которую, вместо балласта, выкинул Петр, устремляясь в новые рейсы.

Безыменный пограничник с поста Сусатан-Кую увидел бурое облако возле самого полдня. Оно равномерно и быстро поднималось из-за плешивых холмов, которые со всех сторон обступают горизонты Сусатана. Оно багровело по мере приближения, и потом враз, как по сговору, завыли две красноармейские собаки. Стало темно, как в сумерки. На потускневшее небо, опустившееся до высоты двух деревьев, пограничник взирал очумело, ибо под Дюшакли его перекинули с Сахалина, где никогда не случалось такого. Вдруг по козырьку его вскользь ударило что-то, и легкий этот удар почти ошеломил воображение пограничника. Он поднял *это* с травы. Оно было розово и чуть желтовато в надкрыльях; оно имело усы, как у кузнечика; лапки были желтые, с черной жесткой бахромкой; они двигались и щекотали огрубелые красноармейские руки... Он разглядывал *это* долго и со всех сторон, а оно все жило и копошилось, а туча неслась, нарастая и темнея цветом, распространяя деловитый шелест и гнетущую тревогу. Самый свет затмевался, и скоро в зрительном сознании пограничника не осталось ничего, кроме этого розового существа, которое явно умирало на его ладони. Затем, точно пробудясь, он гадливо вытер руку о траву и произнес ту самую фразу, которую два часа спустя кинул и начпогранотряда Зудин в кабинете Акиамова.

— Чорт знает, какая пакость!

Акиамов был огромен, желт и волосат; это его деды старозаветными клычами отбивались на Геок-Тепе от искусных скобелевских пушек. Предисполкома читал донесение из района и подчеркивал каждое слово толстым красным карандашом. Так, пламенея, бумага намекала

ему на необходимость своевременного отвода подкулачников из аулсоветов ввиду предстоящей перевыборной кампании. Он хмурился. Туркмения тех лет имела столько фронтов, сколько было месяцев в году; он хмурился потому, что Мазель уже полчаса терзал его слух историей батрака Хош-Гельды. Он хмурился, но обычная усмешка сочилась из его туркменских глаз, медленных и чуть закошенных назад.

— ...и никто не знает, где у него разум. Он всю жизнь ел отбросы и только в праздник — унаш, лапшу с верблюжьим молоком и красным перцем. Зимами он гонял хозяйские косяки на колодец Халли-Мерген. Товарищи, а? Веснами он уходил на удой скота без жратвы и кибитки. Он носил свой тулуп, пока от него не остался один клок шерсти, в котором не удержится и вошь. И вот Хош-Гельды в совете. И бай зовет в гости Хош-Гельды. И тот приходит и ест вонючую шурпу из прошлогоднего мяса и уже забыл про все обиды. Я говорю ему: «Сакали, он тебя сносил, как тулуп, в котором мерзнул еще и твой отец». Я говорю...

Его рассказа о забывчивом батраке хватило бы на час, ибо тот происходил из Кендерли, где находились главные хлопковые плантации Мазеля. Акиамов продолжал дырявить бумагу, а Зудин, самоотверженно борясь с зевотой, перебирал пограничные сводки, только что полученные с нарочным. Вдруг худое и белесое лицо его сморщилось и, когда распрямилось, уже не было прежним. Если бы не бланк высокого учреждения, начальник погранотряда решил бы, что красноармеец от жары и скуки высидел такую чепуху, но начальник умел читать своих бойцов, как книгу, и знал заранее, что́ поместится в любых обстоятельствах на той или иной странице. Сусатанский пограничник был родом из-под Шенкурска, где не родятся шутливые и улыбчатые люди; кроме того, он был известен как отменный мастер кавалерийской рубки. Обычно он ударял в левую ключицу врага, и скошенная часть легко, как по смазке, сползала наземь. И вот начальник Зудин решил, что пограничник смутился — или не оказалось налицо вражеской ключицы, или пришелся впустую его добрый сабельный удар.

— Читай, Берды! — озабоченно сказал Зудин, расстилая сводку перед Акиамовым.

— «В ваш район из Афгании летит розовая туча», — прочел предисполкома, а Мазель так и остался сидеть со ртом, раскрытым на полуфразе. Акиамов посмотрел на обороте, но там не было ничего, кроме жирного отпечатка чьего-то чернильного неосторожного пальца. — Красиво пишет, сукин сын... но почему розовая?

— Ты не понимаешь, Берды?

— Замэчательно интересно. Что я, факир? — Может быть, он пугался произнести это ответственное слово, которое через неделю нарушило привычный ход вещей и всколыхнуло всю Туркмению.

Зудин объяснил. По должности своей он понимал все тайны вещественного мира и уж тем более необыкновенную сусатанскую сводку; доблесть красноармейского красноречия заключалась тут в его краткости. Акиамов отложил карандаш. Очередные дела сами собою отодвигались назад, а впереди все одинаково чуяли величайшую из драк и несравненную людскую сутолоку. В минуту этого сосредоточенного молчания и вошел Маронов. Он четко поздоровался с порога, ему не ответили, а Зудин по-военному подозрительно пощупал его коротким взглядом и снова спрятал глаза, — так в ножны прячут боевую шашку.

Мазель спросил сразу, пряча под шуткой свою тревогу:

— Петр, вот что... ты занимался когда-нибудь энтомологией?

— В детстве собирал жуков. На них клев хороший по осени... — засмеялся Маронов, не догадываясь ни о чем.

— Уже да́, хорошо!.. и потом, ты ведь был на агрономическом. Товарищи, это и есть Маронов, о котором я давеча поминал. Он ужасно иззяб там, на Шпицбергене... так, кажется? Товарищи, я поеду туда сам, а со мной Маронов. Хочешь ехать в пекло, Петр? Зудин заготовит пропуска...

Маронов недоуменно молчал, и втайне Мазель был очень доволен его молчанием.

— Видите ли, ужасная бедность в людях. Нет людей...— сказал Зудин и неопределенно махнул на окно, за которым кишмя кишел базар.— На весь округ пять агрономов, и один из них безвыходный алкоголик...

— Но я, так сказать, не полный агроном! — предупредил Маронов.

— Это неважно. Высидели же вы три года на этом, как его... Шпицбергене?

— Да, Шпицбергене,— торопливо подтвердил Мазель.

— И потом,— продолжал Зудин, уставляясь в мароновское переносье,— кажется, я встречал вашего брата в Ташкенте в девятнадцатом году, при осиповском восстании. Самые приятные впечатления. Он такой маленький, с бородкой?

— Ну, уж ты, сердцевед! — дернулся Мазель. — Что ты за ним ухаживаешь! Петр не член партии, но это наш человек! Яков же даже и усов не носил, а южнее Урала не выезжал. Словом, он вот о чем, Маронов: хочется тебе побыть в пекле, о котором ты просил? Есть такое теплое местечко на земле, Кендерли!

Петр сказал с возможной четкостью:

— Да...

Тогда никто еще не предполагал, что через две недели Маронова все равно захлестнула бы мобилизация. Ни один человек в стране, включая и дюшаклинских старожилов, не мог предсказать размеров предстоящего бедствия.

Пауза длилась долго. Вдруг Мазель вскочил, поочередно устремляя палец в каждого, кто находился в эту минуту в акиамовском кабинете:

— ...а египетский хлопок, что будет с моим хлопком? Ведь Сусатан — это сорок километров. А мои пересадочные опыты? А урюк, а тут, а миндаль?..— Прокричав все это и не встретив видимой поддержки, он несколько сконфуженно сел на прежнее место.

Разумеется, он не напрасно пугал и шпорил себя и других. Правда, до Сусатан-Кую было пятьдесят семь километров. Сусатан-Кую лежал на самой границе. Сусатан-Кую — значит колодец, который продал воду. Названию этому нельзя было отказать в живописности: границей местечка служил глубокий безводный арык. В этой омертвелой жиле скрыто бегали ящерицы и росла нелюдимая бурьянистая трава. Именно здесь кончался богатейший Дюшаклинский оазис, а дальше простиралась диковатая страна Афгания — по слову давешнего пограничника, — откуда время от времени налетали лихие колтоманские шайки и жгучие, пыльные ветры. Первые несли на себе

новехонькие одиннадцатизарядные винтовки: они рыскали по пустыне, они вспарывали породистых маток в погоне за каракульчой, они били из-за углов советскую пограничную стражу и, нападая, кричали: «Бас, дави!» — откуда и прозванье басмачей. Вторые несли в своей утробе засуху, зной и томительную, всепроникающую пыль; они выпивали дехканские арыки, они вылизывали скудную туркменскую воду, они норовили прорваться вглубь, в самое сердце Кара-Кумов. И если не останавливали их встречные ветры или слабые дымчатые отроги Кугитанга, черные вихри гуляли тогда по пескам, и вся пустыня завивалась в космы, как каракулевая шапка. Тогда и географический контур Туркмении, издали похожий на каракульчовую шкурку с оторванными лапками, получал себе могущественное оправданье.

Теперь из недр Афгании, дорогой ветров и басмачей, выступила саранча.

Мазель в сопровождении Маронова выехал из Дюшакли только шестнадцатого мая и, найдя свой хлопок в превосходном здравии и целости, соблазнился проехать кстати и те двадцать два километра, которые отделяли Кендерли от Сусатан-Кую. Они ехали верхом вдоль знаменитого оросительного канала, ветерки продували свежестью палящий зной, и Мазель всю дорогу повествовал Маронову о воде. Нет, он был все-таки не без диковинки человек; говоря о воде, которая однажды заторопится в пески, он заметно добрел; упоминая имя Карабая, делателя боссагинской воды и угрюмого мечтателя, он благоговейно подмигивал; касаясь Транскаракумского канала, который пока не был проведен даже и на бумаге, он становился невыносимо великодушен. Он имел карманную книжечку, в которой аккуратнейше расписывал самые мельчайшие дольки своего дня, но вместе с тем верил этот Шмель, что непременно настанет день, когда, уже седые, они поедут вдвоем с Карабаем в лодке по пустыне, и на берегах будут стоять чудесные сады, всегда раскрытые настежь для Карабая и его безвестного спутника. Следует отметить, что помянутые сады он мыслил все-таки вперемежку с хлопком.

— Орта-Азия, Петр, это очень много! — пел он, не

обращая внимания на улыбки Маронова. — Взгляни на эту величественную громаду и сообрази, на какую мелочь разменяла бы ее прежняя история, кабы не мы... — и обводил рукой пространства пустыни, подступавшей к самому каналу. — Но пробуждение это требует умного хирургического вмешательства. И пусть это будет Транскаракумский канал. И пусть здесь будут ловить рыбу, в этих песках. И пусть здесь родится необыкновенная прохлада. Это будет тоже часть прямой, ведущей к социализму. А что — ты слышишь? — водой уже пахнет!

— Засадят вас, чудаков, за ваши необузданные и к тому же бесплановые мечтанья,— смеялся Петр над его упоеньем.

— Пустяки... три года за Транскаракумский канал, ибо примут во внимание беспорочность и пролетарское происхождение. О, мы! — Вместе с тем он чрезвычайно пожимался, ибо не был привычен к верховой езде; лошадь его чуть не заступала распущенных поводьев и дважды обрывалась в арык, глянцовитый от водного изобилия.

В Сусатане цвела джуда; ее могучий аромат был сильнее пыли. Красноармейцы играли в городки, сытые кони храпели в стойлах. И все это благолепие было лишь искусной маскировкой беды, которая, обманув фланги, ударила фронтовой атакой в лоб республики. Того же числа, в час чрезмерного мазелева торжества, огромная кулига саранчи перелетала границу под Кушкой и, минуя станцию Сары-Язы, входила в южные Кара-Кумы. Часом позже другая летная кулига надвинулась на безоблачное небо Сурназли, за четыреста от Кушки километров. Двигаясь без перерыва, она двое суток закрывала плывучее эрсаринское солнце. Ночь застала ее в пути. Кулига опустилась на ночлег, расположась в полях и на деревьях, избегая, однако, самого селения. Стояло полное безветрие.

Все население, включая стариков и детей, вышло в поля с фонарями, у кого были, с коптилками и всякой гремучей домашней утварью. Стоя у межи, они били в тазы и ведра, махали палками, толклись на месте, крутили детские трещотки, пытаясь распугать упавшую с неба беду, но этот оглушительный грохот более пугал их самих и скот их, нежели негаданную гостью. Насекомые слепо прыгали из-

под ног дехкан, всползали на халаты, жирной грязью налипали к подошвам, и вдруг раздался визгучий крик. Кричал какой-то старик, забравшийся в самую гущу джугары с чугунным котлом, чемгой, в которую остервенело ударял канкыром; кричал он, закрывая лицо руками от саранчуков, облепивших его до макушки. Вопль его был тонкий и пронзительный, он заглушал даже ревучую музыку той ночи, все замолкло, и только тихое победительное царапанье потревоженной кулиги наполняло тишину. Попытка дехкан была напрасна. Гость сидел прочно: миллионноголовый, он летел издалека, он устал, он хотел спать и не собирался уходить несытым от хозяйского стола. Но на рассвете, обезобразив Сурназли, розовая кулига улетела; согласно сводке чрезвычайного уполномоченного по борьбе с саранчой — чусара, она ушла в направлении на Хакан-Кул, Дзерген и дальше, в песчаную неизвестность северо-востока. Сводка не означала ничего: пути кулиги не были прослежены до конца, а Узбекистан пока еще не получал афганского подарка.

В пески уходили разведки; в первые же дни тревоги их было отправлено семнадцать. Они плелись по зыбучим бескрайным пространствам, переваливая с бархана на бархан, и следы их тотчас же срастались позади. Саранчи не было. Разведки вторгались на сто километров вглубь, доходили на севере до самого Аджи, видели девственные саксаульные рощи, ящериц и сусликов в них, неуловимых и проворных, как галлюцинация, — саранчи не видели. Пустыня пронизывала их ночным холодом, опаляла полуденным зноем, пытала жаждой, потому что вода их иссякла или протухла, а лица их растрескались и напоминали камни, много полежавшие в очаге. Саранча исчезла. По карте, они находились в расположении Дукер-Кую, но колодца этого и воды его не оказалось на месте, потому что Дукер значит плевок, а плевок мог и высохнуть. Лишь на обратном пути, усталые и виноватые, они нашли двадцать четыре гектара со свежеотложенными кубышками. Разведчики с жадностью собирали из-под осыпей, из-под кустов и корней дохлые образчики врага, начальники обмерили зараженное пространство и неохотно повернули вспять.

Их ждали с нетерпением, а они пришли почти с голыми руками.

— Разрешите вам научно представить эту дрянь,— докладывал один энтомолог местного происхождения, потроша на бумажке мертвое насекомое перед дюшаклинскими властями.— Переднеспинка, обратите внимание, имеет характерный коричневый тон, переходящий на боковых лопастях в розово-желтый. Вся поверхность, знаете, да-да, в неправильных точечных морщинках и круглых бугорках. Всем видно? Длина тела пятьдесят семь миллиметров, задних бедер — двадцать шесть, усиков — семнадцать, а число члеников на усиках... простите, одну минуточку! — Он наклонился с лупой и пинцетом, не обращая внимания на злые лица дюшаклинских властей.— Число члеников ровно двадцать восемь! Итак, судя по крупности тела, это несомненная, знаете, самка, да-да. Экземпляр был найден уткнувшимся головой вниз. Обратите, кстати, внимание на зубчатые края мандибул...

— Хм, мандибул?.. — переспросил тихо Акиамов, а руки его, большие и синие, как конина, слегка двигались.— Замэчательно интересно...

— Погоди, Берды,— прервал другой туркмен, председатель той части пустыни, которая входила в Дюшаклинский округ.— Сколько поколений в лето?

— Простите, я не кончил, знаете, да-да...— скривился энтомолог.— Теперь произвожу вскрытие брюшной полости. Очень характерны потемнение нижней части брюшка и общая его дряблость. К моменту смерти жировое тело исчезло, полость наполнилась... что-с?.. э, темнокоричневой жидкостью. Кубышка яичек оказалась неотложенной, и самые яички не дозрели; полагаю, знаете, да-да, эпидемия эта того же характера, которую наблюдал Гаррель у мексиканской саранчи и приписывал патогенному действию, знаете, да-да, коккобасиллус акридорум.

Это соответствовало правде; афганские купцы рассказывали накануне, что громадная кулига прилетела из Ширама в Андхой и дохла на пути,— под каждым деревом ее набирали мешка по два. Совпадение это дразнило слабой надеждой, что дело обойдется как-нибудь без вмешательства властей.

— Интересно,— заговорил Акиамов, уже назначенный из Ашхабада окружным чусаром.— А нельзя твоего этого... акридора искусственно развести, скажем, в бутылках... И потом машинкой прыскать его на воздух?

— Науке это не известно,— твердо ответил энтомолог; как презирал он тогда всех этих грубых практиков, не вникавших в романтику дела и требовавших немедленного результата.

— Ну хорошо, а как его фамилия? — еще спросил окрчусар, тыча карандашом в жалкие остатки саранчука, присохшие к бумаге.

— Это... вы про латинское название? Точного названия не имеется.

Все замолчали, ибо не знали, о чем можно было еще спросить его неприступную науку.

— Ну, а тоска по родине у ней есть, у саранчи? — искательным голосом спросил Мазель.

Энтомолог,— а он действительно был из захудалых самородков,— выпятил губу.

— Простите, я вас не понимаю.

— Эх... ну, например, я! Из-под Одессы я. Тут я уже прыгаю шесть лет, привык, а все тянет меня туда, назад, где, так сказать, папа и мама. Я и рассчитываю так: ну, съест она тысячу гектаров, даже две...— лоб Мазеля внезапно вспотел,— три, чорт вас возьми, три!.. а потом соскучится по родине и опять домой, нах хаузе, а?

Энтомолог благосклонно улыбнулся.

— Науке это не известно.

Акиамов медлительно шарил на подоконнике свой картуз.

— А что же, собственно, известно вашей науке? — спросил тихо Зудин, выстукивая пальцами в стол, а лицо его говорило: «Ты ешь советский хлеб, так подгоняй же свою слюнявую клячу!»

— Во всяком случае обязательные постановления власти о минимуме уважения к науке ей известны! — И, блеснув глазами, оскорбленно стал рассовывать по карманам свой несложный инструмент, для лупы же у него имелся замшевый мешочек.

Туман первоначального смущения не рассеивался. Туркменский народ знал марокккскую кобылку; она шла из сухих ашхабадских предгорий и глинистых полупустынь; в двадцать седьмом ее разбили почти одновременно с бандами Джунаид-хана. Он знал азиатского прусика, который временами стихийно возникал в Голодной степи, на солонцах и в зарослях тугая; этот пожирал ровно

столько, чтобы вывести свое отвратительное поколение и умереть. Народ слышал даже про эпиляхну, озимую совку, паутинистого клещика — грабителей хлопчатника, виноградников и бахчей, но никто еще не переживал такой, почти библейской, напасти.

Наивные догадки, что Гератская провинция задержит основную лавину саранчи, не оправдались. Саранча врывалась в пределы Туркмении изовсюду; она садилась уже в прикультурной полосе; ее измеряли количеством суток пролета и километрами посадки. Дехкане бездействовали, уверенные, что беда не всползет на их высокие дувалы, пока черные пятна саранчовой проказы не покрыли их житниц и не оголились плодовые деревья. Во многих местах муллы и ишаны, устраивали эпические жертвоприношения на пораженных полях и жертвенной кровью кропили эти неисцелимые раны: саранча охотно пожирала и кровь. Тогда первобытный страх понудил их попросту распугивать осевшие кулиги; насекомые поднимались и уже в рассеянном виде опускались на соседние поля, а всетуркменская беда не убывала. И один только спокойно спал в эти тревожные ночи — сусатанский пограничник!

Борьба велась пока впустую, и когда полторы недели спустя в штабе у Акиамова, как назывался теперь его исполкомский кабинет, состоялся доклад профессора, приехавшего в числе других из всесоюзного центра,— установилось гнетущее затишье. Зудин в тот раз сидел возле председателя окружной комиссии; он сказал своему соседу:

— Темно, Абдуразыков, ой, темно! Ровно в валеный сапог смотришь!

А тот хоть и не понял сравненья, ответил так:

— Кундогды, Зудын.

Совещание началось поздно. Пока пили воду и просматривали горы саранчовых сводок, валявшихся на столе для всеобщего обозрения. Стояла гомерическая жара; все, как приклеились к стульям, так и не шевелились. Профессор пришел сам, откуда-то из задней, неожиданной двери. Он был в пиджаке и сапогах, которые легонько поскрипывали,— это последнее обстоятельство почему-то подействовало на всех крайне успокоительно. Многим даже показалось, что профессор не дурак выпить, и это также давало уверенность, что гость не просто мимоезжий

турист, не бесплотный рыцарь некоей отвлеченной дисциплины, а приехал прежде всего драться и работать. Он сел за стол и начал с того, что снял с себя пиджак и бережно повесил его на спинку стула.

— Вас не шокирует? — покосился он на Иду Мазель и так приподнял бровь, что глаз его стал совсем круглым, как копейка.— У меня, видите, немножко астма, и я не привык к высоким температурам.

— Да вы снимите, товарищ, и воротничок,— предупредительно вставил Зудин и чуть ли не протягивал руки, чтоб помочь.

— Нет, зачем же? Тут все-таки не баня!

Он начал с биологического очерка о странствующей саранче. Голос профессора звучал несколько глухо, и вначале трудно было предположить, что́ путное можно сыграть на этом разбитом деревянном инструменте. Но вот из горла его вырвались резкие, незнакомые звуки; кадык его, острый и в пупырышках, похожий на грудку ощипанного цыпленка, выпрыгнул и спрятался в воротник; он назвал прежде всего имя этого множественного врага, покушавшегося в конечном итоге на все политические завоевания пооктябрьской Туркмении. Это была шистоцерка грегариа... Ее родиной считаются степи Судана, откуда она разносит свои губительные кубышки и на Пиренейский полуостров, и на Балеары, и на Азорские острова. Ее маршруты не изучены, но из Египта широким кольцом, через море и самый Синай, она проникает в Палестину и Сирию. Древний инстинкт ведет ее в Индию из песчаных пустынь Синда и Раджпутана. Ее кормят также равнины Белуджистана и Персии. Иногда негаданная, как чума, она приходит с Солимановых гор. Порою возвращается и делает кольца, как бы обманывая свою будущую жертву; ее дороги запутаннее, чем хитрые маршруты басмачей или торговые пути доисламитских караванов...

Он торопился разбросать вокруг себя эти шелестящие географические имена, в которые, как в бумагу, была завернута правда о шистоцерке, но каждое имя имело свой отдельный смысл и цвет, для каждого находился свой особый звук на его голосовом ксилофоне.

— Ее жизненный инстинкт страшен, она множится почти как парамеции... но грознее их! В год она может дать до четырех генераций. Самка в состоянии отложить

за лето девять кубышек, и в каждой количество яичек колеблется от восьмидесяти до ста. На квадратном метре может быть отложено до полутора тысяч кубышек. Таким образом, гектар зараженной площади в идеальных условиях даст нам...— он иронически покосился в сторону Мазеля, который торопливо, ломая карандаш, украдкой от всех подсчитывал искомое количество особей.— Сколько у вас получается? — спросил докладчик.

— Сто двадцать миллионов штук с гектара,— вспыхнув, прохрипел Мазель.

— Мне некогда проверять, но это близко к истине. Так было в районах Нишапура и Хафа во время противосаранчовой советской экспедиции в Персию, в двадцать седьмом. Кстати, если вас не особенно утруднит, курите себе в кулак и не дуйте мне в физиономию. Благодарю вас! — И продолжал кидать слова и цифры, обнажавшие лицо неведомого врага.— Кубышка странствующей саранчи — это удлиненная до восьми сантиметров кучка склеенных между собой яичек. Вылупившись из яйца, насекомое через шесть недель уже летит, гонимое свирепой жаждой размножения. Саранча может лететь на высоте в полторы тысячи метров; попутный ветер ей нравится. Она летит, сжирая все, и ей всегда мало. Наука делит период от рождения до окрыления на пять возрастов. Вылупившись, она уже ползет. Саранчуки четвертого возраста движутся со скоростью шесть метров в минуту. Я просмотрел тут сводки из южных Кара-Кумов; она приползет к вам, товарищи, через неделю, а первый возраст — самый губительный возраст. Россия не знала этого африканского вида саранчи. Только в канун мировой войны наблюдались незначительные залеты шистоцерки, теперь же мы имеем дело...

Он говорил еще много, и обещала быть бесконечной одуряющая музыка его деревянных молоточков. Акиамов сидел, как гора; в выпуклом зрачке его застыло светился накрахмаленный воротничок профессора. Мазель все чинил карандаш, и работа его успешно близилась к концу, так как от карандаша оставалось не больше полувершка. Дюшаклинский энтомолог покачивал головой, как бы выражая этим свое посильное несогласие. Абдуразыков делал странные вещи: бессознательно он зацеплял ногтями волос из уха и неслышно выдергивал его; возможно, что он

не чувствовал боли. И вдруг Зудин перебил докладчика несравненно тоненьким и заискивающим голоском:

— Ну... а бить ее можно, товарищ?

— Полагается, но летную не трогайте.

— Так она ж хлопок жрет!..— закричал Мазель, потрясая пачкой сводок.— Читайте, нате, читайте, гражданин: «Уничтожено шестьдесят гектаров хлопчатника...», «Уничтожен весь клеверник...», «Откладывают кубышки на стыке Кара-Кумов и Сухры-Кула...», «Уничтожено двадцать восемь гектаров хлопчатника...» Нет-с, мы ее будем бить... как вообще привыкли... ненавижу! — и губы его вдруг, такие ребяческие, что всем стало неловко за товарища, затряслись от гнева.

Профессор сочувственно смотрел на Мазеля и, слегка подымая бровь на него, едва не погрозил пальцем; он хотел прибавить, что и он тоже был молодым, но не сказал этого по тем же причинам, по которым отказался снять удушавший его воротничок.

— Летную не трогайте, молодой человек. Она рассеется на еще большие пространства, и борьба утруднится во много раз. Берегите силы до поры!..— Он стал надевать пиджак; лоб его еще лоснился, но от духоты отворили дверь, и теперь он страшился простудиться, ибо давно вышел из мазелева возраста. Он уже кончил, ему оставалось только перечислить те немногочисленные способы борьбы с саранчой, которые изобрел он сам и — через него — знала их наука.

Наступила чрезвычайно томительная тишина. Окно было открыто. Под потолком, вокруг лампочки, не прикрытой ничем, бесшумно порхала всякая насекомая гадь, налетевшая на свет. Их было много, разнообразие их было сказочно, как выдумка природы, а уродливость их причудлива и беспредельна: тут были крылачи, усачи, ногачи, брюхачи... Акиамов, глядя на них рассеянно, дивился, чего только можно накрутить из тягучего ночного мрака, стоявшего за окном. Вдруг что-то длинное и несообразно крупное в сравнении с остальным впорхнуло в окно. Не садясь никуда, оно сделало три или четыре, в разных плоскостях, круга и так же спокойно вылетело на волю. Это и была *шистоцерка грегариа;* она совершала вечерний облет пока еще не завоеванного пространства. Ее видели все тридцать с лишком человек, наполнявших эту тесную,

коридорного покроя, акиамовскую комнатушку, все, не исключая Акиамова, но не понял никто. Не догадался и Акиамов, ибо, вдруг поднявшись, он снисходительно потрепал по плечу дюшаклинского энтомолога, ставшего совсем домашним и смирным после доклада профессора, и сказал вслух:

— Э, бычок! Твоя наука знает меньше, чем его наука.

...В ту же ночь Маронов, который оставался на всякий случай в Кендерли, получил телеграмму от президиума исполкома: «Мобилизованы, округ объявлен неблагополучным, оставайтесь чусаром Кендерли, телеграфьте десятидневки борьбы. Акиамов». Так в суматохе тревожного того дня родилось это куцое, непростительное слово — «телеграфьте».

Туркмения наспех перестраивала свои ряды.

В эти недели все было о саранче — разговоры, мысли, плакаты, газеты, и даже самые люди — для нее. В округах почти сами собой возникали боевые дружины — комсомольцев, студентов, девушек; созданные лишь сегодня, они уже завтра боевыми единицами отправлялись на места, размеченные штабом верховного чусара. В разведку уходили самолеты, не виданные в этой части пустыни, кажется, с самых бухарских битв. В столице республики мобилизовался полк Осоавиахима, и оружием его были опылители, лопаты, кирки, опрыскиватели. Требовался военный опыт в этом новом деле; начальником эшелона был назначен краснознаменный командир. Полк отправлялся в неизвестность лишений,— в составе поезда находился рабкооп. Полк уходил в случайности, каких не повторялось со времен интервенции,— эшелон грузился с музыкой. Проводы отличались знаменательной краткостью; даже присяжные столичные говоруны благоразумно безмолвствовали в этот вечер, а он был насыщен полдневной истомой, и напрасно в последний раз на отъезжающих в пустыню дышал холодом снежный Копетдаг. Темнело, молчание угнетало. Тогда зажгли свет, и заиграли военные оркестры, распространяя трепетный зноб гражданского возбуждения. Медь исходила треском; круглые толстые жуки запорхали вокруг электрических шаров полустанка; кое-кто видел, как в играющую трубу, в самый

звук, провалился один из этих летучих туркменских скарабеев и сумасшедше, почти искалеченный, вылетел оттуда...

Эшелон торопился. Теперь кулиги летели по всей границе от Боссаги до Фирюзы, неся на Туркмению взрывчатое свое семя. На конец мая площадь заражения в Кара-Кумах исчислялась диковинной цифрой в десять тысяч гектаров. Досужие математики подсчитали, что вся Средняя Азия не смогла бы накормить многомиллиардной оравы, которая должна была упасть на нее через месяц. В песках уже отрождалась пешая молодь; она пока держалась барханных сопок, поедая тамариск, джузгун и саксаул, но передние уже начинали ползти на колкие астрагальные поля, отделявшие пустыню от прикультурной полосы. Их влекло стихийное чутье оазисов, и, судя по началу, неделя эта была предисловием смерти. Даже на тех безжизненных межаульных тропах, ведомых лишь басмачам, они ухитрялись оставлять широкие, расплывчатые язвы. Они тащились, забивая своею массой открытые колодцы на караванных путях, перешагивая или пожирая самих себя и как бы издеваясь над своей собственной беззащитностью. Это был неумолимый закон согласного множества, повторенный тысячекратным эхом пустыни. Они шли, и мелкие паразитные мухи вились над ними. Они шли, а позади оставалась ободранная, загаженная земля, ее гнусный скелет, ее вонючая шкура, ее стыдное исподнее лицо... И на нем, печальнее могильных камней, торчали обглоданные стержни деревьев.

Есть черный дрозд в Туркмении, его зовут майна; он пожирает саранчуков. Через несколько суток он уже не ел, а только лупил в голову ползучую беду, подчиняясь таинственному инстинкту птичьей ненависти. Время от времени он с распущенными крыльями бросался в воду, чтоб смыть с себя липкий сок своих жертв, и снова вступал в ожесточенную драку. Но вот майна исчез, майна бежал ночью: до самого конца туркменского лета никто больше не видал дезертира. Итак, дехканам приходилось защищаться самим, но дехкане бездействовали. Пользуясь первоначальным испугом, муллы сеяли смятенье по аулам.

Они спрашивали:

— Вот летит саранча. Что написано у нее на крыле?

Они отвечали сами, ибо никто, кроме них, не понимал небесного писанья:

— Гостья бога и — смерть за смерть. Не убивайте летящих! Пророк сказал: «Может быть, вы чувствуете отвращение к чему-нибудь, а оно оказывается для вас благом!»

Они спрашивали:

— Вот летит саранча. Что потом?

Они отвечали сами и с поспешностью, потому что быстрое слово труднее уловить чужому уху, на котором лежит отсвет зеленого околыша; но многие пограничники, в особенности из местного населения, понимали полуродной язык Туркмении.

— Потом придут мыши. Потом набегут кабаны. Потом ворвется сам Баче-Сакао и заберет все. Так велит бог.

Иногда они приводили для пущего устрашения строки из корана:

— Дом насилия будет разрушен, хотя бы он был домом Милосердного; кровь злодея будет испита, хотя бы она текла из сердца Милосердного.

Никто не разумел, кощунство ли отчаянья, или мудрость злобы копошится в их расслабленных устах, — тем зловещей перед лицом такого бедствия звучало имя Милосердного.

Население бездействовало, людей на местах нехватало, а способы борьбы были еще не проверены. В Джанаязы́ поджигали керосиновые тряпки и, подобно неводу, волокли их на веревках через самую гущу наступающей кулиги; величественное зрелище таких подвижных костров иногда дурно действовало на общее самочувствие насекомых. В Саха́р-Камаклы пытались применять опрыскивание горючими смесями; ночами чрезвычайно тешили глаз эти длинные струи жидкого огня и прыжки пылающих саранчуков, но до Баку было далеко, а зараженные поля ве лики. В Маматани саранчу заливали кипятком, в Карамелаке ее укатывали шоссейными катками, в Хамарли просто топтали ногами. В Хатыб-Куле к районному чусару явился неизвестный беглый кустарь не местного происхождения, бежавший, по его словам, от фининспектора, и предложил за одну бутылку водки передать секрет поголовного уничтожения саранчи. Чусар тосковал от бессилия, чусар решился на потрату, и тогда забулдыга посоветовал мобилизовать мушиные листы по всему Союзу республик и, предварительно замочив их на плоских блюдечках, выста-

вить перед самыми кулигами. Как ни странно, сумасбродная эта идея имела свои следствия. Чусар испробовал приманку из парижской зелени, патоки и извести. Саранча отменно дохла, пока имелись припасы, а другого способа забулдыга не успел изобрести: его настиг все-таки московский фининспектор.

Сводки, продолжавшие поступать в штаб чусара, содержали мало утешительных известий... Оазисы Туркмении почти сплошь расположены по ее границам; зараженные места заливались на карте жидким акварельным кармином; к началу июня вся Туркмения оделась в яркорозовый воротник.

Самые сводки в особенности интересны были тем, что отражали личность того или иного корреспондента.

«Из Кара-Кумов. Саранчовая. Медленно движется, желтая и большая, возраст — *имаго*, по фронту в четырнадцать километров».

«Из Сурназли. Саранчовая. Копия ГПУ. Уничтожено тридцать процентов хлопчатника. Десятый раз требую патоку, лопаты, парижскую зелень. Близится линька во второй возраст».

«Из Аликадыма. Саранчовая. Седьмые сутки движется саранча среднего роста и чуть постарше».

«Из Аджи. Саранчовая. Прилетела. Плотность тридцать пять на квадраметр. Наблюдается весьма энергичное спариванье».

«Из Серахса. Саранчовая. Осела на площади в шестьдесят три квадратных километра. Закладывает кубышки. Ждем, что будет дальше».

«Из Каяклы. Саранчовая, вне очереди. Настоящим доношу, что здесь заражено восемь тысяч гектаров, а плотность отложения две тысячи на метр. Ведем точный учет. Выпускаем стенгазету «Красный саранчист». Чувствуется недостаток в канцелярских принадлежностях».

«Из Пулихатуна. Саранчовая... Уничтожено посевов тысяча пятьсот гектаров. Разбросанность кулиг и политическая контрагитация ишанов очень усложняют борьбу».

«Из Хакан-Кул. Саранчовая. Идет — конца нет. Посевов больше нет. Припасы все вышли. На отряд осталось три рубля. Ест даже веревки и кошмы. В клубе коммунальников съела занавески. Имеются больные. Предлагаю бросить воинские части».

«Застава Ишхак. Саранчовая. Шесть тридцать утра произошел пролет кулиги северо-восточном направлении. Летела с Андхоя четыре часа тридцать две с половиной минуты. Окраска буро-розовая».

«Из Мюлк-Тепе. Саранчовая. Все покрыто саранчой. Кажется, она спит».

И последняя была от Маронова:

«Кендерли. На вверенном мне участке саранчи нет».

Так судьба обходила Маронова.

Установилось ленивое благополучие. В низких кендерлийских предгорьях щедро доцветали тюльпаны. Вечерами, едва прохлада, красные эти долины чем-то болезненно напоминали сумрачные скалы Новой Земли, облитые такою же, но только осенней ползучей пестрядью. Он бродил много, до одури в ногах, часовой еще неосажденной крепости, и зачастую это доставляло ему скрытое удовлетворение, как при посещении места, где гибели однажды удалось противопоставить мужество. Часто, усевшись на вершине, он безотрывно глядел на скудное афганское многохолмие, за которым лежала непостижимая родина детских снов — Индия. Так сиживал он до луны, до шакального воя и думал, что Ида Мазель, о которой он помнил каждый день, стала стареть именно с того часа, как ушла от Якова.

Однажды он понял, что человеку его склада вредно оставаться подолгу наедине с собою. Маронов пошел к людям.

Вправо, на отлогой, слабо волнистой равнине помещалось становище джемшидов; кто знает, каким ветром закинуло их сюда из-под Кушки! Тут богато произрастало азиатское подобие тульского медвежьего уха и ползали черепахи. К Маронову приходили ребята из аула с огромными букетами тюльпанов, дети, но уже в белых чалмах — сóллах, и такие же медлительные, как их отцы. Один из них искусно напевал что-то по-фарсидски, а другой, постарше, подражал голосом дутару и даже помахивал рукой над букетом, воображая струны, которых не было. Так и играл на одних тюльпанах, и когда его горловая, взводистая песня бывала закончена, букет изнашивался вконец. С безделья Маронов начал даже как будто полнеть.

Брeясь, иногда он издевался над собою тоном Якова:

— Теперь ты скоро оженишься, Петро́, возлюбишь тишину, как я, и осядешь на землю со своим потомством, чтоб уж не подняться никогда!

Однако он успел провести кое-где канавы вкруг Кендерли и даже сколотил рабочий отряд на всякий случай, но деятельность его в значительной мере затруднялась незнанием языка. Однажды он собрал митинг и больше часа распространялся о том важном, что грозило всей трудящейся массе страны. Шестьсот туркменских папах, раскинутых там и сям под гигантскими купами тута и арчи, слегка покачивались в знойных дуновеньях. Глубокое бесстрастие тысячи мужицких глаз бесследно поглощало его задор, его взрыв, его волю. Никто не пожелал высказаться по затронутым вопросам, не противоречил никто. Кендерлийский оазис был из богатых; тут созревал великолепный хлопок, каракуль, шерсть, а по коврам Кендерли мог тягаться даже с Пендэ, родиной знаменитых ковров и не менее прославленной язвы. Новая власть не успела еще пресечь влияния мулл и баев, советовавших выжидательно молчать во всех случаях советской жизни.

Маронов сердился:

— Ашир, они глухие? — кивнул он на свою безмолвную аудиторию, как будто ожидавшую от него еще добавочных каких-нибудь развлечений.

— Они не понимают твоего языка! — уклончиво отвечал предаулсовета, поковыривая палкой истрескавшуюся землю.

Кричали ишаки, и откуда-то приходил надоедный, почти птичий писк кыджака, туркменской скрипицы с желтым, как у фаланги, брюшком; Мазель показывал ее Маронову по дороге в Сусатан. Вдруг один, ближайший из дехкан, высокий и моложе других, посреди речи, придвинулся к Маронову.

— Дайте мне тут пройти домой, — сказал он четко, властно и по-русски.

Маронов пристально взглянул в его лицо, но в нем отражалась нерушимая, торжественная лень — и ни озорства в глазах, ни злорадства об удавшемся намеке. Он прошел мимо, посдвинув на брови свой плоский тельпек, и даже не оглянулся на внезапно замолкшего Маронова.

...Тем разительней была перемена. Утром раз — Маро-

нов еще спал, умаявшись с канавами накануне, — к нему ворвался этот самый хитряга в плоском тельпеке. Он бежал и кричал еще на улице; все селение было уже на ногах. И по его искательным рукам, больше чем по лицу, Маронов понял, что судьба повернулась, наконец, к незадачливому чусару из Кендерли.

— Эй, доган, не спи... — Он теребил его, а туркменские слова затейливо путались с русскими; должно быть, гостья бога посетила и его бедняцкое поле, на котором зрел хлеб его семьи. — Чигиртка́... Эй, доган, делай, делай!

Быстро, насколько мог, ибо парень тормошил его и мешал, Маронов натянул на ноги свои тесные сапоги и вскинул халат Ашира, чтоб бежать вместе с парнем за аул; оттуда вплоть до самой пустыни простирались обарыченные пространства. Все поле, насколько хватало взгляда, двигалось, и на скатах арыков, где мельканье хитиновых панцырей сливалось в прерывистый блеск, переливалась как бы живая волна. Маронов вздрогнул и бесстрашно вошел в поле, а парень остался позади в ожидании, что вот этот приезжий произнесет свои заклятья — и скверный, затянувшийся сон сгинет, а утро снова будет прекрасным, как в первые сутки творенья. Забыв про него, Маронов пугалом стоял посреди кулиги в оцепененье, подобном тому, какое уже испытал однажды сусатанский пограничник. Насекомые, не замедляя хода, всползали на него, и, будь он ростом в километр, они одинаково добрались бы до его макушки. Так одну часть материи гнала крутая сила племенного расселенья, а другую — удерживала на месте озлобленная воля.

Маронову была знакома безнадежность тысячеверстных снегов; он ходил на медведей и далеко во льды... Но там внимание сосредоточивалось в себе самом, а здесь оно распылялось безрезультатно; доводило почти до исступленья это жадное и необъятное множество в серой саранчовой униформе. Привыкнув по обязанности каждый день примечать погоду, он так и не запомнил — светило ли солнце в то утро, дул ли ветер; память сохранила лишь зудящий трепет кожи — прикосновенье ползучей гади. Нет, испытание шистоцеркой было сильнее испытания Новой Землей! Он смахнул с себя шевелящуюся, хрусткую, как парча, пелену и нашел силы воротиться шагом назад.

Парень казался разочарованным.

Наступал, согласно профессорским предсказаньям, саранчук первого возраста, только что отродившийся в песках. Кулига шла крайне разреженной, на метр их приходилось не больше полусотни, это было по существу лишь авангардом тех полчищ, которые готовились выступить на штурм Кендерли, и, кроме того, накануне их сильно побило задувание песков, обычное в пустыне. Весь тот день, лишь с двухчасовой передышкой на полдневную жару, когда на шистоцерку нападает тепловое угнетение, работал мароновский отряд. Глубокие канавы, защищавшие хлопок Мазеля, к ночи были наполнены доверху. Их закидали песком, притоптали и уже при фонарях рыли вторую цепь окопов; к рассвету они успели сделать только треть того, что было ими сделано за полторы предыдущих недели. К удаче Маронова, шествие кулиги близ полудня совсем прекратилось,— кулига растаяла, не докатившись даже до канала, и только слабая вонь из засыпанного рва напоминала об этой призрачной победе.

Маронов извещал окружного чусара:

«Кендерли. Саранчовая. Атака первого возраста отбита. Необходимо усиление отряда».

Акиамов отвечал:

«Ждите батальон Осоавиахима. Шлите трехдневки борьбы».

Маронов обозлился; самолетные разведки, предпринятые на юго-запад от Дюшакли, приносили унылые сведения,— разве не были они известны Акиамову? Чего же медлил он? Южные Кара-Кумы оказались сплошь заражены кубышками; о том же самом сообщал и профессор в сапогах, который, несмотря на свою астму, целыми неделями шнырял по пустыне, вынюхивая что-то из барханов; он много помог делу, это была какая-то неукротимая саранчовая смерть в сапогах-самоходах; может быть, он старался доказать республике необходимость своей науки? При установленном стремлении всех прямокрылых к северо-востоку Дюшаклинский оазис в самом недалеком будущем становился плацдармом неслыханных сражений с шистоцеркой; в случае пораженья под удар становилась вся правобережная часть Узбекистана. Все новые кулиги вступали в эту неравную игру; их головы, пятнистые и скрюченные, как лапа бухарского эмира, уже поднимались над Аджи, а хвосты их еще терялись в Афганистане.

У сусатанского пограничника выработался особый лаконический стиль: летит, жрет, спаривается, дохнет, линяет, отрождается. Возрасты перепутались, и это также замедляло борьбу, ибо различие их соответственно меняло оружие республики. Первый возраст требовал опылителей, последующие — канав и железных барьеров, а летная — отравленной приманки. Практика выработала точнейший рецепт смерти — жмыховая мука, мышьяковистокислый натр, вода.

Штаб верховного чусара начал стягивать силы под Кендерли, когда Маронову уже и злиться надоело. Акиамов замышлял превентивное наступление в пески. Главный удар предполагалось вести клином от Кендерли на Сухры-Кул, с расчетом взять отродившиеся кулиги в кольцо и очистить треугольник пространства, образованный этими двумя пунктами и горько-соленым колодцем Ельгин-Кую. В развитие этого плана во всех крупных приречных центрах спешно создавались материальные базы, но пополнялись они туго. Все, присылаемое от главного штаба, мгновенно рассасывалось по районам, и создание сколько-нибудь устойчивого запаса оказывалось невозможным. По смете Маронова и расчетам неугомонного профессора, который к этому времени уже сменил сапоги на легкие спортивные туфли, для наступления требовался минимум в тысячу триста человек, четырнадцать тонн мышьяку, двенадцать тысяч кольев и шесть тысяч железных щитов, посредством которых шистоцерка загонялась в ловчие траншеи. Высшая власть забронировала за Акиамовым свыше четырех тысяч листов оцинкованного железа. Акиамов упирался на своей цифре, и телеграммы его стали походить на постукивание кулаком по столу; тогда, несмотря на протесты местных коммунальных хозяйств, объявлена была мобилизация всего вообще листового железа в Туркмении.

Нехватало ни жмыховой муки, ни ядов; республика не обладала достаточным запасом мышьяка, чтоб умертвить все прямокрылое население пустыни. Чтобы истребить десятки миллиардов саранчуков, следовало прежде всего накормить каждого из них до смертного отвала. С севера, из всесоюзного центра, спешили эшелоны всякого добра... но Акиамову доставалась лишь пропорциональная значению Дюшакли часть их. Все это отодвигало срок выступления, и, несмотря на испытанную партийную

выдержку, Акиамов, одновременно с телеграммой Маронову о расширении его полномочий, уведомил верховного чусара, что из-за отсутствия людей и материалов не отвечает за возможность и размеры поражения. Ответом было решение мобилизовать горожан, ибо и саранча не медлила...

Потолщение мароновских щек катастрофически затормозилось, и дело даже пошло в том же темпе на убыль. Яков, будь он жив, опять узнал бы в Петре того яростного охотника в самоедском совике и пимах, который делил с ним скудный хлеб и новоземельскую участь. Не дожидаясь часа, пока орава сама нахлынет на его твердыни, Маронов разбил свой район на участки по две тысячи гектаров, придал каждому отряду по инструктору и распорядился о дне выступленья. В течение оставшихся полусуток, как и в настоящей войне, было предписано отдохнуть, приготовить снаряжение, которое нужно было еще получить с баз, привести в порядок себя и инструменты, выздороветь — кто был болен, и оставшееся время употребить на то, чтоб хорошенько выспаться перед боем.

А был там один такой молодец, по фамилии Пукесов, тот самый, который ликвидировал саранчу в Каяклы изданием стенгазеты,— как раз за это и перевели его к Маронову под начало. Лишенный возможности проявить свою бурную индивидуальность на административном поприще, он, однако, не терял почвы под ногами, и однажды целая очередь кендерлийских дехкан выстроилась на цыпочках перед крохотным окошечком домика, где Пукесов спал с одной из приезжих бабешек. Пукесов не оробел перед скандалом, он уважал свою личную жизнь и готов был в любое время пострадать за нее. Всякое случалось в эти упрощенные и шумные дни! Маронов замолчал тогда эту историю и лишь секретно попросил Акиамова не присылать ему более женского персонала, ввиду особых условий противосаранчовой работы. Теперь, в самый канун выступленья, Маронов вызвал к себе Пукесова, состоявшего инструктором одного из отрядов.

— Ну, как ваша тетка? — спросил он, осматривая шикарную бороду Пукесова, выросшую чудесным веером под самым подбородком.— Всё лунные ванны с теткой принимаете?

Пукесов повел глазами; он отличался особой вихлявой красотой; он почитывал Фрейда и, по слухам, будучи

в отпуску, ставил себе голос, чтобы нравиться девушкам и начальству.

— Никакой тетки и не было,— изысканно возмутился он.— А если бы и была какая замневеста, то это отнюдь... Как-никак, мы живем один раз.— Он не испугался мароновского лица и нахально прибавил: — Лично я не верю в загробную жизнь.

— Ну, знаешь туркменскую поговорку: если двое скажут, что ты пьян,— ложись в постель,— улыбался Маронов.— Так вот, велю тебе: завтра в шесть пойдешь в Кара-Кумы. Участок твой на тридцать километров к югу от Сухры-Кула. Езжай и орудуй во всю мощь твоей силы и красоты!

Пукесов мигнул, как бы говоря: ладно, крути, от беспартийного слышу!

— Знаете, главное дело и бабцо-то пустяшное.— Он не прочь был, видимо, сообщить имя и адрес своей партнерши; еще недавно он не удивился бы такому же предложеньицу от своего подчиненного. Но начальство молчало, и Пукесов разумно свернул в сторону.— Кстати... я хотел поговорить с вами, товарищ Маронов. В учрежденье, когда выделяли меня на саранчу, говорили — правда, довольно смутно—о командировочных и сверхурочных. Я просил бы вас, товарищ Маронов, подтвердить мою работу у вас в отряде... там накопилось уже достаточно.

— Вы удивительно аккуратны, ничего не забудете,— сквозь зубы и багровея сказал чусар и подумал, что если он сейчас же, немедленно не плюнет Пукесову в физиономию, то ему придется каяться весь век. Губы его скривились.

— ...Вы не идете завтра в Кара-Кумы, товарищ Пукесов. Двадцать суток ареста.

Тот уходил почти веселым; имея точное представление о Кара-Кумах этого времени года, он и под арест-то сел как-то уж слишком незамедлительно; он обожал сейчас казенную, воображаемую кстати, решетку, из-за которой не вправе была его вырвать никакая общественная повинность.

Так, с применения пятьдесят шестой статьи Уголовного кодекса, началась та деятельность Маронова, за которую он получил прозвище *неистового* чусара, — *аляли* Маронов.

Он прогадал все-таки, сердцеведец Пукесов. Маронов раскаялся в своей жестокости, и на рассвете, разбудив арестанта, красноармеец вручил ему, потрясенному, лопату и флягу: Пукесов отправлялся в пески рядовым рабочим отряда. Еще в большей степени, нежели яды и железо, ощущалась нехватка в героях и статистах для этой трагической эпопеи. Огромная протяженность саранчового фронта требовала целых полков, а республика располагала лишь полудобровольческими ротами. Самые условия момента вызвали к жизни те чрезвычайные меры, которые не применялись со времен гражданской схватки, и только они помогли Туркмении защитить свой труд и насущный хлеб.

Вслед за шестидесятипроцентной мобилизацией областных профсоюзов на фронт были кинуты безработные и торговцы; большинство этих последних немедленно объявилось кишечными больными, но Акиамов пригрозил, что будет вставлять им желудочный зонд для проверки, и это психологическое лекарство излечивало самые застарелые колиты в кратчайший срок. Рынки опустели, со складов сняли сторожей, но и красть было некому. Верховный чусар, наделенный соответственной властью, разрешил призвать и учительство. Словом, к середине лета в противосаранчовой армии так или иначе находились все — кроме милиции, уголовного розыска, смены рабочих на электростанции и еще боенских рабочих; могучий невод мобилизации не пощадил даже аптек, Пограничные части с самого начала кампании вели всю разведывательную работу по расположению и передвижению кулиг, но все чаще теперь к комбригу Туркменской поступали телеграфные просьбы выделить то сорок, то вдвое красноармейцев на ликвидацию прорывов. Рабочий день удлинился на два часа, отпуска были приостановлены, в исполкомах велись дежурства круглые сутки, и никто не удивился бы в тот месяц декрету, что и черная туркменская ночь отменяется отныне.

Не щадя себя, Маронов не щадил и людей, лишь бы заткнуть во-время эту саранчовую хлябь. Бойцы отправлялись в зной с двухведерными бочатами, которые рассыхались тотчас же по опустошении; Маронов взял на учет все бурдюки в округе и уже протягивал руку за глиняными кувшинами дехкан. Даже и во сне слышался ему этот хриплый шопот живых: «Воды, Маронов, воды,

дьявол...» Он добился у Акиамова позволенья обязать каждое дехканское хозяйство доставить ему по фунту выкопанных из земли кубышек. Сверх того, в кооперативах, где сразу удесятерилось количество товарных соблазнов, была объявлена покупка кубышек по четвертаку за килограмм. Их жгли на глинистом пустыре, обычном туркменском такыре, и при удачном ветре далеко в пустыне стелился густой смрад горящего саранчового жира. Маронов, не зарывая кубышек, надеялся этим удушьем хоть немного задержать кулиги, уже подступившие к кендерлийским горизонтам... Он шел на все и не боялся, что его сместят за превышение полномочий: всякий на его месте, менее неистовый, попал бы под суд за бездействие власти.

На Кендерли глядела вся республика, это был саранчовый Верден того года. Маронов беспрерывно находился в разъездах и ночевал почти в седле; он ездил и мобилизовал все, что видел. Стоял верблюд, и в прохладной его тени, как в тени дерева, сидел человек и уплетал лепешки. То был джерчи — туркменский коробейник; он вез с собой незатейливый товар пустыни — керосин, финики, курагу, нас-каяды и пиалы, которые не успел распродать из-за саранчи. Маронов складывал его сокровища под навес, а самого усылал с лопатой и с собственным верблюдом туда же, откуда тот возвращался. И еще там, случилось, проезжал непостижимый человек в плюшевых штанах, которыми он производил на всех неизгладимое впечатление.

— Кто вы? — строго спросил чусар, просматривая неопределенный документ с печатью рабиса.

— Я?.. Артист.

— Что вы делаете? — щурился чусар.

— Кто, я?.. Финская и греческая пирамида с имитацией огней, а также световой баланс с кипящим самоваром на лбу. Я, так сказать, единственный в этом роде!

— Меня распирает любопытство,— сказал чусар, надписывая что-то на бумаге.— Я никогда не видел баланса с кипящим самоваром. Вы не кишечный больной?

— Я?.. н-нет,— сказала жертва, озираясь и уже без прежнего достоинства.

— Как вы относитесь к советской власти?

— Кто, я?.. Разумеется, хорошо.

— ...а к саранче?

— Я?.. Разумеется, плохо.

— Другого я не ожидал от вас. Артисты, знаете, всегда шли впереди. Мы живем в век героев, не правда ли?.. Сегодня в четыре вы пойдете к колодцу... вам скажут его названье потом. Сегодня у нас вторник? Значит, имаго можно ждать только дней через пять. Вы вполне успеете. И потом, лично прошу, обратите внимание, сколько занимает времени этот процесс последней линьки перед окрылением. Мне сообщили — три четверти часа, но это невероятно. Ей же надо перевернуться, расправить крылья... Мне казалось, минимум — часа два-три. Итак, успеха, товарищ!

— Я буду жаловаться!.. — неожиданно заорал человек в плюшевых штанах.

— Вас посылают не диких ослов укрощать, а просто рыть ловчие канавы. К тому же, личная моя просьба совсем не обязательна.

— Да... но я же не солдат, а артист! — смутилась жертва.

— Я и сам в душе артист, но это почти неизлечимо. Не надо ссориться людям, столь близким по склонностям,— жестко улыбнулся Маронов и вдруг рявкнул: — Стыдитесь, гражданин, ступайте!.. там не убивают!

Он был зол, он был даже яростен в этот день, Маронов; втайне он несколько пугался обстановки, в которую попал. Помимо сил явных, стихии и людей, вокруг него действовали незримые политические силы. То дехкане, на убеждение которых он тратил недели, оказывались размагниченными в сутки; то таинственная рука снимала цветные флажки, которыми он размечал зараженные или отравленные пространства; то, хотя и в малых количествах, пропадал яд, предназначенный на шистоцерку... Когда в соседнем кишлаке при весьма загадочных обстоятельствах умер больной дехканин, тот самый, который в памятный день приезда встретился Маронову на берегу Аму, чусар нарочно поехал туда на вскрытие; он знал наверняка, что встретит и его юную жену. Вскрытие происходило в ковровой мастерской; на станок уложили доски, но получился наклон, тело сползало, а врач торопился. Маронов удалил из мастерской всех, кроме голосившей кучки родных, которых сюда пригнало, повидимому, более любопытство, чем горе.

— ...отравление мышьяковистым натром. Характерное изъязвление стенок желудка,— тихо сказал врач.

— Но они кричат, что он умер от порошков, выданных с вашего медпункта! — повысил голос Маронов.

— Чего вы сердитесь? — устало пожал тот плечами.— Мышьяк был примешан в порошки... тут и догадываться не о чем! Я уже смотрел эти порошки, товарищ.

Острая догадка вошла Маронову в разум; обернувшись, он внимательно поглядел на молодую жену покойного, стоявшую позади и кричавшую больше всех; он не сводил с нее глаз, и неискусные слезы ее мгновенно высохли, а следом за нею умолкли и остальные. Видимо, родне известно было кое-что в этой истории. Сейчас молодая была особенно хороша, точно выхваченная из сказок Шехерезады. При всем различии характеров и обстоятельств, Маронову казалось, что через глаза этой вдовы он различает какие-то скрытые черты Иды Мазель. Он смотрел на туркменку до тех пор, пока не задрожали ее колени и не повяла ее царственная краса; виноватая краска проступила в смуглой коже ее щек и лба... Но почему же ей понадобилось свалить смерть мужа на советские лекарства? И вдруг ему в память пришли рассказы Мазеля о классовой борьбе, на которые он усмехался раньше с недоверием беспартийного. Он вспомнил собственный свой опыт в Кендерли, при мобилизации ишаков для противосаранчового транспорта, когда его встречали выстрелами в байских воротах, и гадливо усмехнулся неуклюжей хитрости, которою обходил его враг.

Он возвращался шагом и все дивился, как не надоумилось байство отравить колодцы пастухов,— бочки с ядом зачастую стояли открытыми; он возвращался шагом и только поэтому опоздал к скандалу, который в его отсутствии разразился в Кендерли. Улицу запрудила толпа, молчаливая и настороженная, а в центре ее кричал что-то невысокий коренастый красноармеец, туркмен-теке, один из присланных сюда по разверстке. Чусар слез с лошади и протискался в людскую гущу, тотчас сомкнувшуюся за ним. Было нетрудно догадаться: в руке красноармейца еще дрожала змееподобно ременная камча; а на земле, хныкая и закрыв лицо руками, сидел старый кендерлийский мулла. Заслышав нового человека, он приоткрыл свое круглое и рябое, как, наверно, у Евы в старости, лицо и осторожно подвинулся, давая место чусару.

— За что ты ударил старика? — спросил Маронов

и тотчас с укором подумал, что *такого* вопроса и при таких обстоятельствах не задал бы партиец.

Тот страдальчески взглянул на него красными и выпученными от трехдневной бессонницы глазами; он устал до такой степени, что уже не мог сопротивляться чувству гнева и мщения; он устал так, что даже и его красноармейская сила поколебалась. Он возвращался из Кара-Кумов спать, а этот...

— ...он говорит — у нее на крыльях молитва богу, я грамотный, я читал книги. Я убил ее тысячу тысяч и не видел. Где, где она?.. — и, оторвав второе крыло у саранчука, который еще двигался в его судорожном кулаке, кинул в воздух над головой муллы. — Он сказал: «Не надо, не надо убивать». Он сказал: «Нет за это прощенья!» Пусть он не говорит так, пусть... — Дальше он кричал уже по-туркменски, и никто даже взглядом не вступился за неудачного и поверженного агитатора.

— Успокойся, Мамед, — сказал Маронов, дружески касаясь его руки. — Ты очень устал, тебе надо много спать. Пойдем, товарищ!

Он уложил его у себя. Тот заснул еще сидя, не раздеваясь; потом повалился навзничь с откинутой головой, совсем как брат Яков, но когда уже перестал быть и братом и Яковом. Только камча, свисавшая с мамедовой руки, время от времени шуршала бредовым шопотом о цыновку. Маронов вышел убрать свою кобылу. Улица была пуста, задувал *афганец*. Скуля и раскачиваясь, все еще указывал рукой в сторону Афганистана промахнувшийся служитель бога и бухарского эмира.

Итак, все были на своих боевых местах — трусы, духовные отцы и безыменные герои этой беспримерной схватки. Некоторое время спустя зашевелилась и недвижимая глыба туркменского дехканства, темная, как все мужики мира. Мароновская агитация постепенно становилась излишней: сама опасность придавала им сознательность и доблесть; гостья бога выжирала наголо человеческие житницы, и в случае неудачи Туркмения была бы откинута на целую трехлетку назад. За полтора месяца кендерлийского существования Маронов лишь дважды видел туркменских женщин, но именно женщины подносили теперь воду

отрядам, и мужья молчали... Несмотря на различие языков, они быстро научились именно с тем наклоном расставлять щиты, чтобы ни одно насекомое не уползло. Они постигли даже высокое искусство — рытьё ловчих окопов в сыпучих песках, где и от верблюда-то не остается следов. Они провели защитные линии от Карабекаульского района до самого Сусатана; фронт растянулся на сто тридцать километров.

Песок оставлял ожоги, разъедал глаза, и трещины на руках гноились. Лошади гибли от тепловых ударов и безумели, когда в уши им заползали саранчуки. Акиамов запрашивал всюду о наличии лошадиных шляп, но таковые в республике не выделывались. Уже не узнать было никого из тех, кого совсем недавно с музыкой провожали в поход: изнеможенные люди, почти головни, в одних трусиках, месили отравленное тесто руками; изъязвленная кожа кровоточила, в паху появлялись болезненные волдыри. Вместо недостающей жмыховой муки замешивали местную степную растительность, которую надо было собирать самим же. Не было воды; тухлую, ее и людям давали по скупой норме, но ею изобильно поливались ямы, потому что приманке полагалось быть влажной и приятной на вкус. Люди падали, отказывались есть, спали на земле у самых кулиг, дрожа от жесточайшей вони, — убитая саранча продолжала воевать своим смрадом. Люди шатались в уме: осатаневшего чусара Каяклы посетила безумная мысль: взрывать саранчу динамитом; а старший рабочий сухрыкульского отряда стрелял в летящую саранчу из нагана. Кое-где появился сыпняк, неслыханная земляная вошь; люди выдыхались; их мозговые манометры грозили лопнуть, — и все же отряды находили силы устраивать социалистические субботники по борьбе с саранчой, которая опережала... О, этот кендерлийский хаос, не воспетый никем из драчливых наших стихотворцев, и людские муки, за которыми, как за надежной стеной, невинно зацветал мазелев хлопок!

Маронов истаял на этой жаре; его лицо похудело и стало походить на лицо саранчука; ему казалось, что глаза у него стали членистые, он видел даже позади себя. Мазель, который не вытерпел и приехал в конце месяца, бросив все, не сразу узнал его. Увитый табачным дымом, Маронов стоя составлял энтузиастическую телеграмму, —

этот стиль уже помог ему однажды получить полтонны мышьяка свыше нормы. Мазель жал руки, испытующе заглядывал в глаза сам он окончательно пожелтел в этот месяц, и веснушки его оставляли такое впечатление, точно его во сне засидели мухи.

— Ну, согрелся?.. Доволен Азией? Устал, так я заменю тебя, а?

— Рано, Шмель, пока рано... — и сделал неопределенный жест, как бы говоря: э, дескать, верблюд в пустыне не пропадет!

— Кажется, у тебя с хлебом трудно?

— Ничего, Шмель, ничего... — Он закончил, наконец, свое донесение и покрутил пальцами, затекшими от карандаша. — Вот расписываю героику. У нас без романтики фунта формалину не достанешь. Что нового в мире, Шмель?

— Что? Мобилизуем граждан. Учреждения не отпускают своих, дерутся даже за машинисток, врача одного привели с милицейским конвоем, э-эх, дермо!.. Да, кстати: саранча появилась на Крымском побережье и прорвалась в Поволжье.

— Это через Ташауз, значит? Здорово сигает!.. — Он помолчал, а Мазелю показалось даже, что он задремал. — Кубышки зимуют?

— Не знаю, ты спроси свою науку в сапогах.

— Э, она там... увлекся. Я думаю, справимся. Русские умеют поднавалиться на врага!

— Да, умеют! Ну... а хлопок?

— Стоит, Шмель, стоит.

— Но саранчуки ведь...

— Они кушают пока верблюжью колючку. Я запретил убирать ее с пустырей и меж. Хочешь взглянуть?

— Поедем.

...Копыта тонули в густейшей пыли. На шее смыкалось горячее удушье; солнце садилось, и встречный зной становился невыносим. По сторонам дороги бежали заброшенные арыки, истрескавшиеся, как в склерозе. Изредка встречался какой-нибудь старик на ишаке и торопился проехать мимо прищуренных мароновских глаз.

— Далеко еще? — спросил Мазель. — А знаешь, ведь тут Ида! Она в отряде...

— Как же, наслышан, — сухо ответил Маронов и так

долго закуривал самокрутку, что всякий другой счел бы это за обидный намек.

— Я, кстати, привез тебе папирос, которые обещал, — сказал Мазель, чуть приотставая.

— За папиросы спасибо. Так... Ну, а что теперь пишет сусатанский пограничник?

Дорога, если можно было так назвать расплывчатое обилие следов, то проваливалась между острых барханных гребней, то поднималась на округлые, подковообразные плато, заросшие иляком, селином, отцветшим маком. Изредка на оголенных ветром местах проступали лысины красноватой глины, а потом опять, лишь в новых сочетаниях, набегали карликовые подобия саксаульных рощ.

— Я покажу тебе, Шмель, удивительные штуки, а прежде всего — людей. О них надо судить именно, когда они страшны, небриты, осатанели и делают всёмеро против своих сил... И потом: у нас любят кричать о героизме, а по-моему, *это* следует делать молча, со сжатыми зубами. Перед кем хвастать? Старое не переубедишь, а молодое... я крепко верю в свое поколенье, Шмель. Достоинства больше, товарищи, достоинства!

Мазель не возражал только потому, что сегодня именно так было полезнее для общего дела; он только дивился мароновской способности так быстро переключаться с одного на другое. Это состояние легкого ошеломления, смешанного с гордостью за свое поколенье, не покидало его до самой ночи. Маронов действительно показал ему незабываемые вещи, которые самого его неизменно заводили в логические тупики. Что двигало этими рассеянными на вид людьми—азарт, безумие, идея? Так он мучительно догадывался о том, что Мазель знал давно, крепко и на всю жизнь.

Они объехали много в тот день; Мазель извивался в седле, точно пронзаемый гвоздями; они объехали фронт только двух кулиг. Первая линяла во второй возраст; бойцы получили два часа сроку — развести костры и покоптить над ними походные котелки: им как будто вовсе не хотелось спать. В застылой, хрупкой, как эмаль, тишине пустыни с легким шелестом возникал саранчук: и в темноте они продолжали лезть из тесных шкурок.

Вторая кулига была много старше; ее уже томила мука размноженья... Кулига растворялась в темноте. Мазель слез с коня и, слегка похрамывая, пошел к кусту, который

бесформенно громоздился посреди ночи. Наклонившись, Мазель долго рассматривал его, то и дело зажигая спички.

— Слушай, Маронов, а почему, однако, они сидят одна на другой?

Маронов вздрогнул и, как ни угнетала его потребность сна, рассмеялся.

— Ты удобный муж, Шмель. Ты и увидишь, не поймешь... Слышишь, слышишь похрустыванье? Это любовь, Мазель. Никто из влюбленных никогда не имел такой обширной кровати. Миллиард романов с благополучной развязкой... Хотя нет, не совсем так: отложив кубышки, они дохнут. Сейчас их можно убивать, они не слышат и ничего не едят.

— Нет, едят, глядите, прямо с руки едят! — сказал смешливый голос вблизи них. — Ишь, ужинают... — И голос задрожал от нездорового возбуждения.

Они увидели человека, сидевшего на корточках; несколько безмолвных зрителей, обступив кругом, наблюдали его редкостное развлеченье. На ладони у него лежал комок отравленного теста, раскатанный в рыхлую длинную колбасу; три саранчука, не пугаясь растопыренных пальцев человека, тихо пожирали яд.

— А, это вы! — сказал Маронов подходя. — Приманку раскидали?

— За одну ночь намесили двести пудов. — Он напрасно ждал одобрения от Маронова. — Она уже съедена вся...

— Ну, и... благоприятствует это любви? — едко усмехнулся Маронов.

— Отравы нехватило, товарищ чусар. Мы всё туда соскребли — мало. Очень медленно действует... но ножки все-таки мертвеют, видите? Глядите, какое у них лицо скучное! Они все равно не успеют... не успеют они, понимаете? — была какая-то психическая судорога в его речи.

— Да, да, — сказал Маронов, мучительно распяливая глаза, которые катастрофически смыкались; он не видел почти ничего. — У вас завидное зрение, да. Кстати, вы не знакомы? Знакомьтесь: Мазель — Пукесов.

Кормитель саранчи мгновенно приподнялся:

— Простите, не могу... пальцы липкие!.. — прошипел он и вдруг исчез, истаял, рассыпался, а может быть, его самого вместо отравы сожрали саранчуки.

Мазель так и стоял — с рукой, по-детски протянутой вперед. И великий хитрец Петр Маронов взял его под руку и пытался вести назад, полагая, что Мазель ничего не знает, не видит.

— А Ида смешная женщина... У нее странный вкус, правда, Петр? То Яков, то Пукесов теперь! — сказал Мазель, осторожно высвобождая свою руку из мароновских клещей. — И ты ужасно зоркий, Петр... уж ты все увидишь!

Они вернулись поздно. Мазель едва держался на ногах и утром, проснувшись, нашел записку Маронова с просьбой ждать его возвращения. На рассвете, пока Мазель спал на ашировом халате, чусар собрался навестить тот участок кендерлийского фронта, где линию траншей заменял непосредственно самый канал. За это наиболее ответственное место Маронов опасался более всего: по ту сторону канала располагалась самая цветущая часть Дюшаклинского оазиса.

Здесь в особенности густо, по нескольку сот особей на метр, наступали кулиги. Неделю назад в этом месте произошел некрупный прорыв, но залатать его так и не удалось. Саранчук четвертого возраста штурмовал в неслыханных количествах; канавы, на рытье которых ушло по шести часов, наполнились в несколько минут доверху; их не успели даже засыпать землей, как наполнены были два последующих ряда траншей. Тогда саранчу пришлось пустить в самую воду и одновременно вызвать от Сухры-Кулы надежную роту Осоавиахима. Саранча поплыла вниз по течению, до запруд, расставленных на некотором расстоянии друг от друга, под углом к берегу. Здесь ее еле успевали ловить в корзину и мешки, полуутопленную, и торопились зарывать эти скрежещущие живые клубки в ямы. Часть уходила, сушилась, оживала, — ее не преследовали...

Инструктор встретил Маронова на мосту и с таким лицом, точно пускался в рукопашную:

— Железо... какое железо, дьяволы, прислали. В девятнадцатом за такое издевательство... знаешь, знаешь?

Маронов сочувственно кивнул головой: неоцинкованное железо быстро ржавело, и по шершавой ржавчине щитов саранчуки без усилий перебирались на другую сторону...

— Как дела, товарищ? — спокойно осведомился Маронов, не выпрыгивая из седла.

— Как! А вот приходится оттирать каждое пятнышко песком, руками, а вздышки не даете. Я не отвечаю... — и рот его запрыгал, как лягушка, по всему лицу.

— Значит, в республике нет больше оцинкованного, — еще тише сказал Маронов, все еще не слезая с лошади. — Не размахивайте руками, это не идет к военной форме, которую вы носите. Что еще нового?

Инструктор пожевал истрескавшиеся губы; складки, точно углем начерченные на лбу его, исчезли.

— Пешую победил, четвертый возраст, товарищ чусар. Потом афганцы из каравана очень просили мышьяку. Кричат: «Советска, и нам дай, и нам...» Я не дал: нету, да ведь и контрабанда. Поговорка есть: чужому верблюду нет воды.

— Неумная поговорка, товарищ.

— Выгодная зато...

Он намекал на контрасты: в Персии и Афганистане шистоцеркой было уже уничтожено раз в сорок больше, чем в советской Туркмении. Наши темпы борьбы были бы непосильны никакому другому правительству.

— Как вы измеряете эту кулигу?

— Тонн на пять... — Инструктор измерял кулигу весом мышьяка, потребного на ее уничтожение.

— Надо перекинуть борьбу на этот берег.

Инструктор сжал руку в кулак, измученно посмотрел на него и промолвил сухо:

— Слушаю, товарищ Маронов.

— Кто в охране у того моста?

— Этот... как его, Салых. И с ним Фаридалеев, тоже из Кендерли. Там-то спокойно... они на сменку метут!

Маронов вспомнил: это был старый знакомец в плоском тельпеке, и ему захотелось взглянуть на него в новой его должности.

— Я поеду туда, — сказал он.

Дорога проходила самым берегом, а на левом бесконечно наступала кулига. Все там было съедено; черные травины покачивались, подпиливаемые у корня. Лошадь острила уши и храпела. По желтой воде, слабо шевелясь, плыли черные неторопливые точки; вода вкруг них посверкивала. День выдался неровный; солнце, как в истерике,

то сдергивало, то вновь накидывало на себя драную облачную фату. В плохо засыпанных окопах гнила саранча, и сладкая, тошнотная вонь разложения ни на минуту не покидала Маронова. Он перевел было свою белую кобылу на рысь, но та скользила и спотыкалась в скользкой и мертвой корке, покрывавшей землю. Вонь усиливалась, тяжелая и жирная; Маронову померещилось, что даже на ощупь воздух становился маслянистее. Тем ярче вставали в нем воспоминания суровых новоземельских раздолий и пресного запаха снегов. Сводило с ума и безвременно старило его юность это беспредельное тление живого органического вещества. То самое мудрейшее вещество, из недр которого возникали грозы, ветры и полярные сиянья, теперь подмигивало ему гнусным саранчовым смрадом... Потом он сразу увидел мост и Салыха перед ним.

Ровными машинными движениями туркмен обметал щиты, укрывавшие мостовой настил. Он был один, Фаридалеева не было с ним; скулы его опухли, сквозь желтую смуглость их проступал зеленый румянец переутомленья.

— Селям алейкум, Салых, — громко сказал Маронов, привязав лошадь на мосту. — Где Фаридалеев?

Тот покосился на него одним глазом; у него не было времени даже на то, чтобы стряхнуть саранчуков, сидевших на его тюбетейке.

— Ушел... — сказал Салых, вместо того чтобы сказать — сбежал.

Так, в одиночку, и действовал Салых у самых ворот Дюшаклинского оазиса.

— Фаридалеев — похли! — сказал чусар. Похли — было ругательство. — Давай метлу, я буду теперь... — и принялся мести за Салыха, пока тот, спустившись в канал, жадными горстями ловил мутную саранчовую воду.

Вдруг Салых издал резкий горловой звук, он выражал недоуменье. Не прерывая работы, Маронов обернулся к нему, и ему тоже показалось, что камень, на котором стоял туркмен, заметно обмелел; он заметил, но это прошло как-то мимо его сознанья, ибо в ту же минуту что-то яростно защекотало у него под рубахой. Он крутил головой, почти свертывая шейные мышцы; спинные мускулы извивались в попытке скинуть заползших насекомых; он не понял сразу даже того простого, что кричал ему туркмен:

— Эй, доган... она уходит, вода... эй, гляди, доган!..

Камень, минуту назад только наполовину вылезавший из воды, теперь целиком лежал на скате и даже успел обсохнуть. Узкую ленту пространства, освобожденную водой, тотчас же занимала саранча. Вода опускалась. Где-то позади произошел прорыв, и в подстегнутом воображении мигом представилось, как широким бурым потоком вода на десятки метров разворачивает дамбу и ударяет в пески, которые кипят и пляшут. Все меньше саранчуков плыло по воде; они ждали. Вода бежала вспять, как трус Фаридалеев!.. Отдавая метлу Салыху, Маронов еще раз взглянул на камень. Тот медленно полз вверх и уже отдалился на полметра от уровня канала. Мысленно Маронов читал бредовую телеграмму, составленную им самим: «...прорыв на двадцать два километра. Дюшакли не существует больше...» Да, он видел испуганное лицо телеграфиста, слышал бегство аулов, различал презрительное акиамовское «замэчательно интересно»; все это проскочило в мгновенье и снова застлалось пенным пьяным великолепием вод, вторгающихся в необозримые приволья. Камень всползал все выше, стремясь достигнуть зенита в мароновском разуме, а канал опустошался, как проколотый бурдюк. И вот, неизвестно откуда, на мосту позади них появились передовые отряды шистоцерки.

Маронов догадался об этом, едва услышал позади себя неровный топот сорвавшейся с привязи кобылы; ее не догнал бы и ветер. Она крылато неслась к Кендерли и по существу была первой вестницей случившегося несчастья. Движение воды в канале остановилось, но камень скрылся, облепленный серой шуршливой массой. Обнажилась жирная тухлая кожа канала, на ней матово сверкала полузанесенная илом жестянка, да еще торчала обитым углом чья-то крупная кость. Тощую извилистую лужу, все, что оставалось от знаменитого оросительного канала, вброд переходила саранча... Мароновым овладело неодолимое равнодушие, частично подобное тому, какое он пережил тотчас после похорон брата.

— Садись, Салых... — И показал место рядом на перилах, мимо которых проходили густые колонны на штурм мазелева хлопка.

Обоим им стало все равно, безумье притуплялось спасительной усталостью; даже если бы у них и нашлись крылья и сила одолеть в один мах двенадцать километров

до кендерлийского штаба, все равно не успели бы. Оба они в равной мере сознавали такое же томящее ничтожество свое, какое сломило бы часового, поставленного в одиночку охранять границы всей республики. Из памяти Маронова выпало, что он не один, что где-то бодрствует верховный чусар и уже изнемогает на телефоне Мазель, бежит к своему отряду саперный начальник, трясет хриплую трубку телефона и гремит сам Акиамов, и на автомобиле, сшибая собак с дороги, наверно, уже мчится прокурор. Он забыл все...

— Вот видишь... Ты чем занимался, Салых?

— Мы... контрабанчи. Ширази-каракуль знаешь? — и пугливо поджимал ноги, с которых свалились его опорки.

— И дети есть? — А мучила тошнота, как при отравлении табаком, и кружилась голова от безостановочного движения под ногами.

— Э, один... э, баранчук.

Так рядком и сидели, контрабандист и чусар, потому что внезапно порвались все привычные связи, логические и иные, и одна только взрывчатая искра бродила в обоих — сжечь мост, словно это могло предотвратить прорыв и гибель Дюшакли. Вдруг какая-то спинная судорога скинула Маронова с места, и Салык со страхом наблюдал последнее беснование чусара.

— Ур, бас... дави ее! — кричал Маронов, без фуражки, которой уже не видно было под саранчой. — Эй, доган... бей... бей! — и сам показывал, как надо толочь ее ногами, безумными, как челноки.

То была конечная, чисто биологическая вспышка самого организма, может быть перед тем, как померкнуть совсем. Двое обгорелых людей скакали перед безвестным миру мостом, а саранчовая лава двигалась, и только передние, смущенные нелепым и скачущим топтаньем исполинов, напрасно пытались тесниться и благоразумно раздвоить наступавшую колонну.

В этот день за четырехчасовое дежурство телеграфист пропустил шесть тысяч слов и потом свалился у аппарата.

...Он не терял сознанья до конца. Как сквозь дым, он видел людей, которые сменили их на посту. Они спрашивали его, и гадливая дрожь, распространившаяся по всему

телу, мешала ему отвечать. На нем разодрали рубаху, приклеившуюся холодной щекотной плёнкой, и он усмехнулся на эту помощь. Его посадили под дерево, прямо на песок, и дали воды, но она пахла так же, как всё — воздух, одежда и самые руки; он с отвращеньем выплюнул ее. С ним больше некогда было возиться, да никто и не сумел бы так быстро починить сломавшегося чусара; даже прокурору, когда выяснилось, что прорыв произошел без чьего-либо злого вмешательства, вручили лопату и поставили драться.

Маронов сидел тихо, различая лишь ноги — несравненное множество ног, таких неуклюжих в суматохе; потом ему стало почему-то обидно, он поднялся и, не останавливаемый никем, побрел назад. Струи раскаленного воздуха текли отвесно перед ним, и сам он пошатывался в них, подобно пламени, качаемому собственным жаром. Так он и шагал в лохмотьях и чужом картузе, не умея справиться с нервной своей икотой. Это был воистину фронт, с той только разницей, что убитые наповал возвращались сами и пешком.

Навстречу шли люди, верблюды, повозки, отправленные на заделку пробитой бреши. Они не замечали Маронова, потому что он им стал ненужным, и только один со всего маху разлетелся на чусара; плюшевой обложки на нем уже не было, и оттого трудно было в нем распознать специалиста по балансированью с кипящим самоваром.

— ...Вы только посмотрите, а? Республика в опасности, а они... — прокричал он фальцетом, пытаясь всунуть какую-то бумажку в обессилевшую руку начальника и обскакивая его со всех сторон. — Морду бить надо, морду этим типам... — Потом он увидел лицо Маронова, заморгал, сжал бумажку в кулаке и произнес одно только слово: — Извиняюсь...

Кулига наступала развернутым фронтом в тридцать четыре километра; окрисполком кинул сюда все свои резервы, — их оказалось ничтожное количество, и тогда по чрезвычайному соглашению властей были двинуты пограничные и саперные части, расположенные поблизости. Температура песка доходила до семидесяти, и никто, кроме людей да насекомых, не смел двигаться по этой обширной сковородке. Бой длился до ночи, канавы наливались хрусткой темной гущей, утрамбовывались и снова наполнялись, — так до трех раз. Даже дехкане бежали

от поднявшегося смрада: только грозными водоворотами бури возможно было промыть зараженный воздух. Это был фронт, с тем лишь выгодным отличием, что убитые снова оживали, чтоб продолжать борьбу.

Маронов очнулся четыре часа спустя: его пробудила жажда, во рту не было ни капли слюны, а язык лежал плоско, как покойник. Странные, апокалипсического размаха и цвета облака горели и дымили на закате, точно политые керосином. Он посидел с минуту, черпая ладонью горячий песок и раздумчиво продавливая его между пальцев. Густая куща саксаула, свисавшая над ним, показалась ему багровой. Ухватившись за нее, Маронов поднялся, допил воду из фляги и, как в угаре, двинулся назад, на покинутую им позицию, — республике было безразлично в эту минуту, сознание долга или проснувшееся мароновское самолюбие руководило им. К вечеру он добрался до передовых линий; обязанности чусара временно выполнял все тот же профессор в сапогах, «саранчовая смерть»; он стал страшен, летучий профессор, к астме его присоединился нервный тик. Маронов отыскал себе лопату, но работать не смог, бросил ее и кое-как добрался до ветхой глиняной развалины, из-за которой поднималась луна, пошлая и лоснящаяся, как дека сносившейся гитары. Легкий обманчивый холодок исходил от нее.

Крыша давно провалилась, и луна черными резкими треугольниками расчерчивала внутренность руины. Маронов вошел и опустился на какой-то бочонок, забытый у стены. То, что еще недавно можно было сравнить лишь с костром, теперь представлялось ему кучкой заглохших угольков. Все было необычайно в эти сутки, и, хотя требовалось величайшее совпадение для этой встречи, он не удивился, когда увидел в тени против себя жену Мазеля. Как и он, она приползла сюда в поисках воды и хотя бы минутного отдыха. Она сорвала с себя платье до пояса и так сидела, откинув голову к стене и зажав какую-то увядшую травинку в зубах: если бы даже вошел ее отец, она не нашла бы силы прикрыться. Ее отряд работал без перерыва от полудня до ночи, и жена Мазеля не отставала от мужчин. От женщины в ней не осталось ничего, и нужно было иметь большое воображение, чтоб понять увлеченье Якова и его малодушный прыжок на север.

Оба видели друг друга, как в тумане.

Она шепнула, не выпуская травинки из зубов:

— ...уходите.

Маронов промолчал. Она спросила:

— Есть вода?

— Нет.

В проеме дверей двигались огни факелов. Пламена склонялись, потухали и возрождались снова, менялись местами в своем колдовском хороводе. Там, в зловонном мраке, происходили похороны убитой саранчи.

— Ну, что там... уже кончилось? — сквозь зубы спросила Мазель.

Он промолчал, он уже сбился сам.

— Тогда дайте пить... пожалуйста.

Питья не было: никто не вправе был выпрашивать воду у людей, которые, на пределе сил, в потрясающем безмолвии ночи, продолжали рыть канавы. Кроме того, среди всех, поблекших за день чувств, зрело и крепло в Маронове лишь одно: злоба. «Подруга Пукесова, пусть идет сама».

Наконец она узнала его:

— Ну, говорите... зачем вы приехали сюда?

Он продолжал глядеть на нее. О, как образ этой женщины не совпадал с тем, который он создал в тишине Новой Земли. Ему было больно, что этот облик, смятый стремительной действительностью мароновского века, так быстро меняется у него на глазах.

— Вы почти голая... закройтесь, — строго сказал Маронов.

— Зачем вы приехали сюда?

— Вы были женой Якова... закройтесь! — настойчиво повторил он.

Она не пошевелилась, она еще не понимала, чего хочет от нее этот посланник мертвого Маронова. В конце концов она не собиралась стать женой всех братьев Якова, которые еще отыщутся на свете.

— ... я не досказал в тот раз, а вы должны знать, как *это* было, — говорил Петр. — Пусть с запозданьем, вы должны проводить Якова в его последний путь. Он любил вас даже, когда у него были синие гнилые пятна на ногах и дикая боль. Но надо было ходить, это было тоже лекарство. Мы ходили по очереди, и тот, который отдыхал, командовал и производил счет шагам. Однажды брат упал и сказал: «Теперь всё, Иза...» Тогда я завернул его в одеяло...

— Я не хочу о мертвых!

— ...завернул и потащил к берегу. У меня не было сил закопать его, я решил отдать его воде. Я тащил его по снегу и все думал о том, какая сила у красоты... которая может рождать и убивать вот так, наповал. Потом я прилег отдохнуть рядом с ним, а когда открыл глаза — катилась волна с океана. Я зажмурился и ждал, что смоет нас обоих... но она рассыпалась в десяти шагах. Мне замочило ноги. Вода все-таки взяла его к себе... Так вот, слушайте меня! Это был последний на свете человек, которому ваше существование доставляло счастье. Вам не казалось, что весь этот месяц какая-то частица его еще бродила возле вас? Теперь он ушел и унес с собой и вашу молодость, и вашу радость...

— Я пить хочу, — просительно сказала Мазель; она вся сжалась, самая тень ее стала меньше.

Он усмехнулся без гнева и печали. Только теперь он признался себе, для чего мчался в Азию. Его влекла потребность избавиться от чудесного видения, что сожгло его старшего брата, или — покориться ему. Там, среди новоземельских скал, через безжалобное молчанье Якова, он и сам в первой привязчивой мальчишеской мечте полюбил эту женщину, — и слух о ней, и ее непривычное, как в стихах, имя, и самое ее пренебрежение к греху, с каким она уходила к стольким от терпеливого и слишком великодушного Шмеля. Еще и теперь что-то чадило в Маронове, и, может быть, был только один способ затоптать в себе тот стыдный и живучий огонек... Вместо этого Маронов поднялся; это далось ему легко, он отдохнул. Луна стояла за его спиной, Мазель не различала в силуэте его лица. Вдруг торопливо, непослушными пальцами она принялась натягивать платье на свои плечи, ощутившие холод. Ей почудилось, что это Яков — большой, добрый и черный — еще раз навестил ее перед тем, как уйти навсегда. Все было возможно в такую ночь.

— Останься... — шепнула она, и ей удалось дотянуться до его пальцев.

Маронов отдернул руку; прежняя обжитая кожа уже сползла с него, а новая еще не привыкла к прикосновеньям. Он вышел наугад; тростниковая труха хрустела под ним, как осколки зеркала, в которое когда-то с гордой радостью гляделась эта женщина. Его мысли были о смеш-

ном бегстве Якова и о самом себе, еще вчерашнем... Когда, к рассвету, он воротился с флягой, он не нашел места, где оставил Мазель. Руина стала неузнаваема; их там было много, целый мертвый городок лежал у входа в пустыню. Луна гасла, все становилось обычным. Здесь и произошла его собственная линька из юношеского возраста в следующий, спокойный и зрелый. А он-то думал, чудак, что тотчас за горизонтом юности начинается его закат!

Много спустя, когда Туркмения могла уже спокойно спать ночи, Шмель поехал проводить гостя, отправлявшегося в обратный путь на север. В ожидании поезда с Термеза он расспрашивал Маронова о подробностях незабываемой саранчовой атаки, после которой в Кендерли производился пересев частично уничтоженных культур. И тот даже восстановил в памяти дислокацию и направление заключительных, уже разрозненных кулиг, все — кроме последнего разговора с женой Мазеля.

— Рановато ты бежишь от нас, товарищ, — говорил Шмель, вертя мароновские пуговицы. — Видно, не понравилась тебе Азия?

— Там у нас лучше, на Новой Земле, — смеялся Маронов. — Теплей!

— Но все-таки хорошо, что ты приехал, правда? Проветрился, вырос, набрался новых сил...

Они стояли на безыменном азиатском полустанке. Громадные кипы прессованного хлопка лежали под навесом — наглядное свидетельство того, что время и усилия их не прошли даром. Было сыровато. Начинался серый мурманский дождик. Дело склонялось на осень.

1930

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор К. Платонова

Переплет и титул
художника *А. Радищева*

Художественный редактор *Н. Мухин*

Технический редактор *Ж. Примак*

Корректор *А. Сабадаш*

*

Сдано в набор 18/XII 1952 г. Подписано в печать 3/IV 1953 г. А00243.
Бумага $84\times108^{1}/_{32}$. 5,62 бум. лист.—
18,45 печ. лист. 18,45 уч.-изд. лист.
Тираж 75 000. Зак. 1771.
Цена 9 р. 50 к.

3-я тип. «Красный пролетарий»
Союзполиграфпрома Главиздата
Министерства Культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16

9 р. 50 к.

Гослитиздат
1953